АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

1

ЯНВАРЬ — ФЕВРАЛЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА · 1955

СОДЕРЖАНИЕ

Н. А. Кондрашов и В. М. Филиппова (Москва). В. И. Ленин и вопросы языкознания 3
Б. А. Серебренников (Москва). О взаимодействии языков (Проблема субстрата) 7
Г. А. Меновщиков (Ленинград). Указательные местоимения в эскимосском языке. 26
П. Г. Стрелков (Йошкар-Ола). Работа Чехова над языком своих произведений 42

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

В. В. Виноградов (Москва). Итоги обсуждения вопросов стилистики 60

ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ШКОЛА

От редакции (К обсуждению курса «Современный русский литературный язык» в высшей школе) 88
Т. А. Дегтерева и Н. А. Слюсарева (Москва). Курс «История языкознания» в педагогических институтах иностранных языков 93
Э. А. Макаев (Москва). Несколько замечаний о курсе «История языкознания» 97

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

В. В. Решетов (Ташкент). О диалектной основе узбекского литературного языка 100
Г. С. Кнабе (Курск). Еще раз о двух путях развития сложного предложения 108
Б. Н. Головин (Вологда). К вопросу о сущности грамматической категории (На материале русского языка) 117
Е. И. Кедайтене (Вильнюс). Из наблюдений над категорией лица в памятниках русского языка старшей поры 124

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

В. В. Пассек, Е. И. Мурашева, Р. М. Уроева, В. П. Старинин (Москва). «Труды Военного ин-та иностр. языков», №№ 1—5, М., 1952—1954 129
К. А. Левковская (Москва). *М. Д. Степанов.* Словообразование современного немецкого языка 145
Т. Лер-Сплавинский (Варшава). Новая попытка освещения проблемы происхождения славян 152

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Н. З. Гаджиева и Е. А. Иванчикова (Москва). Дискуссия о частях речи 162

Редколлегия:

С. Г. Бархударов, Н. А. Баскаков, Е. А. Бокарев (отв. секретарь редакции), *В. В. Виноградов* (главный редактор), *А. И. Ефимов, Н. А. Кондрашов, Н. И. Конрад, В. Г. Орлова, Г. Д. Санжеев* (зам. главного редактора), *Б. А. Серебренников, В. М. Филиппова, А. С. Чикобава, Н. Ю. Шведова*

Адрес редакции: Москва, ул. Куйбышева, 8. Тел. Б 1-75-42

Т-01421 Подписано к печати 20. I 1955 г. Тираж экз. 13450 Зак. 824
Формат бумаги 70×108 1/16. Бум. л. 5 1/4 Печ. л. 14,38 Уч.-изд. л. 17,7

2-я тип. Издательства Академии наук СССР. Москва, Шубинский пер., 10

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1955

Н. А. КОНДРАШОВ и В. М. ФИЛИППОВА

В. И. ЛЕНИН И ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

У трудящихся в их борьбе за построение коммунистического общества есть могучее оружие — теория научного коммунизма. Эта теория, основоположниками которой являются К. Маркс и Ф. Энгельс, была творчески развита и обогащена их великими последователями — В. И. Лениным и И. В. Сталиным.

Величайший научный подвиг К. Маркса и Ф. Энгельса заключается в открытии того закона, что основа развития общества — общественное производство материальных благ, жизненно необходимых для людей.

«Марксизм указал путь к всеобъемлющему, всестороннему изучению процесса возникновения, развития и упадка общественно-экономических формаций, рассматривая *совокупность* всех противоречивых тенденций, сводя их к точно определяемым условиям жизни и производства различных *классов* общества, устраняя субъективизм и произвол в выборе отдельных „главенствующих“ идей или в толковании их, вскрывая *корни* без исключения всех идей и всех различных тенденций в состоянии материальных производительных сил» (В. И. Ленин, Соч., т. 21, стр. 40).

Из такого изучения процесса развития классового общества вытекал исторически достоверный вывод о неизбежной гибели капитализма, могильщиком которого явится передовой класс общества — пролетариат, и о переходе общества к коммунизму.

Пользуясь марксистским диалектическим методом, величайший революционный ученый и вождь трудящихся всего мира В. И. Ленин определил и охарактеризовал экономическую и политическую сущность империализма как последней стадии капитализма, как кануна пролетарской революции.

В. И. Ленин разработал теорию и практический план проведения пролетарской революции. Основываясь на законе неравномерности экономического и политического развития капитализма, он доказал возможность победы социализма первоначально в одной, отдельно взятой стране. Это воодушевило рабочий класс России на революционное выступление, приведшее к победе социалистической революции.

В. И. Ленин постоянно подчеркивал одно из основных положений марксизма — признание активной и решающей роли народных масс в истории. Народ призван быть творцом социалистического общества. Исключительно важное значение поэтому имеет ленинский тезис о крестьянстве как о союзнике пролетариата в его борьбе за власть, ленинский завет всемерно укреплять союз рабочего класса с крестьянством, вовлекать широкие массы трудящихся в строительство новой жизни.

Марксизм учит, что руководящей силой в борьбе трудящихся за свое освобождение от гнета и эксплуатации, в борьбе за построение бесклассового общества является революционная партия рабочего класса.

В. И. Ленин — основатель Коммунистической партии Советского Союза. Он разработал идейные и организационные основы нашей партии, ее стратегию и тактику.

В. И. Ленин открыл политическую форму диктатуры пролетариата в нашей стране — Советы. Он создал учение о социалистическом государстве, о двух фазах развития социалистического общества. В. И. Ленин сформулировал основные принципы национальной политики Советского государства.

Его гениальная теория возможности построения социализма в одной, отдельно взятой стране вылилась в конкретную программу социалистического строительства, в программу преодоления технико-экономической отсталости нашей страны и превращения ее в передовую державу с высокоразвитой индустрией и технически оснащенным сельским хозяйством, организованным на коллективных началах.

Октябрьская социалистическая революция, построение первого в мире социалистического государства, всемирно-историческая победа советского народа в Великой Отечественной войне, успешное движение его по пути к коммунизму, достижения стран лагеря демократии и социализма — это непосредственно очевидные, конкретно-исторические доказательства неопровержимой правильности и несокрушимой силы марксизма-ленинизма.

*

Огромны заслуги В. И. Ленина в разработке теоретического фундамента научного коммунизма — диалектического и исторического материализма, марксистского диалектического метода.

Период реакции после поражения революции 1905 г. вызвал к жизни попытки подменить диалектический материализм субъективно-идеалистическими измышлениями. В. И. Ленин, изучив и обобщив исторический опыт и достижения естественных наук, вскрыл философскую и социальную сущность эмпириокритицизма, его реакционность и субъективизм. Обоснование В. И. Лениным марксистских положений о гносеологических корнях идеализма — большой вклад в сокровищницу марксистской философии. В. И. Ленин не только показал глубокую научную обоснованность теоретических принципов марксизма, но, опираясь на достижения передовой научной мысли своего времени, развил и укрепил их.

Труд В. И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм» и его «Философские тетради» имеют особо важное значение для каждого ученого, стремящегося глубоко проникнуть в явления природы и общества и правильно познать закономерности их развития. Марксистская теория познания, обогащенная В. И. Лениным, — могучее оружие советской науки.

В. И. Ленин взял на себя и блестяще выполнил важнейшую для той эпохи задачу — доказать закономерность и необходимость применения диалектико-материалистической теории познания к изучению общественных явлений. Вслед за Марксом и Энгельсом он отмечал специфичность законов развития общества в сравнении с законами, действующими в природе. Как и основоположники научного коммунизма, В. И. Ленин считал обязательным изучать наряду с общими законами развития общества исторические законы, действующие в данный исторический период.

Овладение марксистско-ленинской философией и марксистским диалектическим методом — непременное условие успешной работы советских ученых. К ним обращены слова В. И. Ленина в статье «О значении

воинствующего материализма»: «...мы должны понять, что без солидного философского обоснования никакие естественные науки, никакой материализм не может выдержать борьбы против натиска буржуазных идей и восстановления буржуазного миросозерцания. Чтобы выдержать эту борьбу и провести ее до конца с полным успехом, естественник должен быть современным материалистом, сознательным сторонником того материализма, который представлен Марксом, то есть должен быть диалектическим материалистом» (Соч., т. 33, стр. 207).

*

Советские языковеды должны учиться у В. И. Ленина, работы которого являются образцом творческого применения марксистского диалектического метода к исследованию различных явлений природы и общества.

Марксистско-ленинская теория вооружает языковедов правильным пониманием общих законов общественного развития и подлинно научным методом исследования. Наряду с этим в трудах классиков марксизма они находят и положения, непосредственно относящиеся к языку.

В трудах В. И. Ленина освещена одна из основных проблем теоретического языкознания — проблема взаимосвязи языка и мышления, доказывается их диалектическое единство, определяется их отношение к объективной действительности.

Ленинская теория отражения является той теоретической базой, опираясь на которую языковеды смогут решить целый комплекс вопросов, входящих в проблему взаимосвязи языка и мышления: характер соотношения языковых и логических категорий, предложения и суждения, слова и понятия и т. п.

Вслед за Марксом и Энгельсом, учившими, что язык есть практическое, действительное сознание, и в развитие их взглядов В. И. Ленин показывает процесс возникновения категорий мышления и законов логики, являющихся отражением законов объективного мира и находящих свое выражение в языке. Мышление и язык, составляя диалектическое единство, взаимно обусловлены в своем развитии.

В целом ряде мест своих «Философских тетрадей» В. И. Ленин, говоря о диалектическом единстве отдельного и общего, показывает огромное значение языка для развития мышления. Значение языка для познания окружающей нас действительности В. И. Ленин подчеркивает при перечислении тех областей знания, из которых должна сложиться теория познания: наряду с историей отдельных наук он ставит и с т о р и ю я з ы к а.

В трудах В. И. Ленина даны исходные положения, необходимые для изучения слова, его сущности, значения, отношения слова к понятию, к реальным предметам. В. И. Ленин указал важнейший признак слова — обобщение.

С проблемой языка и мышления связана проблема формы и содержания в языке. При решении этой проблемы — одной из первоочередных в современном языкознании — исследователи найдут определяющие принципы в высказываниях В. И. Ленина о форме и содержании, о сущности и явлении.

Историкам языков открыты новые перспективы исследования языка в связи с историей говорящего на нем народа в таких трудах В. И. Ленина, как «Развитие капитализма в России», «Что такое „друзья народа“ и как они воюют против социал-демократов?». Во втором из названных трудов В. И. Ленин говорит о времени и общественно-исторических

условиях становления русского национального языка. Здесь он охарактеризовал путь экономической консолидации и политического объединения феодальных земель в условиях зарождения буржуазных отношений внутри феодального общества, определив тем самым важнейшую материальную предпосылку исторического процесса формирования нации и ее национального языка.

В работе «О праве наций на самоопределение» В. И. Ленин вскрывает две тенденции, существующие в национальном вопросе при капитализме: с одной стороны, тенденцию к созданию национальных государств, с другой — тенденцию к ломке национальных перегородок, учащению всяческих сношений между нациями. Марксисты, учитывая конкретно-исторические условия, обязаны бороться за национальное равноправие и в то же время пресекать всяческие попытки заражения пролетариата ядом буржуазного национализма.

В. И. Ленин неустанно боролся за национальное равноправие, за право каждой нации на самоопределение, за ее право развивать свой родной язык, свою культуру. Он был против насильственного навязывания единого общегосударственного языка, против того, чтобы какому-либо языку были оказаны привилегии, был последовательным сторонником пролетарского интернационализма.

После Великой Октябрьской социалистической революции в Советском Союзе была осуществлена свобода национально-языкового развития народов. Русский язык в результате братского сотрудничества социалистических наций, без какого-либо принудительного распространения стал вторым родным языком для широких масс многоязычного Советского Союза, языком межнационального общения народов нашей Родины. Велика любовь к русскому языку — языку мира, прогресса и демократии — у трудящихся всего мира.

Огромная практическая и теоретическая работа по изучению языков народов СССР, развернувшаяся в нашей стране,— это результат правильной национальной политики Коммунистической партии и Советского государства, основы которой были заложены В. И. Лениным.

В. И. Ленин любил русский язык, не раз восхищался его величием, могуществом и силой. «Мы любим свой язык и свою родину...», — писал он в статье «О национальной гордости великороссов» (Соч., т. 21, стр. 85).

В. И. Ленин часто обращался к словарям русского языка, хорошо знал живую народную речь. Он оберегал правильную русскую речь, был в высшей степени чуток к малейшим погрешностям в языке, к малейшим отклонениям от норм русского литературного языка, горячо выступал против коверканья русского языка (Соч., т. 30, стр. 274). В письмах от 18 января 1920 г. Луначарскому и от 19 мая 1921 г. в Наркомпрос В. И. Ленин указывал на необходимость создания нормативного словаря русского языка «от Пушкина до Горького». Он предъявлял большие требования к языку и стилю агитации и пропаганды.

Можно привести много примеров, иллюстрирующих требовательность В. И. Ленина к языковому оформлению статей и книг, но столь же требовательным он был и к себе, много трудился над языком своих рукописей и речей. Язык и стиль произведений В. И. Ленина — образцы публицистического и научного языка и стиля. Эти образцы должны быть изучены советскими языковедами.

Советские языковеды, владея таким мощным оружием, как марксизм-ленинизм, имеют все возможности и средства для разрешения больших задач, стоящих перед ними.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1955

Б. А. СЕРЕБРЕННИКОВ

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ЯЗЫКОВ

(Проблема субстрата)

Гипотеза о возможности происхождения родственных языков из одного источника и возникновение на этой базе сравнительно-исторического метода, позволившего проникнуть в тайны истории языков, принадлежат к наиболее значительным достижениям языковедческой науки. Особенно удачным результатом применения сравнительно-исторического метода в языкознании следует считать создание сравнительно-исторической грамматики индоевропейских языков.

Однако применение сравнительно-исторического метода в индоевропеистике имеет свои пределы, зависящие от наличия материала для сравнения. Благодаря усиленным поискам ученых многих поколений все, что можно в какой-то мере сравнить и сопоставить, уже сравнено и сопоставлено. Чем дальше развивается индоевропейское сравнительное языкознание, тем больше возникает труднодоказуемых гипотез. Новую жизненную силу индоевропейской компаративистике могло бы придать открытие текстов на неизвестных индоевропейских языках.

Значительных успехов достигло применение сравнительно-исторического метода в области изучения финно-угорских и семитских языков; что же касается других языков, например тюркских и особенно кавказских, то сравнительно-историческое изучение этих языков еще не вышло из того состояния, которое вообще характеризует начальный период развития каждой науки.

Одним из существенных предрассудков, распространенных в среде лингвистов-компаративистов, является совершенно ложное убеждение, будто бы сравнительно-исторический метод в языкознании имеет своей главной задачей изучение результатов распада праязыка, или, как мы теперь говорим, языка-основы. Что же касается изучения результатов взаимовлияния различных языков, то этой стороне дела никогда не уделялось должного внимания, и такое изучение не привело к созданию метода, определенных приемов исследования и вообще до сих пор не может называться наукой.

В данной статье мы рассмотрим один вопрос, имеющий особое значение для решения проблемы создания новых способов сравнительно-исторического изучения языков, которые явились бы существенным дополнением к сравнительно-историческому методу в языкознании. Речь идет о так называемой теории субстрата.

Мысль о возможности влияния субстрата при образовании характерных особенностей языка была высказана еще в XV столетии, но широкое распространение эта идея получила в XIX и XX вв., особенно после появления работ известного итальянского лингвиста Асколи, более

подробно исследовавшего возможные результаты влияния субстрата на романские языки.

Теория субстрата приобрела значительное количество сторонников и вызвала обширную литературу, общую характеристику которой трудно дать в пределах небольшой статьи. Однако, несмотря на свою давность, значительное число сторонников и наличие исследований в этой области, теория субстрата не получила до сих пор всеобщего признания. Отчасти в этом виноваты сами ее сторонники. Многие исследования в этой области скорее напоминают какие-то гадания на картах, позволяющие читателю сомневаться в правильности полученных выводов.

Наиболее уязвимым местом всех многочисленных гипотез сторонников теории субстрата является отсутствие данных об основных свойствах и особенностях языка-субстрата. Язык-субстрат обычно представляется в виде какой-то вещи в себе, о которой можно лишь говорить, но которую нельзя реально ощутить и представить.

Так, например, утверждают, что изменение латинского *f* в *h* в испанском языке возникло в результате влияния иберийского языкового субстрата. У кельт-иберов не было в языке звука *f*, и они, усваивая латинский язык, заменяли звук *f* звуком *h*. Для подтверждения этой теории ссылаются обычно на баскский язык, являющийся якобы потомком языка кельт-иберов. Однако это утверждение остается проблематичным. Во-первых, неясно, действительно ли баскский язык представляет продолжение языка кельт-иберов. Во-вторых, единичное явление, не находящееся в органической связи с другими явлениями, особенно если его наличие только гипотетически предполагается, всегда бывает мало доказательным.

В качестве примера, иллюстрирующего влияние финского языкового субстрата на русский и литовский языки, приводится употребление творительного падежа в роли падежа предиката; ср. русск. *Он был больным*. Однако авторы этой гипотезы не учитывают того, что в самих финно-угорских языках это явление представлено по-разному и притом не повсеместно. В финском и коми языках русскому предикативному творительному падежу соответствует творительный падеж[1], например, финск. *Minä olen suomenkielen opettajana* «Я являюсь учителем финского языка», коми *Ме уджала учительӧн* «Я работаю учителем», тогда как в мордовском языке ему соответствует транслатив, например, эрзя-морд. *Ульть кунсолыцякс* «Будь послушным», а марийскому языку это явление совершенно не свойственно. Говорят также, что наличие так называемого цоканья в русских говорах представляет будто бы результат влияния финского языкового субстрата, забывая при этом, что звук *ц* вообще чужд значительной части финно-угорских языков, за исключением горно-марийского и мордовского, где весьма возможно его развитие из более древнего *ч*; ср. мокша-морд. *цебярь* «хороший», татар. *чибәр* «красивый»; мокша-морд. *цюгун*; русск. *чугун* и т. д. Кроме того, данные топонимики, например, свидетельствуют о том, что языкам дославянского населения Севера звук *ч* отнюдь не был чужд; см. такие названия, как Чухлома, Челмохта, Кирчема, Печенга, Вичуга, Нюхча и т. д.

Особенно резкой критике подверг теорию балканского языкового субстрата Миклошича К. Зандфельд в своей известной работе «Балканская лингвистика». Известно, что в балканских языках (болгарском, румынском, албанском и новогреческом) имеется целый ряд общих особенностей: отсутствие дательного падежа и инфинитива, наличие постпозитивного артикля (в румынском, болгарском и албанском), плеонастическое дублирование местоимением прямого дополнения и т. д. Обычно

[1] В финском языке этот падеж называется эссивом.

предполагают, что все эти черты возникли в результате влияния какого-то языкового субстрата. К. Зандфельд считает невозможным, или во всяком случае необычайно трудным, определить, к какой эпохе восходит балканское единство. Так, например, староболгарские тексты свидетельствуют, что исчезновение инфинитива в болгарском языке началось значительно позже той эпохи, которой датируются эти письменные памятники, а истрорумынский диалект вовсе не знает случаев замены инфинитива конструкцией с союзной частицей *să*, свойственной румынскому литературному языку. Старые болгарские памятники XI в. не имеют никаких следов постпозитивного артикля. Артикль появился в болгарском языке значительно позднее и стал регулярно употребляться только в XVII в. Значительные трудности представляет и объяснение такого общебалканского явления, как замена дательного падежа родительным. Греческий язык ясно показывает, что родительный падеж действительно вытеснял древний дательный. Ср. новогреч. δός μοῦ «дай мне»; в албанском и румынском языках дело обстояло наоборот: древний дательный вытеснил древний родительный[1].

В развитии структуры различных языков возможны так называемые конвергенции, т. е. одинаковые явления, возникшие в разных языках независимо друг от друга. Так, например, в финском и якутском языках, отстоящих на многие тысячи километров друг от друга и никогда не соприкасавшихся, возник так называемый частный падеж, или партитив; вспомогательный глагол «быть» одинаково участвует в образовании аналитических прошедших времен как в татарском, так и в литовском языках; подобие изафетной конструкции иранского типа существует в албанском языке, хотя эти языки развивались самостоятельно; так называемая эргативная конструкция встречается и в палеоазиатских языках, и в языках Кавказа.

Слабость аргументации, противоречие исторической действительности и возможность конвергентных явлений породили у некоторых лингвистов неверие в возможность влияния субстратов.

Приходится, однако, заметить, что аргументация противников теории субстрата также не отличается особой убедительностью: общим соображениям о возможности влияния языкового субстрата противопоставляются не менее общие соображения о невозможности этого влияния. Противники теории субстрата почему-то глубоко убеждены, что все поиски в этом направлении не имеют ничего общего с сравнительно-историческим методом.

На самом деле теория субстрата является важнейшим дополнением к сравнительно-историческому методу, так как в задачу исторического изучения языков входит не только восстановление картины его исторического прошлого путем сравнения со словами и формами родственных языков, но также изучение различных инноваций, возникших в период его изолированного существования, и результатов влияния других языков. Все эти составные части должны быть обязательными компонентами исторического изучения языков.

Поэтому теория субстрата, стимулирующая изучение результатов взаимовлияния языков, не может быть просто сброшена со счета. Необходимо устранить ее слабые места и поставить ее на более прочное основание. Таким более прочным основанием теории субстрата может быть только более строгий метод изучения результатов взаимовлияния различных языков, опирающийся на комплекс различных и притом причинно связанных между собою данных.

[1] См. Kr. Sandfeld, Linguistique balkanique, Paris, 1930, стр. 215, 170, 186.

Понятие языкового субстрата нужно прежде всего освободить от той мистики, с которой оно часто связывается. Влияние языка-субстрата в сущности представляет собой лишь один из многочисленных типов влияния одного языка на другой. Однако не каждый случай влияния одного языка на другой мы можем назвать влиянием языка-субстрата.

Субстратом обычно называют язык, побежденный другим языком в результате их взаимодействия и борьбы в пределах единой территории. При этом безразлично, выживает ли в результате этой борьбы язык аборигенов или язык пришельцев. Чаще всего выживают языки пришельцев. Так обстояло дело с греческим языком, вытеснившим языки эгейских народов, с русским языком, вытеснившим финно-угорские языки на значительной части северной и средней европейской полосы России. Но могут быть и обратные случаи, например, победа славянского языка предков современных болгар над языком тюркских пришельцев и т. п.

Необходимо также уяснить, что термин «субстрат», в основе которого лежит чисто геометрическое представление наложения одной плоскости на другую, является условным термином. Обычно никогда никакого наложения одного языка на другой не происходит. В реальной действительности имеет место лишь контактирование языков. Необходимым результатом контактирования языков является двуязычие, которое может иметь различные степени. Бывают случаи, когда все население сплошь является двуязычным (ирландцы в Англии, бретонцы во Франции, в СССР — карелы, коми, мордва и др.). Но иногда двуязычие захватывает только часть населения (персы, владеющие азербайджанским языком, чуваши или марийцы, владеющие татарским языком, финны, владеющие шведским языком, и т. д.). Для того чтобы особенности одного языка отразились на другом языке, совершенно безразлично, будет ли при этом двуязычие полным или частичным. Различие может заключаться только в степени влияния.

Контактирование языков имеет различные формы. Из всего многообразия этих форм можно выделить два основных случая контактирования языков, так называемое маргинальное и внутрирегиональное контактирование. Маргинальное контактирование характеризуется наличием контакта двух языков, расположенных на смежных территориях. Никакого глубокого проникновения масс населения, носителей одного языка, в область распространения другого языка при этом не происходит. Типичным примером такого контактирования является взаимодействие татарского и удмуртского языков. Контактирование иного типа, так называемое внутрирегиональное контактирование, характеризуется глубоким проникновением больших масс носителей одного языка на территорию, занятую носителями другого языка. Наиболее типичными историческими примерами могут служить вторжение масс греков на территорию южной части Балканского полуострова, некогда занятой эгейскими народами, проникновение русского населения на север, некогда занятый народами финно-угорского происхождения, заселение римлянами Галлии и т. п.

Для доказательства возможности влияния языка-субстрата следует прежде всего рассмотреть случаи маргинального контактирования языков. При этом следует выбирать не одинокие языки, а языки, входящие в группы родственных языков, что дает возможность легче отделить приобретенные черты от исконных черт. Наиболее удобными в этом отношении являются удмуртский и татарский языки. Как известно, удмуртский и татарский языки расположены на смежных территориях. Эти языки относятся к разным языковым семьям: удмуртский язык принадлежит к финно-угорским языкам, а татарский язык — к тюркским.

На территории Удмуртской АССР нет никаких компактных масс татарского населения. Топонимика Удмуртии свидетельствует о том, что ее территория никогда не была заселена народами тюркского происхождения. Наиболее древний слой топонимики Удмуртии представлен топонимикой волго-окского типа, характеризующейся в первую очередь типичными для этой топонимики речными суффиксами *ма* и *га*; например: Тойма, Кама, Лекма, Люга, Можга, Пурга, Нылга. Более новый топонимический слой представлен собственно удмуртской топонимикой.

Тем не менее удмуртский язык обладает целым рядом черт, общих с татарским языком, но чуждых другим финно-угорским языкам и, в частности, языку коми, наиболее близкому к удмуртскому.

Любопытно отметить прежде всего изменение характера удмуртского ударения. В финно-угорских языках ударение либо падает на первый слог, как, например, в западнофинских, мокша-мордовском, венгерском языках, либо является разноместным, как в луговом марийском, коми-пермяцком и эрзя-мордовском. В удмуртском языке ударение, за исключением формы 2-го лица повелительного наклонения глаголов, падает всегда на последний слог слова; ср. коми-зыр. *бӧсьтны* «брать», удм. *басытыны*; коми-зыр. *мӥ́нны* «идти», удм. *мынынь*; коми-зыр. *шӥ́да* «счастливый», удм. *шудӧ* и т. д. В татарском языке, за немногими исключениями, ударение также падает на последний слог слова; например: *язырга́* «писать», *алга́* «вперед», *бара́* «идет», *салма́р* «плоты» и т. д. Ясно, что ударение на последнем слоге в удмуртском языке не первоначально. Оно возникло под влиянием другого языка.

В удмуртском языке возникла аффриката *дҗь*, чуждая остальным финно-угорским языкам, в том числе коми-зырянскому языку; ср. такие слова, как коми-зыр. *дзескыд* «тесный», удм. *ӟоскыт*; коми-зыр. *дзодзӧг* «гусь», удм. *ӟазег*. Ср. наличие этого звука в татарском языке: *җир* «земля», *җибәрергә* «посылать», *җил* «ветер» и т. д. В южных диалектах удмуртского языка имеется заднеязычное *н*, также чуждое коми-зырянскому, но имеющееся в татарском языке, например *яңа* «новый».

Эти черты могут показаться случайными. Но в действительности они представляют определенные звенья целого ряда явлений, наблюдаемых в разных сферах языка. Одной из особенностей татарского языка является наличие в нем так называемых сложных глаголов, состоящих из деепричастия основного глагола, соединяемого с каким-нибудь вспомогательным глаголом; например: *уйлап чыгарды* «он выдумал» (буквально: «думая извлек»), *очып килде* «он прилетел» (буквально: «летя пришел») и т. д. Финно-угорским языкам, если не считать марийского языка, сложные глаголы не свойственны. В марийском языке они несомненно возникли под чувашским влиянием. Не свойственны сложные глаголы и коми-зырянскому языку. Явно под влиянием татарского языка и по татарским моделям начинают образовываться сложные глаголы и в удмуртском языке, доказательством чего могут служить приводимые ниже примеры: *Бызьыса Иван вуиз* «Прибежал Иван» (буквально: «бежа пришел»). Сложный глагол *бызьыса вуиз* образован по татарской модели; ср. татар. *Иван йөгереп килде*, где *йөгереп килде* также буквально означает «бежа пришел»; *Мужикъёс полоса гырыса быдтӥзы* «Мужики вспахали полосу» (буквально: «пахав закончили»). Сложный глагол *гырыса быдтыны* «вспахать» опять-таки образован по татарской модели: *Мужиклар буйны сөреп бетерделәр* (буквально: «пахав закончили»).

В удмуртском, как и в коми-зырянском языке, существуют деепричастия. Однако в удмуртском языке под влиянием татарского частота

употребления деепричастий увеличивается в десятки раз по сравнению с употреблением деепричастий в коми-зырянском языке.

В современном коми-зырянском языке плюсквамперфект, или прежденрошедшее время, типа *босьтёма вӧлі* «он взял раньше» начинает постепенно исчезать. В удмуртском же языке, наоборот, частота употребления плюсквамперфекта во много раз больше по той причине, что это время имеется и в соседнем татарском языке.

В коми-зырянском языке существует так называемое прошедшее длительное время типа *босьтӧ вӧлі* «он брал». В удмуртском языке также имеется это время, например *мынэ вал* «он шел». Однако частота случаев обозначения этим временем длительного или многократного действия в прошлом в удмуртском языке во много раз увеличивается по сравнению с общей частотой случаев употребления данного времени в этом значении в коми-зырянском языке. Несомненно, и здесь сказалось влияние прошедшего длительного времени в соседнем татарском языке, обладающего этим значением.

В татарском языке существует выражение типа *күргэнем бар* «я видел» (буквально: «мое виденное есть»), *барганым бар* «я ходил» (буквально: «мне хоженное есть») и т. д. Подобное явление имеется и в удмуртском языке, например *одйг пол адземе вань* «один раз видела» (буквально: «один раз мое виденное есть»).

В коми-зырянском языке два существительных могут быть соединены между собой союзом *да*, соответствующим русскому союзу *и*, например: *кӧч да руч* «заяц и лисица», *вӧв да мӧс* «лошадь и корова» и т. п. В удмуртском языке встречается иная конструкция, полностью в структурном отношении совпадающая с татарской. В татарском языке, например, чтобы сказать «заяц и лисица», первое из двух существительных употребляется с послелогом *белэн* «с», а второе остается в именительном падеже, например *куян белэн төлкә* «заяц и лисица» (буквально: «с зайцем лисица»). Поскольку в удмуртском языке нет послелога, соответствующего татарскому *белэн*, первое существительное употребляется в творительном падеже с ассоциативным значением, например удм. *ӟичиен атас* «лиса и петух» (буквально: «с лисой петух»); ср. татар. *төлкә белэн этәч*; удм. *кечпиен кион* «козленок и волк» (буквально: «с козленком волк») и т. д.

Коми-зырянский язык обладает сильно развитой системой глагольных видов. Наоборот, в удмуртском языке наблюдается необычайное оскудение системы древнепермских глагольных видов. От глагола *мыныны* «идти» регулярно образуется только многократный вид, например *мынылӥз* «он ходил» (многократн.). Что касается остальных видов, то они фактически исчезли (имеются лишь их весьма незначительные реликты). Опять-таки здесь сказалось влияние татарского языка, где, по существу, нет никаких глагольных видов.

Если в коми-зырянском языке соединяются два имени существительных в роли определения и определяемого, то определение, получая окончание родительного падежа, не вызывает появления притяжательного суффикса третьего лица у определяемого, например *венгерскӧй народлӧн праздник* «праздник венгерского народа». Наоборот, в удмуртском языке употребление притяжательного суффикса третьего лица в этих случаях является обязательным: *простой адямиослэн куаразы* «голос простых людей», *Китайлэн экономикаез* «экономика Китая» и т. д.

Совершенно ясно, что влияние изафетной конструкции татарского языка способствовало сохранению притяжательного суффикса в удмуртском языке, в то время как в коми-зырянском языке под влиянием русского языка этот суффикс, наоборот, перестал употребляться, сохраняясь лишь

в некоторых случаях, когда нужно особо подчеркнуть притяжательность; например *колхозлӧн мӧсъясыс* «коровы колхоза».

Вообще синтаксис удмуртского языка во многом напоминает синтаксис татарского языка. Возможно, что влияние татарского языка способствовало сохранению многих синтаксических черт, характеризующих древние финно-угорские языки пермской группы.

Наконец, весьма убедительным доказательством контактирования татарского и удмуртского языков является наличие заимствованных татарских слов в удмуртском языке. Приведем небольшой перечень этих заимствований:

Удмуртский язык	Татарский язык
атас «петух»	*әтәч* «петух»
атай «отец»	*атай* «батюшка»
бабай «дед»	*бабай* «дедушка»
бай «богатый»	*бай* «богатый»
буй «цвет» и т. д.	*буя* «краска» и т. д.

Коми-зырянский язык в силу своих исторических судеб никогда не подвергался татарскому и вообще какому-либо тюркскому влиянию. Весьма немногочисленные слова чувашского, вернее всего камско-булгарского происхождения свидетельствуют лишь о сравнительно мало интенсивных культурных связях в прошлом. Но коми-зырянский язык испытал сильное влияние русского языка. Многовековое влияние русского языка не замедлило сказаться не только в лексике, но и в значительных изменениях грамматического строя коми-зырянского языка. Влияние русского языка на грамматический строй коми-зырянского языка выразилось в следующем.

1. Постпозиция родительного падежа, типичная для всех финно-угорских языков, в коми-зырянском языке стала необязательной. Можно с одинаковым правом сказать *воклӧн пиыс* «сын брата» (буквально: «брата сын») и *пиыс воклӧн*.

2. Встречающиеся в коми-зырянском языке перфект и плюсквамперфект под влиянием одночленной системы прошедших времен в русском языке могут заменяться первым прошедшим временем; например: перфект *сійӧ локтӧма* «он пришел» может быть заменен формой первого прошедшего времени *сійӧ локтіс*; плюсквамперфект *сійӧ локтӧма вӧлі* «он пришел раньше» также может быть заменен формой первого прошедшего времени *сійӧ локтіс*.

3. Аналогично двум типам русских будущих времен в коми языке возникли два будущих времени, противопоставленные по видовым значениям. Простое будущее в коми языке соответствует русскому будущему времени совершенного вида; например: *гижа* «я напишу», *локта* «я приду», *босьта* «я возьму». Другое будущее аналитического типа, образуемое при помощи вспомогательного глагола *кутны* «держать; приниматься», соответствует русскому будущему несовершенного вида; например: *кута гижны* «буду писать», *кута локны* «буду приходить», *кута босьтны* «буду брать» и т. д.

4. Под влиянием русского языка сильно изменился и синтаксис коми-зырянского языка. Получили значительное развитие различные виды придаточных предложений русского типа, тогда как в удмуртском языке, подвергавшемся влиянию татарского языка, придаточные предложения развиты относительно слабо и преобладают причастные и деепричастные конструкции.

Влияние одного языка на другой, смежный по территории своего распространения, обеспечивает возможность гипотетического предположения о

наличии в языках известных черт, в настоящее время уже бесследно исчезнувших. Можно, например, предполагать, что в языках мери и муромы не было перфекта и плюсквамперфекта и, возможно, существовало объектное спряжение глаголов или какие-то наметки объектного спряжения. Эти вполне объективные факты свидетельствуют о том, что даже при наличии маргинального контактирования, когда взаимодействие двух языков совершается только в пограничной зоне, приобретение черт одного языка другим языком является вполне возможным.

Подводя итоги тому, что сказано выше, результаты влияния татарского языка на удмуртский и русского на коми-зырянский можно свести к следующему: 1) возникновение сходных звуков; 2) заимствование слов; 3) заимствование словообразовательных суффиксов; 4) образование синтаксических калек; 5) образование семантических инклинаций[1]; 6) возбуждение сходных процессов изменения языковой структуры; 7) способствование сохранению однотипных структурных черт.

В связи с этим возникает вполне законный и логичный вопрос: если возможно влияние одного языка на другой в тех условиях, когда эти языки находятся на смежных территориях, то почему этого влияния не должно быть, когда носители одного языка в большом количестве проникают на территории носителей другого языка, т. е. в условиях так называемого внутрирегионального контактирования?

Почти все известные из истории примеры так называемого внутрирегионального контактирования языков нами не могут быть использованы для доказательства по той простой причине, что вследствие отсутствия сведений о характере языка-субстрата наше доказательство будет все равно неубедительным. В самом деле, сколько бы мы ни говорили о влиянии фрако-иллирийского субстрата на балканские языки или догерманского субстрата на немецкий, язык-субстрат при всех условиях остается величиной неизвестной.

Однако судьба языков-субстратов бывает разной. Наблюдаются случаи, когда язык-субстрат исчезает полностью и восстановить его в этих случаях почти невозможно. Но нередки и такие случаи, когда он исчезает лишь частично. Другая часть его в каком-то виде продолжает существовать. Такого рода явление мы называем сегментарным исчезновением языка-субстрата. Для доказательства возможности влияния языка-субстрата лучше всего в качестве объектов исследования брать именно такие случаи, так как выводы получают при этом большую доказательную силу.

Возьмем для примера опять два языка, принадлежащие к двум разным семьям, например марийский и чувашский, из которых первый является финно-угорским, а второй — тюркским языком. Марийский и чувашский языки обладают целым рядом общих черт в области фонетики, лексики, морфологии и синтаксиса. В области морфологии и синтаксиса наблюдается, конечно, не материальное родство, а лишь общность некоторых структурных моделей. Эта общность возникла вследствие того, что какой-то тюркский язык — предок современного чувашского языка — наслаивался на финно-угорский языковой субстрат, представленный древнемарийским языком.

Конечно, древнечувашский язык наслаивался на древнемарийский язык не на территории современной Марийской республики: на этой территории нет топонимики чувашского и вообще тюркского типа. На тер-

[1] Под семантической инклинацией мы понимаем возникновение нового значения формы или слова под влиянием наличия этого значения в однотипной форме или соответствующем слове другого языка.

ритории Марийской республики, так же как и на территории Удмуртской республики, представлены два топонимических слоя: более древний топонимический слой волго-окского типа, характеризующийся суффиксами *ма* и *га*, а также *ша*; см. названия: Уртома, Шошма, Ижма, Кокшага, Юронга, Ваштранга, Ронга, Параньга, Чукша, Шиньша и др.; на этот слой наслаивается собственно марийская топонимика, характеризующаяся суффиксами *ер*, *енгер*, *енер*, а также суффиксом *нур*, например: Суслонгер, Шолэнгер, Куженер, Мумзер, Сернур и т. д.

Топонимика Марийской АССР свидетельствует о том, что марийцы являются пришлым населением. Они появились откуда-то из более южных областей и в древности населяли территорию современной Чувашской АССР. Убедительным доказательством пребывания древних марийцев на территории Чувашской АССР являются топонимические названия. В. Г. Егоров в своей интересной статье «К вопросу о происхождении чуваш и их языка»[1] отмечает известную общность топонимических названий на территории Марийской и Чувашской АССР. Весьма древними, по мнению В. Г. Егорова, и явно дотюркскими являются названия селений на *-нар*, *-нер*: Апнер, Вурнар, Идеснер, Кёнер, Кётеснер, Кунер, Куснар, Пинер, Писенер, Санар, Упнер, Урнар, Чаганар, Чёнер, Шанар, Ушанар, Шелнер, Шутнер и т. д. Аналогичные названия селений, рек и озер в большом числе встречаются и у восточных финнов, особенно у марийцев, например: Водонер, Кинер, Кугунер, Куженер, Лонганер, Мамсинер, Ошканер, Сабанер, Шукшнер и т. д. Показательными в этом отношении являются и топонимические названия на *-мар*, *-мер*: Вӑрмар, Итмар, Кудемер, Тӳмер, Кушмара. Ср. в марийском: Шӳдермар, Кокшамар, Пумар, Ляжмар, Паратмар, Шешмар, Кужмара, Кукмара и др.

На территорию Чувашии, занятую в древности марийскими племенами, после прихода камских булгар в Поволжье, а может быть, и значительно раньше проникали тюркоязычные племена. Происходило внутрирегиональное контактирование марийского и древнечувашского языков, точнее—языка суазов или суваров. В результате этого контактирования марийский язык воспринял ряд черт, не свойственных другим финно-угорским языкам. В свою очередь чувашский язык приобрел некоторые особенности, совершенно не свойственные другим тюркским языкам.

Однако в силу чисто исторической случайности марийский язык-субстрат не исчез полностью, как это было во многих других случаях (ср. исчезновение эгейского языкового субстрата в Греции или финно-угорского языкового субстрата на территории северной и средней европейской части СССР), а частично сохранился благодаря миграции марийского населения в более северные области. Рассмотрим последовательно характерные особенности, полученные чувашским языком от марийского и, наоборот, марийским языком от чувашского.

Особенности чувашского языка, возникшие в результате влияния марийского языка

Прежде всего следует указать на значительные изменения в области консонантизма и вокализма. От марийского языка чувашский язык приобрел характерную фонетическую особенность, выражающуюся в том, что в чувашском языке, как и в марийском, слово может начинаться только с глухого согласного. Поэтому звонкий согласный в соответ-

[1] См. «Записки Науч.-исслед. ин-та языка, лит-ры и истории при Совете Министров Чуваш. АССР», вып. VII, Чебоксары, 1953, стр. 74, 75.

ствующих словах других тюркских языков в чувашском языке передается глухими согласными; ср. татар. *баш* «голова», чув. *пуç*; татар. *бар* «есть; имеется», чув. *пур*; татар. *давыл* «буря», чув. *тăвăл*. Влияние фонетики марийского языка выразилось также в ослаблении задненебных согласных; например: татар. *колак* «ухо» (*qolaq*), чув. *хăлха*; татар. *котылу* «спасение», чув. *хăтăл* «спасаться». С этим связан переход древних гласных заднего ряда в гласные переднего ряда; например: татар. *кояш* «солнце», чув. *хĕвел*; татар. *кыш* «зима», чув. *хĕл* и т. д. Такое явление чувашского языка, как превращение древнего *а* в *о* и затем в *у* в литературном чувашском языке (ср. тур. *baş* «голова», чув. верховой диалект *поç*, низовой диалект *пуç*; тур. *altı* «шесть», чув. низовой диалект *олтă*, верховой диалект *ултă*; тур. *arba* «телега», чув. верховой диалект *орпă*, низовой диалект *урпă*), несомненно, находится в связи с аналогичным до некоторой степени явлением превращения древнего *а* в *о* в луговом марийском языке (ср. эрзя-морд. *кадомс* «оставлять», мар. *кодаш*; эрзя-морд. *таштo* «старый», мар. *тошто*; эрзя-морд. *паро* «хороший», мар. *поро* «добрый»; эрзя-морд. *сярдо* «лось», мар. *шордо* и т. д.).

В татарском языке аффикс принадлежности третьего лица единственного и множественного числа помещается после аффикса множественного числа, например: *аның атлары* «его лошади»: *ат* «лошадь» + *лар* (аффикс мн. числа) + *ы* (притяжательный суффикс 3-го лица ед. и мн. числа).

Под влиянием марийского языка в чувашском языке произошли изменения в порядке расположения этих формативов по схеме: имя существительное + притяжательный суффикс + окончание множественного числа, например: *Демократиллĕ Вьетнам республикин çитĕнĕвĕсем* «успехи Демократической республики Вьетнам»; форма *çитĕнĕвĕсем* может быть разложена на элементы: *çитĕнĭ* «успех» (*ĕв* — изменение *ĭ* перед гласным), *ĕ* — притяжательный суффикс 3-го лица единственного и множественного числа, *сем* — окончание множественного числа; *халăх демократии çĕршывĕсенче* «в странах народной демократии»; форма *çĕршывĕсенче* разлагается на составные элементы: *çĕршыв* «страна», *ĕ* — притяжательный суффикс 3-го лица, *сем* — аффикс множественного числа. Татарскому *аның атлары* «его лошади» в чувашском будет соответствовать *унăн лашисем*.

Эта же схема расположения притяжательных суффиксов оказывается типичной и для марийского языка, в чем легко убедиться при анализе приводимого ниже примера: *республикын ончыл енже-шамыч* «передовые люди республики»; *енже-шамыч* разлагается на элементы: *ен* «человек», *же* — притяжательный суффикс 3-го лица, *шамыч* — аффикс множественного числа.

Удельный вес родительного падежа в чувашском языке значительно ниже удельного веса родительного падежа в русском языке, так как с родительным падежом в чувашском языке конкурируют особого вида прилагательные. Эти прилагательные образуются от формы местного падежа с аффиксом принадлежности — *и*, например: *облаçри колхозсем* «колхозы области», *Мускаври урамсем* «улицы Москвы» и т. д. Это явление, несомненно, также возникло под влиянием марийского языка, поскольку оно существует и в марийском языке, а в тюркских языках, за исключением чувашского, отсутствует. В марийском языке чувашским прилагательным на *-й* в точности соответствуют прилагательные на *се*; ср. мар. *Весь шургинский сельсоветысе «Дружба» ял озанлык артель* «сельскохозяйственная артель „Дружба“ Весьшургинского района», чув. *Районти колхозсем плана тултарчĕç* «Колхозы района выполнили план».

Под влиянием марийского языка в чувашском языке произошла унификация формы 3-го лица единственного числа вспомогательного глагола «быть», являющегося компонентом аналитических прошедших времен, и распространение ее на все лица. Чрезвычайно наглядно эта особенность выступает при сравнении парадигм прежнепрошедших времен наклонения неочевидности.

Марийский язык

Ед. число

1-е лицо: *возенам улмаш* «Я писал раньше, оказывается» и т. д.
2-е лицо: *возенат улмаш*
3-е лицо: *возен улмаш*

Мн. число

1-е лицо: *возенна улмаш* «Мы писали раньше, оказывается» и т. д.
2-е лицо: *возенда улмаш*
3-е лицо: *возеныт улмаш*

Чувашский язык

Ед. число

1-е лицо: *эпĕ çырнăччĕ* «Я писал раньше, оказывается» и т. д.
2-е лицо: *эсĕ çырнăччĕ*
3-е лицо: *вăл çырнăччĕ*

Мн. число

1-е лицо: *эпир çырнăччĕ* «Мы писали раньше, оказывается» и т. д.
2-е лицо: *эсир çырнăччĕ*
3-е лицо: *весем çырнăччĕ*

Марийская форма *улмаш* представляет окаменелую форму 3-го лица единственного числа второго прошедшего времени от глагола «быть». Точно так же элемент *ччĕ* в чувашской форме *çырнăччĕ* представляет окаменелую форму глагола «быть», родственную форме 3-го лица единственного числа татарского глагола *имэк* — *иде* «он был».

Подобное обобщение 3-го лица глагола татарскому языку совершенно несвойственно. Ср. парадигму татарского прежнепрошедшего времени от глагола *барырга* «идти»:

	Ед. число	Мн. число
1-е лицо:	*барган идем* «Я приходил раньше» и т. д.	*барган идек*
2-е лицо:	*барган идеҥ*	*барган идегез*
3-е лицо:	*барган иде*	*барган иделэр*

Таким образом, возникновение обобщения форм 3-го лица вспомогательного глагола «быть» в чувашском языке под влиянием марийского языка не вызывает никаких сомнений.

Под влиянием марийского языка в чувашском языке притяжательный суффикс 3-го лица единственного и множественного числа приобрел некоторые функции артикля. На эту особенность обратил в свое время внимание проф. Н. И. Ашмарин: «Суффикс 3-го лица ставится: 1) Для показания разницы в состоянии различных частей одного предмета или разницы в состоянии нескольких предметов, имеющих между собою связь, а также, чтобы ярче представить отношение одного из них к другому. Напр. *Икĕ хĕрри хырăлăх, вăта çĕрри пасарлăх* „По обоим краям сосняк, а посредине базар“. (Загадка)... 2) Суффикс 3-го лица ставится еще тогда, когда говорится о предмете, уже упомянутом

раньше, или о таком предмете, который хотя раньше и не упоминался, но существование которого как бы предвиделось заранее: ... *Вĕсем вара ăна кимĕ çине лартас тенĕ, çав вăхăтрах кимми хăйсем ишше пырас çыр хĕррине çитнĕ* „Они тут хотели посадить его в лодку, в то же время лодка пристала к берегу, куда им было нужно прибыть“»[1].

Интересно отметить, что в марийском языке притяжательный суффикс 3-го лица единственного и множественного числа имеет те же самые особенности.

Притяжательный суффикс 3-го лица в марийском языке употребляется довольно часто при всякого рода контрастных противопоставлениях, например: *Йӱкетше шкендын, муретше весын* «Голос-то свой, а песня чужая»; *Йӱкчӧ шулдыржым шаркала да чонешташ тӧча, ракыже шенгак шупшеш, а нужголжо, тудыжо вӱдышкӧ пура* «Лебедь машет крыльями и пытается взлететь, рак пятится назад, а щука тянет в воду».

В марийском языке, как и в чувашском, наблюдаются также случаи анафорического употребления притяжательного суффикса 3-го лица, сближающие его, хотя и не полностью, с артиклем западноевропейских языков: «Енгай,— маньым,—Мартын ерым ужынат? Уке, — манеш тудо. Мый ужынам, и — маньым. — Ерже пеш кугу да колыжо уке, маньым» (М. Шкетан, Эреңер) «Тетка,— говорю я ей, — видала ты Мартыново озеро?— Нет,— отвечает.— А мне,— говорю я,— довелось. Озеро-то велико, да рыбы в нем нет». В этом примере слово *ер* «озеро», употребляемое вторично, имеет притяжательный суффикс 3-го лица единственного числа *же — ерже*.

Отсутствие в татарском, башкирском и других тюркских языках случаев употребления притяжательного суффикса 3-го лица в такой функции заставляет предполагать возникновение этого явления в чувашском языке под влиянием марийского языка.

Одной из любопытных особенностей чувашского языка, не встречающихся в татарском и башкирском языках, является наличие двух форм числительных — краткой и полной. Аналогичное явление существует и в марийском языке.

Чувашский язык

	Полная форма	Краткая форма
«Один»	*пĕрре*	*пĕр*
«Два»	*иккĕ*	*икĕ*
«Три»	*виҫҫĕ*	*виҫĕ*
«Четыре»	*тăваттăр*	*тăваттăр*
«Пять»	*пиллĕк* и т. д.	*пиллĕк* и т. д.

Марийский язык

	Полная форма	Краткая форма
«Один»	*иктыт*	*ик*
«Два»	*коктыт*	*кок*
«Три»	*кумыт*	*кум*
«Четыре»	*нылыт*	*ныл*
«Пять»	*вицыт* и т. д.	*вич* и т. д.

Наличие в известной степени сходного явления в удмуртском языке, где числительные имеют так называемый выделительный аффикс *-эз* (*-ез*) (например, *одйг* «один», но *одйгез*), заставляет искать источник этого явления в финно-угорских языках.

[1] Н. И. Ашмарин, Материалы для исследования чувашского языка, Казань, 1898, стр. 172—174.

Союзная усилительная частица *ах* в чувашском языке, не имеющая этимологических параллелей в татарском и башкирском языках, также по всей вероятности была заимствована из марийского языка; ср., например, мар. *пычкемыш ылым, пычкемышак кодалтын* «темным был, темным и остался» и чув. *тĕттĕм пулнă, тĕттĕмипех юлнă*.

Чувашский язык воспринял и марийский суффикс множественного числа *сем*, например: чув. *ял* «деревня», *ялсем* «деревни». Суффикс множественного числа *сем* соответствует марийскому *шамыч* (*шам* < *сам* + *ыч*), например: *чодра* «лес», *чодра-шамыч* «леса».

Отрицательная форма повелительного наклонения в тюркских языках образуется путем присоединения к основе глагола отрицательного аффикса, например: татар. *бир* «дай», *бирмэ* «не давай». Чувашский язык под влиянием марийского языка отступил от этого правила и образует повелительное наклонение путем препозиции отрицательной частицы *ан*, например: *ан кала* «не говори».

Под влиянием марийского языка окончание родительного падежа в чувашском языке утратило артиклевые функции, какие, например, имеются в изафетной конструкции татарского языка: *танкистсен кунĕ* «день танкистов».

Большой интерес представляет сопоставление так называемого прошедшего неочевидного, или прошедшего неопределенного, в чувашском и марийском языках и одновременное сличение их с прошедшим неочевидным в татарском языке. Прошедшее неочевидное в марийском и чувашском языках может употребляться в трех основных случаях: 1) в значении перфекта западноевропейских языков, обозначающего действие, закончившееся в прошлом, но результат которого сохраняется в настоящее время; 2) для выражения действия, очевидцем которого говорящий фактически не был; 3) для выражения длительного, неоконченного действия в прошлом вообще. Особенно показательным является третий случай, поскольку подобное употребление прошедшего неочевидного, будучи свойственно чувашскому и марийскому языкам, оказывается несвойственным татарскому языку. Приведем несколько примеров: чув. *Деренков лавки питĕ сахал тупаш панă* «Лавка Деренкова давала ничтожный доход», *Çерлĕ урамсем тăрăх патрульсем çÿренĕ* «По ночным улицам ходили патрули»; мар. *Кажне эр дене куд часыште, мый пашашке, ярминкашке каенам* «Каждое утро, в шесть часов, я ходил на работу, на ярмарку».

Отсутствие вышеуказанной специфики употребления прошедшего неочевидного в татарском, башкирском и других тюркских языках заставляет предполагать, что оно возникло первоначально на почве марийского языка.

Особенности марийского языка, возникшие в результате влияния чувашского языка

Под влиянием чувашского языка в марийском языке возникли некоторые закономерности ударения, не встречающиеся ни в одном из финно-угорских языков, но существующие в чувашском.

Редуцированный звук *ы* в марийском языке ударения обычно не принимает. Если в слове, кроме звука *ы*, имеются другие гласные звуки, то ударение ставится на ближайшем от конца слоге с другим гласным, например: *шóрык* «овца», *тошкáлтыш* «лестница», *овáрчык* «яичница». Если же в слове нет других гласных, кроме *ы*, то ударение падает на начальный слог, например: *пы́лыш* «ухо», *чы́выштыш* «щепотка» [1]. Нечто

[1] Эти закономерности были впервые вскрыты В. М. Васильевым.

подобное наблюдается и в чувашском языке. Если в последнем слоге имеются редуцированные гласные *ă* или *ĕ*, то ударение переносится на ближайший слог с гласным полного образования, например: *сӳрăх* «овца», *кăшкăр* «волк». Если же в слове все гласные редуцированные, то в литературном языке ударение бывает на первом от начала слоге, например: *ĕçлĕттĕм* «я работал», *ăвăс* «воск» [1]. Подобные закономерности ударения в словах, содержащих редуцированные гласные, неизвестны татарскому и башкирскому языкам. Неизвестны они и финно-угорским языкам. Следовательно, можно считать, что эта особенность заимствована марийским языком из чувашского.

Суффикс сравнительной степени прилагательных в марийском языке, несомненно, заимствован из чувашского языка; ср. мар. *сай* «хороший», *сайрак* «лучше», чув. *лайăх* «хороший», *лайăхрах* «лучше». Наблюдается также сходство словообразовательных суффиксов имен прилагательных; ср. мар. *чапле* «славный», *черле* «больной», чув. *аслă* «умный», *вайлă* «сильный». Из чувашского языка проник в марийский язык суффикс *лык*, образующий абстрактные имена существительные типа *поянлык* «богатство», *тазалык* «здоровье» и т. д.; ср. чув. *хуçлăх* «хозяйство». Из чувашского языка заимствован также суффикс каузативных глаголов *тер*; ср. мар. *эртараш*, чув. *ирттер* «проводить».

Поразительное внешнее сходство суффиксов наблюдается у производных глаголов в марийском и чувашском языках. Один из наиболее распространенных глагольных словообразовательных суффиксов марийского языка *-л*, при помощи которого образуются глаголы от имен существительных (например, *шӱм* «кожура» — *шӱмлаш* «очищать от кожуры»; *сай* «хорошо» — *сайлаш* «отбирать, выбирать, избирать»), по всей видимости, заимствован из чувашского языка (ср. чув. *пуç* «голова» — *пуçла* «начинать»; *чир* «болезнь» — *чирле* «болеть»). Материально родственным чувашскому суффиксу *лан, лен* оказывается и марийский суффикс *лан*, например: *мут* «слово» — *мутланаш* «разговаривать». Из чувашского языка проник в марийский язык и словообразовательный суффикс *кала* с видовым значением многократности действия, например: мар. *возгала* «пиши время от времени», чув. *çыркала* с тем же значением.

Под непосредственным влиянием чувашского языка в марийском языке возникли сложные глаголы, вообще не свойственные финно-угорским языкам, причем эти сложные глаголы имеют ту же самую структурную модель, что и чувашские сложные глаголы. Для иллюстрации приводим сравнительное сопоставление некоторых моделей сложных глаголов в том и другом языке.

Чувашский язык	Марийский язык
Деепричастие + вспомогательный глагол *пĕт* и *пĕтер* «кончаться» и «кончить»: *Хаçат çĕтĕлсе пĕтнĕ* «Газета обтрепалась».	Деепричастие + вспомогательный глагол *пыташ* и *пытараш* «кончаться» и «кончить»: *Сорта йӱлен пытен* «Свеча сгорела».
Деепричастие + вспомогательный глагол *ил* «брать»: *Вăл аллисемпе хăлаçланса илнĕ* «Она всплеснула руками».	Деепричастие + вспомогательный глагол *налаш* «брать»: *Тудо гайкым рончен налын* «Он отвинтил гайку».
Деепричастие + вспомогательный глагол *кай* «уходить»: *Шлюпка ӳпĕнсе кайрĕ* «Шлюпка перевернулась».	Деепричастие + вспомогательный глагол *каяш* «уходить»: *Ме лектын кайышна* «Мы вышли».
Деепричастие + вспомогательный глагол *яр* «посылать»: *Вăл кăшкăрса ячĕ* «Он закричал».	Деепричастие + вспомогательный глагол *колташ* «посылать»: *Тудо проум пудыртен колтен* «Он сломал сверло».

[1] См. В. Г. Егоров, Чувашско-русский словарь, Чебоксары, 1935, стр. 678—679.

Деепричастие + вспомогательный глагол *лар* и *ларт* «сесть» и «посадить»: *Пыйăсем хăрса ларнă* «Деревья засохли» и т. д.

Деепричастие + вспомогательный глагол *шындаш* «посадить»: *Тудо омсам тӳкылен шындыш* «Он запер дверь» и т. д.

Марийский язык отличается удивительным богатством звукоподражательных слов, что, вероятно, объясняется влиянием чувашского языка, имеющего ту же особенность.

Марийский плюсквамперфект структурно построен аналогично чувашскому и полностью совпадает с ним по значению.

Приведенные выше факты не могут быть объяснены случайностью. Они подкрепляются значительным количеством слов, являющихся общими для чувашского и марийского языков: ср. чув. *кăшкăр* «кричать», мар. *кычкараш*; чув. *сис* «чувствовать», мар. *шижаш*; чув. *иӳре* «ладно, хорошо», мар. *йора*; чув. *чир* «болезнь», мар. *чер*; чув. *пер* «ударять», мар. *пераш*; чув. *çыр* «крутой берег», мар. *сер*; чув. *кай* «идти, уходить», мар. *каяш*; чув. *кĕт* «ждать; пасти», мар. *кӳташ*; чув. *ула* «пестрый», мар. *ола*; чув. *йыш* «семья», мар. *эш*; чув. *пух* «собирать», мар. *погаш*; чув. *ман* «забывать», мар. *манаш*; чув. *шултра* «крупный», мар. *шолдра*; чув. *юмах* «сказка», мар. *йомак*; чув. *улах* «луг», мар. *олык*; чув. *çавăр* «вертеть», мар. *савыраш*; чув. *вай* «сила», мар. *вий*; чув. *лапа* «низкий», мар. *лоп*; чув. *сахал* «мало», мар. *шагал*; чув. *сула* «плот», мар. *шол* и т. д.

Все эти данные полностью подтверждаются данными других общественных наук. Этнографы давно отметили поразительное сходство культуры, быта, верований и обычаев чувашского и марийского народов; антропологи заявляют о поразительном сходстве антропологического типа чувашей и марийцев; археологи находят общие черты в их древней материальной культуре. Теория субстрата, как никакая другая языковедческая теория, позволяет в полной мере осуществить увязку лингвистических данных с данными других общественных наук — истории, археологии, этнографии и антропологии.

Как уже говорилось, рассматриваемые изолированно явления бывают всегда мало доказательны. Все приведенные выше факты даны в системе. Случайным может быть одно явление, но комплекс явлений не может быть случайным, если к тому же он подтверждается данными топонимики, этнографии, антропологии, археологии и истории.

Если теперь мы попытаемся классифицировать различные результаты взаимоотношения языков, имеющие место в условиях внутрирегионального контактирования, то заметим, что получаемые на основании этой классификации категории ничем существенным не будут отличаться от той схемы, которую мы установили при классификации результатов влияния языков, имевшего место в условиях маргинального контактирования. Общая схема, в основном, будет одинаковой: 1) приобретение сходных звуков; 2) заимствование слов; 3) создание синтаксических калек; 4) возникновение семантических инклинаций; 5) заимствование словообразовательных суффиксов; 6) возбуждение сходных процессов развития структуры языка; 7) стимулирование сохранения однотипных черт.

Все это лишний раз подтверждает выдвинутый нами тезис, что влияние одного языка на другой в условиях действия языка-субстрата по существу ничем не отличается от других типов влияния языков. Теория субстрата не содержит ничего таинственного и мистического, влияние субстрата может быть вполне доказано.

Совершенно естественно, что такое влияние возможно только при наличии хотя бы самого минимального двуязычия. Влияние одного языка на другой веподтрждается объективными фактами, и нам совершенно непо-

нятным кажется упорное стремление некоторых языковедов отрицать всякую возможность влияния языка-субстрата.

Всякий вывод о возможности влияния субстрата получает более или менее прочное обоснование только в том случае, если он опирается на целый комплекс причинно связанных данных, к которым относятся:

1. Появление в языке ряда черт в области фонетики, не свойственных родственным языкам той группы, в которую входит изучаемый язык, но имеющихся в смежном по территории языке или языках.

2. Появление в нем специфических черт в области морфологии и синтаксиса, не свойственных родственным языкам, но имеющихся в смежном по территории языке или языках.

3. Появление новых слов, относящихся к основному словарному фонду, не свойственных родственным языкам, но встречающихся в смежном по территории языке или языках.

4. Наличие общей топонимики на территориях смежных языков, имеющих общие черты. Если общность топонимики отсутствует, общие черты могут быть результатом маргинального контактирования.

Противники теории субстрата могут указать, что случай частичного исчезновения языка-субстрата, продемонстрированный нами на примере марийского языка, относится к числу редких исключений. В преобладающем количестве случаев язык-субстрат окажется навеки исчезнувшим.

Однако такой скепсис вряд ли может быть оправдан. Гипотеза о возможности сегментарного исчезновения субстрата необычайно расширяет поле исследования. Границы распространения различных языков не являются раз навсегда установленными. Исторически они безусловно менялись. Если путем различных косвенных данных, например данных топонимики, попытаться реконструировать прежние границы распространения языков, то в большинстве случаев окажется, что они не совпадут с ныне существующими. Так, например, после такой реконструкции граница распространения карельского языка значительно переместится к востоку, граница распространения языка ливов — к югу, передвинется на запад граница распространения славянских языков, намного увеличится ареал былого распространения мордовских языков. Внимание исследователя должно быть прежде всего направлено на изучение возможных влияний субстрата в зонах частичного его исчезновения, лежащих между прежними и новыми границами распространения языка.

В качестве особой проблемы возникает проблема выявления влияний так называемого макросубстрата или исчезнувшего крупного языка или группы родственных языков, наделивших своими особенностями ряд других языков. *Всякая гипотеза о возможности влияния* макросубстрата должна быть обязательно подкрепляема фактом общности топонимики.

Типичным примером макросубстрата могут быть дославянские языки на территории северной и средней европейской части СССР, оставившие следы в топонимике волго-окского типа, характеризующейся речными суффиксами *ма*, *га* и *ша*[1]. Топонимика этого типа выявляется сравнительно легко; см. такие топонимические названия, как Волга, Кама, Клязьма, Кокшага, Свияга, Кострома, Онега, Пинега, Вага, Нырма, Цильма, Ижма и т. п. Топонимика волго-окского типа встречается на территории Архангельской, Вологодской, Ивановской, Горьковской, Ярославской, Костромской, Кировской и Московской областей, а также на территории Карело-Финской, Марийской, Удмуртской, Мордовской, Татарской и отчасти Коми республик.

---

[1] Имеются и другие суффиксы, но эти являются наиболее распространенными.

Трудно предположить, чтобы на этой огромной территории в древности был один язык. По всей видимости, на ней находилось несколько языков, входивших в одну группу родственных языков. На данную территорию проникали носители различных языков и смешивались с аборигенами.

Проблема влияния волго-окских языков на русский, марийский, чувашский, удмуртский, коми и татарский языки является очень сложной и нуждается в специальных исследованиях. Мы приведем только несколько примеров возможности влияния этого субстрата.

В волго-окских языках существовал какой-то падеж из серии местных падежей, который одновременно выражал и местонахождение предмета, и движение предмета по направлению к чему-нибудь или во что-нибудь. Назовем его условно направительно-местным, или иллативно-локативным, падежом.

Влияние этого направительно-местного падежа волго-окских языков сказалось в том, что в коми-зырянском, удмуртском, марийском, татарском, чувашском, мордовском и отчасти в русском языках встречаются алогичные конструкции, когда местонахождение предмета выражается не местным падежом или соответствующей предложной конструкцией, а направительным падежом или предложной конструкцией, обозначающей направление действия; например, в татарском языке: *Бала тактага язды* «Мальчик написал на доске» (буквально: «на доску»); в марийском: *Мый шӹжарем пӧртеш коденам* «Я оставил сестру дома» (буквально: «в дом»); в коми: *Поезд сувтіс станцияӧ* «Поезд остановился на станции» (буквально: «на станцию»); в удмуртском: *Илья тракторзэ ана пуме дугдытӥз* «Илья оставлял трактор на конце поля» (буквально: «на конец поля»); в чувашском: *Кĕçĕр лашана улăха хăвартăм* «В эту ночь я оставил лошадь на лугу» (буквально: «на луг»); в мордовском: *Бригада лоткась велес* «Бригада остановилась в деревне» (буквально: «в деревню»).

Обращает на себя внимание также артиклевая частица *то, та* в русских говорах. Эта артиклевая частица по своим особенностям резко отличается от артикля западноевропейских языков, но поразительно напоминает притяжательный суффикс 3-го лица в марийском и коми языках, употребляемый в непритяжательном, указательном значении. Связь артиклевой частицы *то, та* и притяжательного суффикса 3-го лица с эмфазой является их наиболее характерным отличительным признаком.

Наконец, интересно отметить наличие в русском языке оборотов типа *сижу бывало, гляжу бывало*, напоминающих в структурном, а также в известной мере и в семантическом отношениях аналитические прошедшие времена коми-зырянского, удмуртского, марийского, мордовского, татарского и чувашского языков; ср. в коми *муна волі* «иду бывало» («я шел»), удм. *мынӥсько вал* «иду бывало» («я шел»), мар. *каем ыле* «иду бывало» («я шел»), эрз. *молиллинь* (из *моли улинь*) «я шел бывало» («я шел»), татар. *бара идем* «иду бывало» («я шел») и т. д.

Нерешенной лингвистической проблемой является проблема волновой передачи сходных черт от одного языка к другому. Мысль о возможности волновой передачи черт от одного языка к другому отнюдь не беспочвенна. В самом деле, если в случае маргинального контактирования языков, как мы видели выше, один язык может передать некоторые черты другому, смежному с ним по территории языку, то естественно, что язык, приобретший эти новые особенности, может передать их дальше другому смежному с ним по территории языку.

Кроме того, изучение общих черт языков, входящих в так называемые языковые союзы (балканские языки, языки волго-камские и т. д.), позволяет установить, что внутри языковой зоны есть всегда язык (иногда два

или три языка), представляющий средоточие наибольшего количества изоглосс. По мере удаления от этого центра изоглосс количество общих черт по направлению к периферии заметно падает, что и напоминает до некоторой степени затухание волн от брошенного в воду камня.

Несмотря на наличие этих косвенных доказательств, проблема возможности волновой передачи языковых особенностей требует специального изучения. Выдвинутая в свое время теория волн Иоганна Шмидта нуждается в новой редакции.

Чтобы придать большую стройность теории субстрата, освободить ее от существенных недостатков и подвести под нее более прочную теоретическую базу, необходимо разрешить следующие задачи:

1. Определить конкретные условия для исследования явлений, связанных с влиянием субстрата, определить конкретные показатели возможности этого влияния.

2. Установить критерии, позволяющие безошибочно отличать результаты влияния языка-субстрата от возможных конвергентных явлений, возникающих самостоятельно, а также от результатов языкового влияния иного типа.

3. Изучить возможности волнового распространения языковых черт, выяснить, какие явления наиболее подвержены волновой передаче и какие оказывают сопротивление такому распространению.

4. Разработать методику использования данных других наук — истории, археологии, антропологии и этнографии.

5. Найти способы рационального сочетания данных, полученных при исследовании результатов влияния субстрата, с данными, полученными в результате применения сравнительного метода.

6. Разработать методику реконструкции явления, послужившего исходным источником. Система приемов этой реконструкции пока еще не разработана.

7. Исследовать причины неравномерности воздействия однородного языкового субстрата на разные языки, в связи с чем возникает проблема изучения причин этой неравномерности, в частности проблема сопротивления языковой системы.

8. Установить причины консервации однотипных явлений в языке-суперстрате при воздействии на него языка-субстрата.

Теория субстрата кладет основание для новой отрасли лингвистической науки — сравнительной семасиологии. Скрупулезное изучение семантики слов и грамматических форм в языках, смежных по территории распространения, позволит выявить так называемые инклинации. Данные, полученные сравнительной семасиологией, могут оказать существенную помощь ученым других специальностей — историкам, этнографам, археологам, антропологам, поскольку семантические инклинации будут явно свидетельствовать об исторических связях и взаимодействии народов, говорящих на данных языках.

В связи с необходимостью изучения влияния субстрата возникает необходимость в создании других вспомогательных отраслей лингвистической науки, как, например, сравнительной экспериментальной фонетики, изучающей фонетические системы языков и отдельных их говоров, смежных по территории. Необходимо начать сравнительное изучение мелодики речи, что также имеет весьма важное значение при исследовании результатов влияния языков-субстратов.

Квалификация влияния субстрата, как одного из видов многочисленных случаев взаимовлияния языков, открывает возможности для широкого изучения результатов взаимодействия языков вообще.

Изучение результатов влияния языков, в том числе и результатов влияния языка-субстрата, является необходимым и чрезвычайно важным до-

полнением к сравнительно-историческим исследованиям. Лингвист-историк должен знать не только то, что получилось в результате изменения архетипных форм в ходе естественного развития языка по его внутренним законам, но и те сдвиги в языковой структуре и то новое значение его форм и слов, которые возникли в результате влияния других языков.

Задача языковедов состоит в том, чтобы выявить рациональное зерно, содержащееся в теории субстрата, и поставить ее на более прочное основание.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1955

Г. А. МЕНОВЩИКОВ

УКАЗАТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ В ЭСКИМОССКОМ ЯЗЫКЕ

Указательные местоимения в эскимосском языке выражают различные степени отдаленности, приближения и видимости предмета по отношению к говорящему или производящему действие лицу. В сравнении с указательными местоимениями в русском языке или в любом другом языке индоевропейской семьи, которые выражают только два основных значения — указание на близкий и далекий предмет, указательные местоимения в эскимосском языке как слова, определяющие «действительность в ее отношении к говорящему лицу, к данной обстановке речи...»[1], представляют собою обширную группу слов, характеризующих более конкретное указание на предметы, находящиеся в определенном месте, расстоянии или направлении от говорящего. Другими словами, эти местоимения одновременно указывают на предмет и на место его нахождения.

По морфологическим признакам, лексическому значению и грамматическим функциям указательные местоимения в эскимосском языке являются в основе своей общими для всех многочисленных его диалектов — от азиатских до гренландских. Надо полагать, что они развились в языке в относительно глубокой древности, когда разбросанные ныне по различным континентам эскимосские диалектные группы были объединены в один этнический массив с единой территорией и общим языком-основой. Это предположение подтверждается сравнительным анализом указательных местоимений азиатских, североамериканских и гренландских диалектов эскимосского языка.

Во всех многочисленных диалектах эскимосского языка существует большое количество корневых и производных слов указательного значения, от которых образовалась, с одной стороны, большая группа указательных местоимений, с другой — еще бо́льшая группа наречий места (от каждого указательного слова — по три и более формы наречий).

Все указательные слова эскимосского языка значительно отличаются от указательных местоимений, например, русского языка. Если древнерусские указательные местоимения *сь*, *тъ*, *онъ*, являясь первообразными корневыми словами, уже с древнейших времен употреблялись в функции собственно-указательных местоимений, выражавших три степени дальности предмета от говорящего (*сь* «этот ближайший, под рукой»; *тъ* «тот, поблизости»; *онъ* «тот, отдаленный»)[2], то в эскимосском языке, как показывает сравнительное изучение диалектов, корневые указательные слова первоначально выражали более широкие понятия пространственного значения и имели наречно-указательно-именной характер. Собственно-указательные местоимения возникли на основании дальнейшей конкретизации

[1] В. В. Виноградов, Русский язык, М.— Л., 1947, стр. 317.

[2] См. Л. П. Якубинский, История древнерусского языка, М., 1953, §§ 433—453.

значений корневых указательных слов; при этом процесс лексико-грамматической конкретизации этой группы слов осуществлялся в течение длительного периода времени путем образования от корневых слов вторичных, производных форм слов по двум основным линиям: по линии образования указательных местоимений и по линии образования наречий.

Таким образом, указательные местоимения эскимосского языка, относясь по происхождению к древнейшим словам, являются между тем более поздними образованиями по отношению к их корневым компонентам, имевшим в языке (а в большинстве случаев и сохраняющим в настоящее время) самостоятельное лексическое значение указательных слов наречно-именного значения.

В отличие от преимущественно двучленной системы указательных местоимений в русском и других индоевропейских языках, мы имеем многочленную систему этой группы слов в эскимосских языках, характеризующих не только различные степени отдаленности предмета от говорящего лица, в пределах видимого и невидимого, но и различные признаки направления и примерного расстояния предмета, а также указание на предмет в его движении от говорящего или по направлению к говорящему (см. указательные местоимения *укна*, *агна*).

Указательные местоимения по сравнению с другими частями речи эскимосского языка, имеют свои лексико-грамматические особенности, обусловленные спецификой внутренних законов его развития. По ряду признаков указательные местоимения отличаются и от других групп местоимений. К лексико-грамматическим признакам необходимо отнести прежде всего следующие:

1. Указательные местоимения, выражая многообразные пространственные отношения, в отличие от имен существительных и прилагательных, не содержат в себе определенных предметных или качественных признаков, а лишь указывают на предметы и на место их нахождения; при этом указание на предмет является предельно конкретным.

2. Указательные местоимения как слова отвлеченно-обобщенного значения не могут иметь при себе определений, так как они не называют предметов, а только выделяют их из числа других однородных предметов. Благодаря этой особенности они не могут оформляться лично-притяжательными аффиксами (в отличие от имен существительных).

3. Указательные местоимения по своему происхождению восходят к корневым и производным указательным словам наречно-именного значения, которые до образования от них указательных местоимений и наречий выражали недифференцированные значения указательных имен и наречий (эти недифференцированные наречно-именные основы сохранились и в современном эскимосском языке в качестве самостоятельных слов).

4. В предложении указательные местоимения выступают в функции местоименных определений и согласуются с определяемыми словами в числе и падеже. Замещая существительное, указательное местоимение в предложении выполняет функцию подлежащего или дополнения[1].

---

[1] В качестве местоименных определений и заместителей существительных указательные местоимения эскимосского языка сохраняют свою форму и лексическое значение. Не следует их смешивать в указанных синтаксических функциях со словами, имеющими значение «здешний», «тамошний» и т. п. Эти слова образуются посредством присоединения к именным, в том числе и местоименным, основам суффикса *-г'ми*, характеризующего принадлежность лица или предмета к определенной местности, стране, нации; ср.: *Ун'азиг'ми* «уназикский» (житель селения Уназик); *макуг'ми* «здешний», «житель этой местности» (от указательного местоимения *мана*); *сямнаг'ми* «тамошний, живущий внизу, у моря» (от указательного местоимения *сямна* «тот нижний, у моря»).

5. При склонении указательные местоимения получают отличное от имен существительных изменение основ.

6. Падежные формы всех указательных местоимений во всех косвенных падежах, а также в двойственном и множественном числе в форме абсолютного падежа выступают только в значении собственно-указательных местоимений.

7. Большинство указательных местоимений, особенно местоимения с формативом *-м*, в единственном числе в форме абсолютного падежа сохраняют наречно-именное значение и в этом случае по своим функциям приближаются к наречиям места с теми же корнями.

8. Характерной особенностью некоторых указательных местоимений является то, что они указывают на предмет в его движении издалека в сторону говорящего (*укна*) или на предмет в его движении в сторону удаления от говорящего (*агна*).

9. Общим морфологическим признаком, объединяющим все указательные местоимения, является их образование посредством соединения корневых (без форматива *-ма*) и производных (с формативом *-ма*) указательных слов наречно-именного значения с формативом *-на*, который утрачивается при словоизменении и заменяется другими (числовыми или падежными) показателями.

В эскимосском языке отмечается более двадцати указательных местоимений, большинство из которых в зависимости от контекста имеет два и более конкретных значений.

Количество указательных местоимений и близких к ним слов наречно-указательного значения, как показали наблюдения последних лет, гораздо обширнее, чем до сих пор указывалось в различного рода работах по эскимосскому языку.

К указательным местоимениям в языке азиатских эскимосов (чаплинский диалект) могут быть отнесены следующие слова:

1) *уна* (дв. *укук*, мн. *укут*)[1] «этот, находящийся рядом с говорящим, под рукой»;

2) *тана* (*такук*, *такут*) «этот, находящийся рядом с говорящим, под рукой». Имеет более конкретное значение, чем *уна*;

3) *игна* (*ин'кук*, *ин'кут*) «тот, находящийся в некотором отдалении от говорящего»;

4) *тазигна* (*тазин'кук*, *тазин'кут*) «тот, находящийся в некотором отдалении от говорящего». Имеет более конкретное значение, чем *игна*;

5) *мана* (*макук*, *макут*) «этот (здесь), находящийся в окружающей местности»;

6) *агна* (*ахкук*, *ахкут*) «тот далекий, проходящий мимо или удаляющийся от говорящего». В этом же значении выступает местоимение *тагна*;

7) *кана* (*канкук*, *канкут*) «тот внизу, у воды, на воде, в середине круга, у выхода из полога»;

8) *пикна* (*пикыхкук*, *пикыхкут*) «тот, который находится выше говорящего, а также в стороне от моря, на севере»;

9) *укна* (*укыхкук*, *укыхкут*) «тот, приближающийся к говорящему»;

10) *икна* (*икыхкук*, *икыхкут*) «тот на другой стороне, за оврагом, за рекой, за проливом» и т. п.;

11) *к'агна* (*к'ахкук*, *к'ахкут*) «тот снаружи». Может употребляться в собирательном значении «то (неопределенное, неназванное) находящееся снаружи»;

12) *угна* (*ухкук*, *ухкут*) «тот, находящийся у выхода, у порога». В этом же значении употребляется слово *таугна*;

---

[1] В скобках всюду даны формы двойственного и множественного числа.

13) *пагна* (*пахкук*, *пахкут*) «тот, находящийся внутри страны, далеко от берега»;

14) *уныгна* (*уныхкук*, *уныхкут*) «тот в море, на берегу, на горизонте, ниже говорящего»;

15) *памна* (*памкук*, *памкут*) «тот (там) наверху, на горе, на северной стороне, позади»;

16) *сямна* (*сямкук*, *сямкут*) «тот (там) внизу, у моря, под чем-либо, в коридоре, на южной стороне». В этом же значении употребляется слово *тысямна*;

17) *амна* (*амкук*, *амкут*) «тот (там) за пределом, невидимый» (ср. *тамна*). Образовалось от *ама* «тут или там в неопределенном месте» и существительного *на* «место»;

18) *тамна* (*тамкук*, *тамкут*) «тот (там) за пределом, невидимый, но известный». Образовалось от *амна* с прибавлением префикса *та-*;

19) *к'акымна* (*к'акымкук*, *к'акымкут*) «тот (там) в коридоре, снаружи». Указывает на предмет, находящийся несколько ближе, чем предмет, определяемый местоимением *к'агна*;

20) *к'амна* (*к'амкук*, *к'амкут*) «тот (там) внутри чего-либо (определенный, известный)»;

21) *имна* (*имкук*, *имкут*) «тот (там) невидимый, неизвестный, далекий: тот в прошлом». Это местоимение выражает как пространственные, так и временные отношения. В форме единственного числа абсолютного падежа оно в большинстве случаев выступает в значении наречий места или времени.

Итак, указательные местоимения эскимосского языка образовались от корневых слов указательно-пространственного значения с последующим суффиксальным присоединением к ним форматива *-на*, сохранившегося в этой форме в современном эскимосском языке в значении самостоятельного слова *на* «место» (в абстрактном значении). Ср. в примере: *Кумлянъыг'мини мык' ан'атаг'алг'и на имиг'ак'а* «При замерзании вода больше места занимает»; здесь слово *на* обозначает «место». Можно предполагать, что форматив *-на* в древнейший период развития языка указывал на объект, находящийся на определенном месте, а затем уже стал обозначать понятие места, где находился объект. Последнее значение сохранилось в формативе *-на* во всех указательных местоимениях.

Корневые компоненты указательных местоимений были самостоятельными словами и обозначали место или указание на место, находящееся на определенном расстоянии или направлении от говорящего. Часть этих первообразных корневых слов сохранила свое самостоятельное лексическое значение также в современном языке, что и дает нам основание рассматривать указательные местоимения как слова, восходящие в своем генезисе к указательным словам наречно-именного значения.

Соединение этих корневых указательных слов с компонентом *-на*, а также соединение части их с двумя компонентами *-ма* и *-на* и дало основание для образования указательных местоимений. Так, например, от первообразного корневого слова *ага*, обозначавшего понятия «далекая местность» и «там далеко» (т. е. имевшего наречно-именное значение), образовалось указательное местоимение *агна* со значениями «тот дальний, проходящий, удаляющийся».В данном случае произошло соединение двух значимых основ *ага* и *на*, а конечный звук *-а* корневого компонента отпал. По такому же образцу, как показано ниже, произошло соединение корневых и производных слов пространственного значения с формативом *-на* при образовании всех других указательных местоимений, причем этот форматив из самостоятельного слова *на* превратился

в словообразовательный компонент, сохранив в то же время самостоятельное лексическое значение.

Образование указательных местоимений от корневых слов наречно-именного значения свидетельствует, во-первых, о том, что эти указательные местоимения не являются первичными образованиями, во-вторых, что в эскимосском языке в определенный период его исторического развития имел место процесс простейшего словосложения (что, между прочим, подтверждается этимологией отдельных слов и из некоторых других пластов лексики), который не отмечается в современном эскимосском языке. Одновременно с указательными местоимениями от тех же корневых и производных слов наречно-именного значения образуются многочисленные производные формы наречий места посредством присоединения особых наречных суффиксов, являвшихся, повидимому, суффиксами локативных падежей древнейшего, ныне исчезнувшего типа склонения.

*

Указательные местоимения по своему образованию и значению разделяются на две большие группы: 1) группа указательных местоимений, производных от корневых слов наречно-именного значения, к которым должны быть отнесены местоимения *уна*, *тана*, *игна*, *тазигна*, *мана*, *агна*, *кана*, *пикна*, *укна*, *икна*, *к'агна*, *угна*, *пагна*, *уныгна*; 2) группа местоимений, образовавшихся от основ наречно-именного значения с формативом *-ма*, к которым относятся местоимения *памна*, *сямна*, *амна*, *тамна*, *к'акымна*, *к'амна*, *имна*.

Указательные местоимения первой группы восходят, как указано, к первообразным корневым словам, большая часть которых, в отличие от корней второй группы указательных местоимений, сохранила в современном эскимосском языке самостоятельное лексическое значение. Все корневые компоненты этой группы местоимений были, повидимому, словами именного значения, обозначавшими различного рода пространственные понятия. Позже часть этих первообразных корневых слов утратила свое самостоятельное лексическое значение, а производные слова от них образовали группу указательных местоимений и наречий места. Другая часть сохранила свое лексическое значение и в современном эскимосском языке стала употребляться, с одной стороны, в функции имен, обозначающих названия мест, находящихся в определенном направлении или на определенном расстоянии от говорящего, а с другой — в функции наречий места. Параллельно с указательными местоимениями имеются производные формы наречий места, восходящие к этим же корневым словам наречно-именного значения и утратившие в двух своих основных формах (с суффиксами *-вык*, *-кын*) значение имен.

Образование указательных местоимений и наречий места от указанных ниже корневых слов можно выразить в следующей общей схеме:

Пика «место вверху», «там наверху»

Пикна — указат. местоимение «тот верхний»

пикавык — наречие «туда наверх»
пикыжкын — наречие «оттуда сверху»
пикани — наречие «там наверху»

Таким образом, указательные местоимения и наречия места по своему происхождению восходят к общим корневым словам, различаются же они

как по значению, так и по морфологическим признакам: местоимения оформляются формативом *-на*, а наречия — суффиксами *-вык*, *-кын*, *-ни*.

Образование указательных местоимений и наречий первой группы иллюстрируется следующими примерами (в скобках всюду указывается двойственное и множественное число местоимения):

1. **У* «место рядом» (имя), «здесь близко» (наречие); указат. местоимение *уна* (*укук*, *укут*) «этот рядом»; наречия **ўа*, *хўа* «здесь», «вот», **ўавык*, *хўавык* «сюда», *ўакын*, *хўакын* «отсюда», **ўани*, *хўани* «здесь». Форма *ўа* и производные от нее слова наличествуют в эскимосских диалектах Северной Америки.

К числу производных слов от *у-* следует отнести также и местоимение *тана*, которое является вариантом местоимения *уна*. Образовалось это местоимение из соединения префиксальной частицы *та-* и местоимения *уна*; при этом в языке азиатских эскимосов произошло усечение корневого компонента *-у*, что и дало форму *тана*, тогда как во всех американских и гренландских диалектах эскимосского языка сохранилась первоначальная форма *-таупа*. Префиксальная частица *та-* может присоединяться ко всем указательным местоимениям с начальным гласным, придавая им более конкретное значение.

2. *Ин'а* «место вблизи» (имя), «там вблизи» (наречие); указат. местоимение *игна* (*ин'кук*, *ин'кут*) «тот, находящийся в некотором расстоянии от говорящего, дальше, чем предмет, определяемый местоимением *уна*»; наречия *ин'авык* «туда подальше», *ин'кын* «оттуда», *ин'ани* «там».

В процессе соединения формативов *ин'а* и *на* произошло чередование звуков *н'*~*г*. Такое чередование в эскимосском языке наблюдается и является вполне закономерным.

3. *Ма* «место в окружности» (имя), «здесь в окружности, поблизости» (наречие); указат. местоимение *мана* (*макук*, *макут*) «этот, находящийся в данной местности», собирательно «это, находящееся в данной местности». В форме абсолютного падежа единственного числа имеет также наречное значение «здесь»; наречия *мавык* «сюда (в эту местность)», *макын* «отсюда (из этой местности)», *мани* «здесь (в этой местности)».

4. *Ага* «далекая местность» (имя), «вон там, далеко» (наречие); указат. местоимение *агна* (*ахкук*, *ахкут*) «тот далекий, проходящий мимо, удаляющийся» (в этом же значении употребляется слово *тагна*); наречия *агавык* «туда далеко», *ахкын* «оттуда издалека», *агани* «там далеко» (в этом же значении употребляются слова *тагавык*, *тахкын*, *тагани*).

5. *Пика* «место наверху» (имя), «там наверху» (наречие); указат. местоимение *пикна* (*пикыхкук*, *пикыхкут*) «тот, выше говорящего, на возвышенности, на севере, в стороне от моря»; наречия *пикавык* «туда наверх», *пикыхкын* «оттуда сверху», *пикани* «там наверху».

6. **Ка* «место внизу, у воды» (имя), «там внизу, у воды» (наречие); указат. местоимение *кана* (*канкук*, *канкут*) «тот внизу, у воды, на воде, в кругу, посредине чего-либо»; наречия *канавык* «туда вниз...», *канакын* «оттуда снизу...», *канани* «там внизу...».

7. *Ука* «место в направлении к говорящему» (имя), «там, в направлении говорящего» (наречие); указат. местоимение *укна* (*укыхкук*, *укыхкут*) «тот, приближающийся к говорящему»; наречия *укавык* «туда, к приближающемуся предмету», *укыхкын* «оттуда...», *укани* «там...».

8. *К'ага* «место снаружи» (имя), «там снаружи» (наречие); указат. местоимение *к'агна* (*к'ахкук*, *к'ахкут*) «тот снаружи, в коридоре, на улице»; наречия *к'агавык* «туда наружу», *к'ахкын* «оттуда снаружи», *к'агани* «там снаружи».

9. *Ика* «место на другой стороне» (имя), «там, на другой стороне» (наречие); указат. местоимение *икна* (*икыхкук*, *икыхкут*) «тот, на другой

стороне, за рекой, за проливом, за оврагом»; наречия *икавык* «туда, на другую сторону», *икыхкын* «оттуда, с другой стороны», *икани* «там, на другой стороне».

10. *Уга* «место у выхода» (имя), «там у выхода» (наречие); указат. местоимение *угна* (*ухкук*, *ухкут*) «тот у выхода» (в этом же значении употребляется слово *таугна*); наречия *угавык* «туда к выходу», *ухкын* «оттуда от выхода», *угани* «там у выхода» (в этом же значении употребляются слова *таугавык*, *таухкын*, *таугани*).

11. *Пага* «место внутри страны» (имя), «там внутри страны» (наречие); указат. местоимение *пагна* (*пахкук*, *пахкут*) «тот внутри страны, вдали от берега, наверху»; наречия *пагавык* «туда во внутрь страны, туда далеко от берега, наверх», *пахкын* «оттуда...», *пагани* «там ...».

12. *Уныга* «место на горизонте, далеко в море, на берегу» (имя), «там на горизонте, далеко в море, на берегу» (наречие); указат. местоимение *унынга* (*уныхкук*, *уныхкут*) «тот в море, на горизонте, на берегу»; наречия *унывавык* «там на горизонте, в море, на берегу», *уныхкын* «оттуда...», *унывани* «там...».

Указанием на самостоятельное в прошлом лексическое значение отмеченных здесь корневых слов (кроме местоимения *кана*), которые в качестве имен употреблялись до образования от них указательных местоимений и производных форм наречий места, является то, что косвенные падежные формы, а также формы двойственного и множественного числа этих слов не сохраняют форматива *-на*.

Иллюстрацией самостоятельного лексического значения корневых указательных наречно-именных слов, от которых позже образовались указательные местоимения первой группы и производные формы наречий места, могут служить приводимые ниже примеры, в которых слова типа *пика*, *ука*, *ма* и т. п. выступают в значении как наречий, так и имен существительных, что и характеризует их обобщенное, еще не дифференцированное, пространственное наречно-именное значение. Ср.: *Укыхкут ука нунавагыт матаг'нинын' к'антаг'альит* «Вон те сюда (движущиеся) моржи на льдине по сравнению с предыдущим приблизились». Слово *ука* стало употребляться в языке в значении наречия места «там, в направлении к говорящему», но оно имело, повидимому, именное значение, так как в форме местного падежа сохранило за собою именную функцию, как в предложении: *Ука укани тумым сяг'уани унисимак'а к'уйн'им ин'люпигак' сигунг'а* «Там, в той местности (на этой стороне) около дороги оставил я олений рог» [буквально: «Там, в той местности (на этой стороне) дороги около оставил я оленя односторонний рог его»]. Слово *укани* «на этой стороне» в сочетании с наречием *ука* «там, на этой стороне» обозначает имя существительное в форме местного падежа, а без сочетания с наречием *ука* (от которого и образовалось слово *укани*) оно выступает в значении наречия. Ср.: *Укани найг'ам сяг'ўани унисимахка к'амийык* «Тут (на этой стороне) около горы оставил я нарту».

Точно так же осмысляется слово *ма* и производное от него *мани*: *Ма мани выгаг'ым акулыг'рагани ин'тыкак' лых'лъык иг'ах'туг'ак'ук'* «Здесь в этой местности в траве линялый гусь прячется». В этом предложении слово *ма* выступает в значении «здесь», а слово *мани* — в значении «в этой местности», тогда как употребленное в отдельности слово *мани* будет обозначать наречие «здесь, в этой местности», как и в примере со словом *укани*.

В неоформленном виде слова типа *ма*, *ин'а*, *ага*, *тага*, *ука* и прочие выступают в языке преимущественно в значении наречий места. Ср.: *Ма касимак' утак'акахпут киноста* «Здесь (сюда) прибыл ожидаемый нами киномеханик»; *Ин'а ан'ьям асин'ани уйг'ин тагитигу* «Там под байда-

рой (находящийся) якорь принеси»; *Ага наг'ух'тук'юк* «Там (мимо) прошел сейчас человек» и т. п.

При изменении по числам и падежам, как было отмечено выше, указательные местоимения утрачивают форматив *-на*, в двойственном и множественном числе на его место становится форматив *-ку*. Ср.: *уна* «этот», *умун* «к этому», *укугнун* «к этим двоим», *укунун* «к этим» и т. п. Указательные местоимения *тана*, *игна*, *агна*, *пикна*, *тагна*, *укна*, *тазигна*, *к'агна*, *икна*, *угна*, *пагна*, *уныгна* изменяются по падежам так же, как местоимение *уна*.

Указательное местоимение *кана* «тот внизу, на воде» в отличие от других местоимений без форматива *-м* имеет особый тип изменения основы при склонении, получая в косвенных падежах в единственном числе форматив *-ту* вместо *-на*, а в двойственном и множественном числе во всех падежах сохраняя форматив *-н* в сочетании с последующим за ним формативом *-ку*, общим для всех указательных местоимений в двойственном и множественном числе. Ср.: *кана*, *канкук* «те двое внизу», *канкут* «те внизу», *катумун* «к тому...», *канкугнун* «к тем двоим», *канкунун* «к тем».

Указательное местоимение *мана* «этот в окружающей местности» при склонении в единственном числе принимает форматив *-ту*, как и местоимение *кана* «тот внизу, на воде». Формы же *макын* «отсюда», *мавык* «сюда», *мани* «здесь», *магун* «по этому месту» от компонента *ма* (в отличие от местоименных форм *матумын'* «от этого», *матумун* «к этому», *матуми* «у этого», *матукун* «по этому») имеют только наречное значение.

Указательные местоимения второй группы образовались от наречно-именных слов указательного значения, которые восходят к корневым компонентам *а-* (*та-*), *к'а-*, *ся-*, *па-*, *к'акы-*, *и-*, соединившимся с формативом *-ма*, восходящим к слову *ма-* «место в окружности», «широкое пространство в окружности» и «здесь, в этой местности». В результате этого соединения возникли наречно-именные слова со следующими лексическими значениями: *ама* «там за пределом, в неопределенном месте», «место за пределом», «неопределенное место»; *тамг-* — с тем же значением; *к'ама* «там внутри», «место внутри»; *сяма* «там внизу», «место внизу»; *пама* «там вверху, позади», «место вверху, позади»; *има* «там далеко, в прошлом», «неизвестное место»; *к'акыма* «там снаружи», «тот снаружи».

Указанная группа слов стала выражать в языке, как и группа описанных выше корневых слов, различного рода пространственные отношения. Но слова наречно-именного значения с формативом *-ма*, в отличие от корневых слов первой группы этого же значения, стали обозначать более отвлеченные, широкие и менее конкретные, пространственные признаки. Эти слова (без оформления их формативом *-на*) не употреблялись и не употребляются в языке в значении указательных местоимений. В зависимости от контекста они стали выражать обстоятельственные признаки, выступая в значении наречий места или имен существительных, как в примере: *Амг амани амкук уйг'ахлъягык найг'амын' улъх'итакагук* «Там, в той местности те два камня с горы скатились». Здесь от наречно-именного слова *ама* «там, в неопределенном месте», «неопределенное место в окружности» образовалась форма *амани* «в той местности», без сочетания с *ама* также выступающая в значении наречия, тогда как указательное местоимение *амкук* «те два» (относящиеся к той местности) является производным от местоимения *амна*, у которого в двойственном числе произошло усечение форматива *-на* (ср. *амна*, *амкук*, *амкут*). В примере *Сяма ан'ъям асин'ани ан'ўаг'ун иваг'ак'ыхкын* «Там (внизу) под байдарой весло, которое ищешь ты» слово *сяма* «там внизу» без уточнения его другими словами выражает значение неопределенного, широкого пространства внизу, а

в сочетании с относящимися к нему словами *ан'ьям асин'ани* «байдары внизу» («под байдарой») оно принимает конкретный характер. В предложении *К'ама к'амантук' путаг'ак'амик'* «Там внутри находится новая оленья шкура» глагол *к'амантук'* «находится внутри» образовался от наречия *к'ама*, поэтому сочетание *к'ама к'амантук'* буквально обозначает: «там внутри находится внутри».

С последующим присоединением к наречно-именным словам типа *ама*, *тама*, *к'ама*, *сяма*, *пама*, *к'ыма*, *има* форматива *-на* образовалась группа слов наречно-указательного значения, которая стала употребляться также в значении собственно-указательных местоимений: *амна* «тот за пределом, невидимый», «там за пределом, не видно»; *тамна* — в том же значении; *к'амна* «тот внутри», «там внутри»; *сямна* «тот внизу, у воды, в южной стороне»; *памна* «тот наверху, позади, в северной стороне», «там наверху, позади, в северной стороне»; *имна* «тот неизвестный, далекий, тот в прошлом», «там в неизвестном месте, далеко в прошлом»; *к'акымна* «тот снаружи», «там снаружи».

Слова наречно-указательного значения *амана*, *тамана*, *к'амана*, *сямана*, *памана*, *имана*, *к'акымана* в языке азиатских эскимосов почти утратили свою первоначальную форму, так как между сонантами *-м* и *-н* выпал гласный *-а*, что и дало формы: *амна*, *тамна*, *к'амна*, *сямна*, *памна*, *имна*, *к'акымна*, тогда как в аляскинских диалектах эти слова сохранили полногласие (ср. *tamana*, *qamina*, *qakumina* и т. п.), а в гренландских при выпадении гласного имело место чередование *-м/-в* (ср. *avna*, *ivna*, *pavna* и другие вместо азиатских *амна*, *имна*, *памна*). Слова этой группы по своему значению стоят, повидимому, на грани между именами и наречиями места, так как в прямой форме они употребляются преимущественно в значении наречий, а в косвенных падежах — в значении имен существительных и указательных местоимений, например: *Тамна айўан к'их'к'а к'унпын' сикун'исигалн'ук' талўа кихтуман* «Там северный остров никогда не освобождается ото льдов, даже летом»; *Найвам таматум мыг'а лык'ўах'тупихтук'* «Озерная вода той местности имеет много водорослей» (буквально: «озера той местности вода имеет много водорослей»); *Тамкук уйг'ахлъягык найг'амын' ульх'итакагук* «Те два (за пределом, невидимые) больших камня скатились с горы».

В первом примере слово *тамана* в исходной форме выступает как наречие, во втором примере это же слово в форме относительного падежа (*таматум* «той местности») употребляется в значении именного определения (*таматум мыг'а* «той местности вода ее»). В последнем примере слово *тамкук* «те двое» является формой двойственного числа местоимения *тамна* и применяется в значении указательного местоимения, согласующегося в числе и падеже с существительным *уйг'ахлъягык* «два больших камня».

Указательные местоимения с формативом *-м* (*тамна*, *амна*, *к'амна*, *сямна*, *памна*, *имна*, *к'акымна*) имеют общий тип склонения. Падежные формы этих местоимений с усеченным формативом *-на* во всех косвенных падежах, а также в двойственном и множественном числе в абсолютном падеже выступают только в значении собственно-указательных местоимений.

Все указательные местоимения с формативом *-м* изменяются по числам и падежам по образцу местоимения *к'амна* «тот внутри». Ср.: *к'амна*, *к'амкук* «те двое внутри», *к'амкут* «те внутри», *к'амумун* «тому внутри», *к'амкугнун* «тем двоим внутри», *к'амкунун* «тем внутри» и т. д.

Наречные формы от основ наречно-именного значения с формативом *-ма* образуются путем последующего присоединения наречных суффиксов *-кын*, *-вык*, *-ни*, *-гун*, например: *к'амакын* «оттуда изнутри», *сямакын*

«оттуда снизу»; *к'амавык* «туда внутрь», *сямавык* «туда вниз»; *к'амани* «там внутри», *сямани* «там внизу»; *к'амагун* «там по внутреннему месту», *сямагун* «там по низу».

Таким образом, слова наречно-указательного значения с формативом *-м(-ма)* выступают в языке в своей исходной форме (абсолютный падеж, единственное число) в значении указательных местоимений и наречий места (а слово *имна* выражает и временные отношения). Наречный признак этих местоимений особенно отчетливо выявляется в тех случаях, когда они употребляются в предложении, как указано выше, в форме абсолютного падежа единственного числа. Но наречный признак их утрачивается во всех случаях, когда они принимают форму косвенных падежей местоименного склонения или форму двойственного и множественного числа. Слова наречно-указательного значения с формативом *-м (-ма)* не получили в языке еще отчетливой морфологической дифференциации, однако по их основным грамматическим значениям они могут быть выделены в особую группу наречно-указательных местоимений, так как в живой речи преимущественно употребляются в значении собственно-указательных местоимений, сохраняя в то же время наречный оттенок.

Указательные местоимения как первой, так и второй группы в значении заместителей имен существительных или в функции указания на пространственный признак предмета широко употребляются в живой речи. Ниже приводятся примеры различного синтаксического употребления указательных местоимений в составе предложения.

Указательные местоимения первой группы

1. *Уна к'ынх'аг'ак'ук'улимавигми* «Этот работает в мастерской»; *Уна малг'укурак' Улыг'мун сянк'утмын' к'анинак'ак'ак'ук'* «Эта шхуна в Уэлен с товарами едет»; *Укун малг'укурах'к'ун ўин'ылъык ык'укут амсянах'тыкагу* «На этой шхуне в Увиник уедем мы с наступлением хорошей погоды»; *Ум аг'нам анух'туг'ъях'к'ак'инкут руссиг'мит улюн'-истун* «Эта женщина учить будет нас русскому языку».

2. *Тана унах'сик' явук'утн' улюни айынсюгитысюгитыпихта* «Это дерево для весла прочное как будто бы»; *Тана ск'а иваг'ак'ыхкыхка* «Это вот я и искал»; *Там кальтам има кувигу сыгныг'мун* «Этого ведра содержимое вылей в таз»; *Югык такук сюкалъютык Москвамун аг'уляк'ылъык'-ук* «Эти двое людей скоро в Москву уедут»; *Такут игат лъивилг'амун к'акух'тыки* «Эти книги на полку положите»; *Тамун югмун касимак'-иг'нык'* «К этому человеку приехал сын»; *Тами унугми сыфлъюхпагумат сыфлъюхпагасит ан'ъях'пагни* «В эту ночь гудели гудки на пароходах»; *Такутхун тумытхун тагимат югыт* «По этим следам пришли люди».

3. *Игна уйгин тагитигу хўавык* «Тот якорь принеси сюда»; *Ин'кук гуйгук атасиступ'ўак' аюк'ук* «Те два дома совершенно одинаковые»; *Ин'кут к'икмит амк'ых'сяпихтут* «Те собаки очень злые»; *Ин'кугныкун ан'ъягныкун касимат югыт* «Вон на тех двух лодках прибыли люди».

4. *Тазигна (тазин'кук, тазин'кут)* «Этот, находящийся от говорящего в некотором отдалении» (употребляется в значении, близком местоимению *игна*); *Тазигна их'лъюг'атым слъыгылъх'а тагиваху* «Вот тот самый толстый из шомполов подай»; *Тазин'кук к'амийык сюк'аг'ныг'ах'тыкагук* «Вот та (дв.) нарта осталась без полозьев»; *Тазин'кут к'аг'лют анутики* «Вон те упряжные ремни вынеси»; *Тазигна тазин'ани лън'инаюхтыкы-стаг'ми, авылг'ах'тыху* «Тот там пусть уединяется, оставьте его».

5. *Мана к'умзик' к'ырн'ух'лъюку, ак'ыфтаг'аг'мун канах'к'утигу* «Эти щенки собрав, в мешок положите». Здесь *мана* указывает на предмет в его собирательном значении и на место нахождения предмета («Эти,

этой местности, щепки»). Местоимение *мана* в значении существительного, обозначающего окружающее говорящего пространство: *Накын мана амалгулъык'а*? «Откуда эта местность волков будет иметь?»; *Иг'ивганх'ак' мана тыпах'тупихньик'сяг'ат* «Только вчера эта местность водорослями (говорят) изобиловала»; *Матум выгаг'а такыпихтук'* «Этой местности трава очень высокая».

Местоимение *мана* в собственно-указательном значении: *Макут картинат ювг'иг'напихта* «Эти (кругом) картины привлекательны», дословно: «Эти (кругом) картины привлекают»; здесь рассказчик имеет в виду множество картин в музее; *Мана сику нак'ам ухтылыхсюгнитыпихсях'тук'* «Этот (окружающий) лед как будто бы множеством зверя изобилует».

В косвенных падежах особенно отчетливо проявляется местоименный характер слова *мана*. В предложении *макунын' картинанын' тугугу атасик'* «Из этих (находящихся вокруг) картин возьми одну» слово *макунын'* «из этих» представляет собой форму творительного падежа множественного числа указательного местоимения *мана*, и в этой форме оно может иметь только местоименное значение. Согласование в числе и падеже указательного местоимения с определяемым словом служит достоверным подтверждением преимущественно не наречного, а местоименного значения слов типа *мана*, как это хорошо видно из следующих примеров: *Матумун югмун каюсик'и* «К этому (здешнему) человеку обратись за помощью»; *Макугнун югыгнун каюсик'и* «К этим двум (здешним) людям обратись за помощью»; *Макунун югнун каюсик'и* «К этим (здешним) людям обратись за помощью».

Если указательное местоимение *мана* в форме относительного падежа (*матум*) согласуется с определяемым им словом в этой же форме, то оно сохраняет свое чисто местоименное значение, как в предложении: *Матум ук'фигым авайи такыпихтут* «Этого кустарника ветви очень длинные», а если это местоимение выступает в функции заместителя другого имени, то оно совпадает по значению со словом *ма* «окружающая местность». Ср.: *Матум выгаг'а такыпихтук'* «Этой местности трава очень длинная». В таком же точно значении выступают другие местоимения с формативом *-м(-ма)*. Ср.: *Памум найг'ам кайн'а сяг'рукыхтыпихтук'* «Той верхней горы верх очень ровный», но *Памум найг'ат сяг'рукыхтыпихтут* «Той верхней местности горы очень ровные».

6. *Агна к'имуссик' к'укмих'тупихта наг'ух'лъих'и* «Та упряжка со множеством собак мимо проходит» (со значением: «Как много собак у той упряжки, проходящей мимо»); *Ахкук мыкыл г'иг'ык атх'ах'тук снамун* «Те двое (удаляющиеся) юноши спускаются на берег»; *Ахкут мын'тыг'ат уятупихтат к'антаг'анитысюгнилн'ут* «Те яранги очень далекие близкими кажутся» (со значением: «Как далеки те яранги, которые кажутся близкими»); *Ахкут ан'ьят калыфк'ах'симат* «Те (дальние, проходящие) байдары погрузились глубоко в воду»; *Тагна(агна) пыгным алилъх'и найгам асин'ани, сян'аўа*? «То (движущееся) с трудом видимое под горой, что там?» местоимение *агна* в косвенных падежах имеет те же формы и функции, как и другие местоимения этого типа (ср. *уна, укна, уныгна* и др.).

7. *Кана к'икмик' к'ыляках'у танпыг'мын' ныг'ылг'и* «Отгони ту собаку, которая ест моржовую шкуру» [буквально: «ту (внизу) собаку отгони шкуру едящую»]; *Канкук агаг'н'ал г'ик ан'ьяг'ўаг'ык атупагнинискагук* «Те два (внизу), лежащие на козлах вельбота, стали непригодными»; *Канкут к'агим тунутан'ани сямын'ўаятак'ат к'ак'сюн'ит*? «Те (на воде) за прибоем, что отнимают друг у друга чайки?» (в значении: «Что отнимают друг у друга чайки, находящиеся за прибоем»); *Катум к'ихк'ам сна лък'ўах'тупихтук'* «Того острова берег водорослей много

имеет»; *Канкунун хўан'куталъю атх'алъта* «К тем (у воды) мы тоже давайте спустимся».

8. *Пикна пын'ух'к'ак'выгах'тупихтук'* «Тот холм имеет много травы»; *Пикыккук стунак'ылг'ик, сх'апакальтыки* «На тех двоих (верхних), собирающихся скатиться, давай посмотрим на них»; *Пикыхкут акилит явук'утыт ак'фах'тыки* «Те (верхние) западные весла принесите» (в значении: «Принесите те верхние весла, которые находятся на западной стороне»); *Пикна гуйгу ан'ылъых'пигагук' таман'итнын' гуйгунын'* «Тот (верхний) дом самый большой из всех домов»; *Пикагун тук'ук'акун агах'тигу насяпран* «На тот (верхний) гвоздь повесь свою шапку».

9. *Ук, сян'ўа укна уяванын' тун'ан'иг'ак'а?* «О, что это издалека приближается?»; *Укна каскан, аг'уляк'ылг'акут* «Тот (приближающийся) когда прибудет, тогда мы пойдем»; *Сх'а укыхкук, иглыг'алгутыхка, нутан алилг'ик* «Вон те двое, ехавшие со мною, только что показались»; *Укыхкут ука нунавагыт матаг'нинын' кантаг'альит* «Те там (приближающиеся) моржи на льдине по сравнению с предыдущими приблизились»; *Укум тун'ан'ан сна ихагрукыхтыпихтук'* «Этой стороны берег очень крутой»; *Укыхкунун пайг'утын* «К тем (приближающимся) иди навстречу» (в этом же значении: *укыхкут пайых'к'и* «тех встречай»); *Укумун югмун кылгутигу мын'тыг'ак'а* «Тому (приближающемуся) человеку покажи мой дом»; *Укумын'югмын'навг'ах'атын к'аг'люмын'* «У того (приближающегося) человека временно попроси собачьи упряжки».

10. *Икна пагунг'ах'тупихтук' мысягым кылютан'а* «Вон то многоягодное за болотом место»; *Икыхкук аг'виг'налютык пик'сях'тук, иўырн'а киўгык улывумак* «Вон те двое (на другой стороне) переправиться хотят, но река разлилась»; *Икум к'ынаг'а яхкыстапигук'* «Той (стороны) песок очень мелкий».

В других падежах указательное местоимение *икна* употребляется по образцу *укна*.

11. *К'агна к'ага нукыхнагук'* «То (близкое место) там снаружи грязное (после дождя)». Здесь *к'агна* является указательным местоимением, а *к'ага* — словом наречно-именного значения, от которого образовалось *к'агна*; *К'агна тамах'ан юк к'ырн'ух'тыху клубымун, киях'нак'ук' к'ырн'ук'* «Тех всех людей соберите в клуб, будет собрание». В этом предложении *к'агна* в сочетании с обобщающим словом *тамах'ан* «все» приняло собирательное значение (*к'аг'на тамах'ан юк* «тех всех людей», что буквально обозначает: «того всего человека», а также «той местности всего человека»); *К'ахкук к'уйильхаг'ык нутан сх'аг'ахка* «Тех двоих (находящихся снаружи) оленеводов впервые вижу я»; *К'ахкут сямын' аратак'ат таг'нух'ат?* «Те (снаружи) что кричат дети?»; *К'акмунын' туг'а уна аявик'* «От того (находящегося снаружи) взял он эту палку»; *К'акмумун наг'аг'утын'лъятыск'и* «К тому (находящемуся снаружи) обратись, чтобы сделал игрушку».

12. *Угна аўатах'пак агах'нъак'ыси* «Тот (на краю) поплавок повесь»; *Ухкук альиг'ак итх'утикык* «Те (у порога) шкуры внеси».

В косвенных падежах указательное местоимение *угна* изменяется и употребляется по образцу других указательных местоимений первой группы.

13. *Пагна снамын' уяванлын'ук' найгак' выгах'тупихтук'* «Та от берега вдали гора имеет много травы»; *Пахкук найгак выгах'тупихтук* «Те две горы (вдали от берега) имеют много травы»; *Пахкут найгат выгах'тупихтут* «Те горы (вдали от берега) имеют много травы».

14. *Уныгна сику к'аг'маг'ак'ук'* «Тот (на горизонте) лед отражается в мираже»; *Уныхкук ан'ъях'пагык сюкатыпихтак* «Те два парохода (далеко в море) быстро движутся»; *Уныхкут к'аўаг'ъят айвыг'амат* «Те (в

море) охотники на птиц добыли моржа»; *Унылкунун к'ынаг'мылн'уг'нун мын'тыг'анун пиякальтун'* «К тем, на песке находящимся ярангам сходим вдвоем»; *Унгумын' кулюсмын' тагляг'ак'ук' нанук'* «От того айсберга движется белый медведь»; *Унгумун кулюсимун ан'ьяк' атх'ах'тыстыху* «К тому айсбергу байдару отправьте».

Указательные местоимения второй группы

15. *Памна к'ымтам к'иргысын'а сигик'лъюни аюк'ук'* «То(там наверху) чердачное окно разбилось»; *Памкут найват ик'алъюлгуник'ит ум югым* «Те (верхние) озера рыбные, говорит этот человек» (в значении: «Этот человек говорит, что те верхние озера изобилуют рыбой»); *Памкунын' найванын' тагилъык' укут ик'алъюгмын'* «С тех (верхних) озер принесем мы рыбы»; *Памна тунутымнъи юк иглых'так'ук'* «Тот позади нас человек прохаживается» и «Там позади нас человек прохаживается».

Слово *памна* в форме абсолютного падежа единственного числа чаще всего употребляется в функции наречия и указывает на место нахождения предмета в окружающем пространстве, как в примерах:

Памна айўан к'их'к'а к'унпын' сикун'исигалн'ук' талўа кихтуман «Там (позади) северные острова никогда не освобождаются от льдов, даже летом»;

Памна тунук'амылн'ук' к'умзик', к'ырн'ух'лъюку итх'ух'тыху «Там позади находящиеся (за домом) щепки собрав, принесите».

16. *Сямкук кинкун'аўак алых'к'улъх'ик?* «Те двое (внизу) кто такие разговаривают?»; *Сямкут тук'ук'ах'тулг'ит унах'сит к'ухкагут* «Те (в коридоре) с гвоздями доски для дров предназначены»; *Сямум тун'ан'а уйг'ахтупихтук'* «Того (нижнего места) сторона его каменистая»; *Сямуми югми сявика тун'сик'ах'у* «У того (внизу, в коридоре) человека нож мой попроси».

Местоимение *сямна* в форме местного падежа (*сямуми*) выступает только в значении указательного местоимения, а в значении наречия употребляется форма *сямани* «там внизу, в коридоре», образуемая от наречия *сяма* в том же значении. Ср.: *Сяма ни натыг'ми агах'таг'ак'ук' сыфлъюгак'* «Там в коридоре висит ружье».

Другие косвенные падежи от местоимения *сямна* образуются таким же образом, как от местоимения *памна*. Ср.: *Сямумын' югмын' тагитигу унг'ак'* «От того (внизу, на берегу) человека принеси гарпун»; *Сямумун югмун атх'атигу унг'ак'* «Тому (внизу, на берегу) человеку отнеси гарпун»; *Сямкунун ан'ьянун атх'атыки ан'ўаг'утыт* «К тем (внизу, на берегу) байдарам отнеси весла».

17. *Амна игасик', столым аўатан'анилн'ук', тягивак'ах'у* «Тот (там) карандаш, за столом находящийся, подай»; *Амкук уйг'ахлъягык найг'амын' улъх'итакагук* «Те два (неопределенные) больших камня с горы скатились»; *Амкут иных'тах'тыки к'авих' тилг'ит мыкылг'иг'ыт* «Тех (невидимых, за степой) предупредите, не дающих спать, мальчиков»; *Амум пын'ух'к'ам аўатан'ани выгаг'а такых'ляпихтук'* «За той сопкой трава очень высокая»; *Амуми югми найгам аўатан'анилн'уг'ми ак'фатыкык к'амийык* «К тому человеку за горой сбегайте за нартой» (дословно: «У того человека за горой сбегайте нарта»).

В остальных косвенных падежах указательное местоимение *амна* имеет те же формы и значения, как и местоимения *памна*, *сямна*. В форме единственного числа абсолютного падежа это местоимение употребляется также в значении наречно-именного слова наряду со словом такого же значения *ама* «там за пределом», «место за пределом», от которого и образовалось местоимение *амна*. Ср.: *Амна к'иг'нах'лъяхтук'*, *укагун агылъта*

«Там то место (за пределом) очень скользко, по этому месту лучше пойдем»; *Угун Тыпагрупнун канлек'ут-амна айвых'ситун к'алг'ак'* «Как только к Тыпагруку подошли, там по-моржовому крик» (наукский диалект); *Амна тумын'ылък'ум аўатан'а пиних'тук'к к'имухсимын' иглых'фигулюни* «Там за опасной дорогой хорошо нартами ехать» (в значении: «Там за опасной дорогой следует хорошая дорога для езды на нартах»).

Приведенные примеры употребления указательного местоимения *амна* свидетельствуют о том, что оно, так же как и все другие указательные местоимения с формативом *-м(-ма)*, не получило в языке четкой грамматической дифференциации и в форме единственного числа абсолютного падежа выступает в составе предложения как в значении собственно указательного местоимения, так и в значении наречия и имени существительного, обозначающего неопределенное пространство.

18. *Тамна* (*тамкук*, *тамкут*) «Тот (там) за пределом, невидимый». Ср. *амна*.

19. *К'акымна китум к'икмик'агу укилыг'ьяпихлъых'и*? «Та (снаружи) чья собака пятнистая?»; *Какымкут к'айиск'итыки ак'ылък'ат* «Тех (снаружи) пригласите чай пить гостей».

Это указательное местоимение употребляется в том же значении, что и *к'агна*, но указывает на предмет, несколько более близкий к говорящему. В современном эскимосском языке семантическое различие указательных местоимений *к'агна* и *к'акымна* постепенно утрачивается.

20. *К'амкук к'альтак имилн'ук' анутах'тикык* «То (находящееся внутри) ведро пустое вынеси»; *К'амна мальиг'накын* «То (внутреннее место) подмети». В значении «там внутри» употребляется наречная форма *к'ама* или *к'амани* (ср.: *к'амани малъих'аси* «Там внутри подметите»); *К'амна унах'сик' Тагруґьимун аглятигу сюк'аг'ных'к'ак'* «То (находящееся внутри) дерево отнеси Тагруге для полозьев»; *К'амумын' югмын' тагитигу пана* «От того (находящегося внутри) человека принеси копье»; *К'амумун югмун аглятигу тана пана* «Тому (находящемуся внутри) человеку отнеси это копье»; *К'амкуни югыгни тун'сик'а тауак'амын'* «У тех (находящихся внутри) людей попроси табаку»; *К'амкунун мын'тыг'ам ин'люн'анун югнун аглятигу тана газета* «Тем, находящимся внутри жилища, людям отнеси эту газету».

Указательное местоимение *к'амна* употребляется в значении наречия места «внутри». Ср.: *к'амна катагуткак' улимасит сялн'агым илюн'анилн'ук' мин'лъыхтах'тигу* «Там внутри рассыпанные инструменты в ящике приведи в порядок».

21. Слово *имна* «тот неизвестный», «там в неизвестном месте», «там в прошлом или будущем» не получило в языке собственно-местоименного или собственно-наречного значения. Оно продолжает оставаться недифференцированным и, принимая различные формы, выражает в языке различного рода пространственные и временные отношения:

Сян'ўа имна пахак'атху ик'нак'ылъых'пигак' пилъюґасик'? «Что то говорит о самом сильном оружии войны?» Также в значении: «Что там говорят о самом сильном оружии войны?» В наречных формах от основы *има* «там в неизвестном месте», «там в прошлом или будущем» сохраняется только собственно-наречный характер этого слова: *Нани имани киях'нак'ылъык'а тана юк*? «Где-то там (в неизвестном месте) будет находиться этот человек?»; *Сялин имакын ан'ьяг'ниг'ым апых'туся киях'так'ук' матын* «Еще издревле (издавна) охотничий обычай и теперь живет» (в значении: «Древние охотничьи обычаи живут еще и теперь»).

Таким образом, слово *имна* не получило в языке сколько-нибудь дифференцированного лексического значения и представляет собою яркий

образец выражения широкого пространственного (а в данном случае и временного) значения, которым обладает вторая группа указательных местоимений, названных нами наречно-указательными. Надо полагать, что форматив *-ма*, восходящий к слову «окружающая местность», «неопределенное место вокруг говорящего», свое первоначальное значение неопределенного, обширного пространства привнес и во все производные формы слов, в которые он вошел составным компонентом.

Корневые слова, имевшие в далеком прошлом пространственное значение, с развитием грамматической системы языка и его словарного состава, в процессе словообразования получили не только новые производные формы, но каждая из этих производных форм стала обозначать и новое лексическое значение, хотя общая семантическая значимость корневых элементов этих слов сохранилась во всех производных словах. Ср. *ма* «ближайшее пространство в окружности»; отсюда *мана* «это в окружающей местности» и «эта местность»; *мавык* «сюда», *макын* «отсюда», *мани* «здесь». Здесь слово *ма*, выражавшее первоначально все пространственные отношения, присущие существительному, наречию и указательному местоимению, в процессе развития словообразования получило специальное оформление наречными и местоименными формативами.

Из приведенного перечня слов указательно-местоименного значения следует, что в эскимосском языке выделилась и развилась большая группа местоимений, указывающих на предметы, находящиеся в разных направлениях и в различной степени удаления от говорящего — как в пределах видимости, так и за этими пределами. Часть указательных местоимений выражает указание на предметы в их движении в сторону удаления или приближения. Первая группа указательных местоимений, образовавшаяся от корневых слов наречно-именного значения, в большей степени стала выражать конкретные признаки предметов в их соотношении с окружающим пространством, тогда как вторая группа указательных местоимений с формативом *-м* (*-ма*) обозначает более отвлеченные, широкие пространственные признаки предметов. Эта группа местоимений менее конкретна и выражает как наречные, так и местоименные признаки.

В заключение следует сказать, что специфической особенностью указательных местоимений эскимосского языка является то, что они не представляют собою первичных корневых слов, а все восходят к вторичным, производным образованиям, возникшим в результате сочетания целого ряда корневых указательных слов наречно-именного значения. Этимологический анализ указательных местоимений свидетельствует, что они образовались из соединения двух или трех корневых слов пространственного значения, которые во многих случаях сохранили свою лексическую самостоятельность и самобытность также и в современном эскимосском языке.

Морфологическое членение указательных местоимений (и наречий) эскимосского языка должно рассматриваться как в плане живых лексико-грамматических норм, так и в плане его исторического развития, в плане учета тех грамматических и словообразовательных процессов, которые действовали в языке в далеком прошлом. Совершенно несомненно, что в образовании тех или иных слоев лексики, а в конкретном случае — в образовании указательных местоимений решающим фактором являлись условия материальной жизни людей, условия их производственной деятельности.

Несмотря на звуковые и отчасти морфологические различия, указательные местоимения по диалектам в большинстве случаев сохранили общее лексическое значение, которым они обладали еще до периода дробления языка-основы.

Наличие большого количества указательных местоимений в эскимосском языке свидетельствует о том, что познавательная деятельность его носителей, как и носителей любого другого языка, основывалась не просто на отражении непосредственных явлений их материальной жизни, а происходила в тесной связи с имевшимися уже результатами длительного исторического процесса обобщения и абстрагирования. Иными словами, каждое из корневых слов, обозначавших пространственные и другие представления, возникло не в результате «конкретного» или «примитивного» мышления «первобытных» людей, как об этом пишут буржуазные ученые, подобные Леви-Брюлю, а развивалось и принимало в языке соответствующий звуковой облик в форме слова в результате длительной абстрагирующей деятельности мышления, в результате обобщения многовекового опыта людей.

*

Сравнительное изучение лексико-грамматических категорий эскимосских языков, а в данном конкретном случае — указательных местоимений, выражающих многообразие пространственных отношений одними и теми же лексическими средствами, свидетельствует об этнической общности всех ныне существующих территориальных групп эскимосов, которые в далеком прошлом объединялись единым языком и единой территорией.

Существующее мнение о том, что сравнительное изучение родственных языков в плане обнаружения исторического развития отдельных лексико-грамматических категорий языка невозможно без древнейших письменных памятников, нам представляется неприемлемым, по крайней мере для эскимосского языка. Наличие древнейших письменных памятников — это только один из наиболее верных источников сравнительно-исторического изучения лексико-грамматических категорий того или иного языка. Вторым таким источником может служить наличие отдельных диалектов или родственных языков, длительное время (в течение многих столетий) изолированных от других диалектов и родственных языков, ранее объединяемых языком-основой. Последнее положение особенно важно для языков, не имеющих древнейших письменных памятников. Наличие живых эскимосских языков, например, на территории Северо-Восточной Азии, с одной стороны, и Гренландии — с другой (не считая промежуточные территориальные диалекты), носители которых не имели контакта друг с другом по крайней мере в течение последних семи столетий, дает богатейший материал для сравнительного изучения этих языков. В течение указанных столетий эскимосские языки Азии и Гренландии развивались самостоятельно и независимо. За такой длительный период в этих языках произошли несомненные изменения как в лексике, так и в грамматике. Но основные элементы языка, основы его грамматического строя и главнейшие пласты лексики, за данный промежуток времени не претерпели существенных изменений, поэтому сравнение материала одного языка с другим может служить достоверным и надежным источником для изучения генезиса указательных местоимений. Нам представляется совершенно несомненным, что многочисленные указательные местоимения территориально разобщенных эскимосских языков образовались не параллельно в каждом из них, а восходят к единому языку-основе до момента его дробления на диалекты и языки[1].

---

[1] См. нашу статью «Об устойчивости грамматического строя и основного словарного фонда эскимосского языка» (сб. «Вопросы теории и истории языка в свете трудов И. В. Сталина по языкознанию». М., 1952).

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1955

Н. Г. СТРЕЛКОВ

РАБОТА ЧЕХОВА НАД ЯЗЫКОМ СВОИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Произведения, включенные Чеховым в «Собрание сочинений» издания А. Ф. Маркса 1899—1901 гг., были им тщательно отредактированы. В той или иной мере перерабатывались и те произведения, которые редактировались автором еще раньше — при переизданиях. Таким образом, от взора читателя, знакомившегося с Чеховым по марксовскому изданию, был скрыт тот сложный путь, который проделал Чехов от юмориста 80-х годов до всемирно известного художника слова.

Когда после смерти писателя собрание его сочинений было пополнено теми произведениями, которые он не включил в марксовское «Собрание» и в которых язык и стиль первых (журнальных) редакций сохранились в неприкосновенности, творческое развитие Чехова раскрылось полнее и разнообразнее. Однако и теперь эволюция его творчества прослеживалась на разном материале: менялись темы, жанр, сюжеты, и параллельно с ними менялись художественное мировоззрение и писательская техника.

Особый интерес в раскрытии творческого пути Чехова представляет изучение переработки им первоначальных редакций в направлении к последней редакции «Собрания сочинений». В этом случае мы видим конкретные примеры изменений (иногда в несколько приемов) словаря, фразеологии, синтаксиса, семантики, роли «подтекста», приемов художественной детализации, способов изображения душевных состояний и т. д.— все это на одном материале и при сохранении первоначального замысла. Построенный на изучении этих изменений анализ творческой работы писателя конкретно обнаруживает, какими средствами языка и стиля низкий «осколочный» жанр с балагурством и жеманностью в изображении жизненных ситуаций, с фельетонностью в оценках этих ситуаций и характеров, с искусственностью использования отдельных художественных приемов поднимался писателем до величайших образцов мировой литературы. На конкретном материале здесь раскрывается перед нами с полной ощутительностью «...чудо рождения и созревания великого художника»[1].

Кроме того, такое изучение эволюции чеховского языка и стиля помогает строго объективному разрешению вопроса о том, в чем заключается новый, в собственном смысле чеховский этап художественного реализма.

На пути сопоставительного анализа вариантов чеховских текстов наиболее эффективные результаты дает изучение тех произведений, которые, во-первых, тщательно перерабатывались Чеховым и, следовательно, богаты вариантами и у которых, во-вторых, первоначальная редакция отделена от последней достаточно большим количеством лет.

---

[1] В. Ермилов, Антон Павлович Чехов, 1860—1904, [2-е, переработ. изд., М.], 1949, стр. 76.

Нечего говорить о том, что количество вариантов, приведенных в последнем юбилейном издании «Собрания сочинений и писем Чехова»[1] (за исключением 9-го тома), ничтожно по сравнению с их действительным числом и ни в какой мере не освобождает исследователя от обращения к журналам и газетам, где печатался Чехов.

I. Рассказ «Шуточка»

Первая редакция рассказа «Шуточка» появилась в 1886 году в журнале «Сверчок» (№ 10), вторая и последняя — в собрании сочинений в 1900 году. Авторская переработка рассказа касалась всех сторон его языка: поэтому изучение истории текста «Шуточки» имеет особое значение для уяснения путей эволюции языка и стиля чеховских произведений.

Из текста второй редакции последовательно исключаются разговорно-фамильярные элементы языка, которыми изобиловала журнальная редакция рассказа. Заменяются они нейтральными в стилистическом отношении словами и выражениями литературного языка. Но в виду тесной связанности всех сторон художественной речи замена одних ее элементов другими обычно вносит существенные изменения и в стиль целого контекста. Это приводит к необходимости индивидуального истолкования причин и результатов изменения текста в каждом отдельном случае.

Было: «Вот, вот сковырнемся!»; стало: «Вот-вот еще мгновенье и кажется, — мы погибнем!» Если не считать вставки новых слов, тематически и модально обогащающих фразу, то данное изменение относится к простой замене разговорно-фамильярного слова нейтральным. То же и в собственных словах Наденьки. Было: «Давайте еще раз... *проедемся*...»; стало: «Давайте еще раз... *прокатим*». Но тот же глагол в форме инфинитива сохраняется в обеих редакциях: «Не *проехаться* ли нам еще раз?» (слова Наденьки).

«*Опять мы летим ко всем чертям*» превратилось в «опять мы летим *в страшную пропасть*». Выражение *ко всем чертям* первой редакции могло принадлежать только герою, а не героине, для которой разговорно-фамильярный стиль не характерен. Эта замена важна тем, что, с одной стороны, изображает факт, как он воспринимается одновременно обоими героями: с другой, композиционной, стороны эти слова теперь представляют собою развитие мотива пропасти, который выше входил в такой контекст: «Все пространство от ее маленьких калош до конца ледяной горы кажется ей страшной, неизмеримо глубокой пропастью».

Было: «*Что за оказия*? —написано на ее лице»; стало: «И на лице у неё написано: — *В чем же дело*?..» Смысл лексического изменения тот же, что и в первом примере. Было: «Не может же быть, чтоб их говорил ветер!— выражает ее лицо.— Это ты, братец, сказал! Ты!» Во второй редакции стало: «Не может же быть, чтоб их говорил ветер! И я не хочу, чтобы это говорил ветер!» Таким образом, слова, выражающие в резко фамильярном стиле мысли Наденьки, исключены как противоречащие общему строю ее речи и чувств и заменены другими, вводящими новый, психологически очень важный мотив, отсутствовавший в первой редакции.

Фраза «Кто из двух грешен — Наденьке неизвестно» изменилась так: «Кто из двух признается ей в любви, она не знает». Фамильярно окрашенное слово *грешен* в значении «виноват» здесь оказалось замененным нейтральным оборотом устной речи *признается ей в любви*. Вместо «От страха у нее ушла душа в пятки» читаем: «Страх, пока она катила вниз,

[1] А. П. Чехов, Полное собр. соч. и писем, М., 1944—1951.

отнял у нее способность слышать...» С исключением фамильярной идиомы шутливого типа стиль всей фразы резко изменился.

На месте: «Наша льдяная гора темнеет, теряет свой блеск и *начинает киснуть*»— получилось: «Наша ледяная гора темнеет, теряет свой блеск и *тает* наконец». Вместо «уже *попахивает* весной» стало: «уже *пахнет* весной». Резко нарушавшая общий тон повествования экспрессия иронической оценки или балагурства оказалась снятой. Опущена без замены шутливая идиома *разинуть рот* вместе со всей фразой: «не дав Наденьке опустить рук и *разинуть рот* от удивления...»

Отказался Чехов и от слова *кудряшки* с субъективной оценкой, выражающей некоторую развязность в обращении и принижающей образ Наденьки; это слово заменено нейтральным *кудри*: «покрываются серебристым инеем *кудри* на висках». Оказались изъятыми в редакции 1900 года фразы, содержавшие фамильярную гиперболизацию: «Она готова теперь лететь *хоть во сто пропастей*» и «я готов поклясться *тысячу раз*».

Принципом отказа от фамильярных элементов языка мотивировано изъятие из контекста, повествующего о беге саней с горы, такой детали: [воздух] «остервенело хватает за фалды».

Из второй редакции рассказа Чехов устранил слова и формы слов, на которых был заметен налет просторечности и которые поэтому нарушали нормы изящной и правильной устной речи.

В реплике Наденьки «я *тово*... вот что» слово *тово* опущено без замены со всем его контекстом. Форма *льдяная* везде заменена формой *ледяная*[1]. Сюда же относятся и такие исправления, которые можно понимать как исправления грамматических ошибок.

Недопустимое употребление действительного причастия в страдательном значении во фразе «Наденька окидывает взглядом *только что проехавший путь*» было изъято путем следующего изменения фразы: «Наденька окидывает взглядом гору, по которой мы *только что катили*...»

В журнальной редакции стояла форма винительного падежа существительного среднего рода на *-о* после глагольной формы с отрицанием: «Я продолжаю разыгрывать родство не помнящего». Эта грамматическая шероховатость не нашла отражения в позднейших исправлениях, так как абзац, содержащий ее, не вошел в последнюю редакцию рассказа. Вместе с изъятием отрывка не вошел в позднейший текст и официальный термин «не помнящий родства», противоречащий общему стилю рассказа.

Наконец, была исправлена и мелкая шероховатость в первоначальном порядке слов. Было: «Бедной Наденьке *уж больше* негде слышать тех слов»; стало: «Бедной Наденьке *больше уж* негде слышать тех слов». Синтаксическая тяжеловесность фразы «Всю дорогу, как я провожаю ее с катка домой, она...» устранена таким исправлением: «Я провожаю ее с катка домой, она...»

Чехов призывал писателей-современников бороться с мещанским тоном и провинциальным характером языка. В письме к Н. А. Лейкину в 1889 г. он писал о Ежове и Грузинском: «Журю их обоих за мещанистый тон их разговорного языка...»[2] А в письме к Б. А. Лазаревскому в 1903 г. Чехов указывал на такие недостатки языка его книги: «Язык местами изыскан, местами провинциален: „Офицеры ревновали друг друга“, между тем офицеры могут ревновать женщину друг к другу...»[3] В книжке стихов

[1] Правда, в отношении этого слова у Чехова замечается колебание. Ср. сохранение формы *льдяной* в обеих редакциях рассказа «Ведьма» (1886 и 1900 гг.). С другой стороны, и в журнальной редакции «Шуточки» встречается параллельно с *льдяной* форма *ледяной*.

[2] А. П. Чехов, Полное собр. соч. и писем, т. XIV, стр. 432.

[3] Там же, т. XX, стр. 121—122

И. А. Белоусова Чехов отметил такую грамматическую ошибку: «Иль один от скуки ради... Два предлога: *от* и *ради*...»[1]

Исправления в тексте рассказа «Шуточка» служат убедительной иллюстрацией к тому, как и из языка своих собственных произведений Чехов изгонял мещанский тон и провинциализмы.

Стремясь освободить язык рассказа от элементов вульгарной книжности и стилистически неоправданных книжных элементов, Чехов отказывается, например, от таких фразеологических выражений, как *равнодушнейшим образом* и *аккуратнейшим образом*. Вот примеры этих изъятых или замененных выражений, вносивших в общий стиль рассказа нетерпимый колорит вульгарной книжности.

«Я начинаю *равнодушнейшим образом* прощаться»— изъято. «Начинаю *аккуратнейшим образом посещать каток*» заменено: «начинаю *каждый день ходить на каток*». Характерно и то, что слово *посещать*, слегка только окрашенное колоритом официальной книжности, заменено разговорным *ходить на*. «*Аккуратнейшим образом* произношу вполголоса» заменено: «*всякий раз* произношу вполголоса».

Попутно надо отметить, что повторение этого оборота в смежных фразах ставило его в центр ритмического строения отрывка, который становился неблагозвучным, таким, когда, по выражению Чехова, «шероховатая черточка кричит благим матом»[2].

Фразеологическое сочетание книжного стиля *в конце концов* заменено нейтральным словом *наконец*: «Наденька *наконец* уступает». Даже слово *затем*, как вносившее излишнюю логическую определенность в повествовательный контекст, исключается. Вместо «Затем она берет меня под руку» стало: «Она берет меня под руку», причем эта фраза теперь становится началом нового абзаца. В результате этого изменения контекст делается драматичнее, освобождается от последних элементов протокольной деловитости повествования.

Отказом от книжных форм выражения мотивированы и следующие изменения: вместо «*в один из полудней*» стало: «*как-то в полдень*». Вместо «*Я и Наденька* стоим»— «*Мы* стоим».

Было изъято Чеховым и явно книжное и искусственное выражение *колебание женского духа* в сочетании с *начинаю замечать*. Фраза «Скоро я *начинаю замечать* в ней борьбу, *колебание женского духа*» изменилась так: «*Я вижу*, она *борется с собой*...» Однако в языке персонажей Чехов считал целесообразным усиление разговорной экспрессии и выражение *ни за что* в реплике Наденьки заменил выражением *ни за что на свете*.

Уничтожаются лишние определяющие слова, а также избитые и ставшие банальными приемы речи. Так, во второй редакции рассказа Чехов отказался от изысканного книжно-поэтического оборота с родительным качественным *слова любви*, заменив его предложной конструкцией: *слова о любви*. Было: «А *слова любви* попрежнему составляют загадку». Стало: «... придают особое очарование *словам о любви*».

Строгая точность выражения сменяет недостаточно строго продуманную в отношении точности и стиля фразу первой редакции. Было: «Эта неопределенность почти ошеломляет ее и выводит из терпения... Бедная девочка не отвечает на вопросы, хмурится и нервно топает ножкой». Стало: «Эта неизвестность беспокоит ее, выводит из терпения. Бедная девочка не отвечает на вопросы, хмурится, готова заплакать». Последние слова фразы первой редакции вносили в стиль рассказа неуместную игривость, что и явилось основанием для их устранения.

---

[1] Там же, т. XIII, стр. 352.

[2] Письмо А. М. Пешкову (М. Горькому). 1899 г. (А. П. Чехов, Полное собр. соч. и писем, т. XVIII, стр. 11).

В начальном предложении абзаца «Но Наденька *малодушна*» адъективное сказуемое заменяется глагольным «Но Наденька *боится*», лишенным значения постоянной приметы характера; это более соответствует обстановке рассказа. А малодушие приписывается теперь Наденьке отсутствовавшими в первой редакции словами героя, что психологически оправдано: «Поймите же, это малодушие, трусость!» В результате этих исправлений абзац приобрел бо́льшую драматическую выразительность.

Стремление к простоте заставило Чехова отказаться от многих бесцветных и мало оригинальных метафор, перифраз и сравнений, в которые отливалось наивное языковое жеманство, столь заметное в первой редакции рассказа.

Фраза «Лицо ее то вспыхивает счастьем, то подергивается унылой тучкой» была заменена выразительным восклицанием рассказчика, передающим одновременно и взволнованность Наденьки, и крайнюю заинтересованность ее партнера: «О, какая игра на этом милом лице, какая игра!» Предложение «...если же она рискнет полететь в пропасть на такой утлой ладье, как хрупкие санки, то она, кажется, умрет или по меньшей мере сойдет с ума» заменено: «...что же будет, если она рискнет полететь в пропасть! Она умрет, сойдет с ума». Утрачивая элементы искусственности и книжности, новые короткие предложения, бессоюзно следующие друг за другом, становятся более экспрессивными.

Фраза «От наших ног *вниз* до самой земли тянется покатая, *льдяная* плоскость, в которую *кокетка-солнце* глядится как в зеркало» изменена так: «От наших ног до самой земли тянется *покатая* плоскость, в которую солнце глядится как в зеркало». Оказался снятым игривый эпитет-приложение (*кокетка-солнце*), уменьшено количество пояснительных слов обстоятельственного и определительного типа.

Вместо *дрожит как лист* оставлено только *дрожит*. Чехов отказывается и от ненужной тавтологии. Вместо «лететь с горы попрежнему *страшно* и *ужасно*» стало: «лететь с горы попрежнему *страшно*».

К изъятым чертам языковой манерности первой редакции нужно отнести еще музыкальные термины *forte* и *solo*, а также французское выражение *tête-à-tête*. Слово *forte* устранено вместе с фразой, в которой оно было («когда рев ветра и жужжанье полозьев достигают своего *forte*»). Слово *solo* заменено русским *один* («отправился на каток *один*»). Выражение *tête-à-tête* устранено вместе с отрывком: «после обеда, оставшись со мной *tête-à-tête*, Наденька все время, как овечка, ходит около меня...» и т. д.

Изысканность, граничащая с неточностью, во фразе «и дождавшись, («когда *через мою голову летит к Наденьке порыв ветра*, говорю вполголоса...» снята в результате такого изменения: «и я, *дождавшись ветра*, говорю вполголоса...» Экономией изобразительных средств вызвано устранение выделенных слов в следующей фразе: «Солнце становится ласковее, *а земля серее и угрюмее*. Наша льдяная гора темнеет».

Так в собственной языковой практике Чехов осуществлял требование «выбрасывать лишнее, очищать фразу от „по мере того“, „при помощи“», «заботиться об ее музыкальности»[1]. В письмах к писателям-современникам Чехов не переставал призывать к борьбе с манерностью и искусственностью языка и всегда считал хороший разговорный язык важным достоинством литературных произведений.

При переработке синтаксиса рассказа Чеховым были прежде всего опущены все иронически-торжественные обращения к читателям с последующими рассуждениями, вносившими в рассказ

[1] Письмо Л. А. Авиловой. 1897 г. (А. П. Чехов, Полное собр. соч. и писем, т. XVII, стр. 168).

чуждый его общему стилю фельетонный комизм и злободневность, а также нарушавшими естественный ход повествования.

Были изъяты следующие отрывки: «Но, милостивые государи, женщины способны на жертвы. В этом я готов поклясться тысячу раз, хотя бы даже на суде, или перед автором новой книги „О женщинах“»; «Прибавьте к этому долгий, пытливый взгляд»; «Но тут позвольте мне жениться».

В изменении приводимого ниже отрывка характерен отказ от обращения к читателю, сбивающего повествование на диалог, концентрация новых мотивов около основного мотива — загадочных слов о любви и ослабление развязной разговорности в языке. Было: «Правда, лететь с горы попрежнему страшно и ужасно, но *до опасностей ли тут? Отнимите* у Наденьки санки, и она спустится вниз на коленях... *Были бы* услышаны те слова, а до остального ей дела нет...» Стало: «Правда, лететь с горы попрежнему страшно, но теперь уже страх и опасность придают особое очарование словам о любви, словам, которые попрежнему составляют загадку и томят душу».

Выброшено было и комментирующее рассуждение: «Кто когда-нибудь бросал курить или отвыкал от морфия, тот знает, какое это лишение...» Снято иронически экспрессивное восклицание «с этим шутить нельзя!!», что вызвало значительную переработку контекста. Вместо «Это вопрос самолюбия, чести... с этим шутить нельзя!!» стало: «Это вопрос самолюбия, чести, жизни, счастья, вопрос очень важный, самый важный на свете».

В результате всех этих изъятий резко изменился первоначальный стиль рассказа. Устранение нарушавших повествование фельетонных вставок сделало его сосредоточенным, строго соответствующим основной теме и в то же время вполне выдержанным по стилю. Все диссонирующее было удалено.

Теперь синтаксис рассказа сближается с легким и выразительным синтаксисом хорошей, простой и правильной устной речи.

Было: «Мороз *так* крепок и трескуч, *что* у Наденьки ... покрываются серебристым инеем кудряшки». Стало: «Мороз крепок, трещит, *и* у Наденьки...»; конструкция с придаточным заменена характерной для устной речи присоединительной конструкцией с союзом *и*. Было: «Все пространство, *идущее* от ее маленьких калош... до *подошвы льдяной* горы...». Стало: «Все пространство от ее маленьких калош до *конца ледяной* горы...». Устранен причастный оборот книжного стиля, чему соответствует и замена терминологического выражения *до подошвы горы* на *до конца горы*.

Было: «У Наденьки замирает дух и прерывается дыхание *уже от одного того, что* она глядит вниз». Стало: «у нее замирает дух и прерывается дыхание, *когда* она глядит вниз». Книжная конструкция *уже от одного того, что* заменена простой и выразительной конструкцией с *когда*, свойственной устной речи. Было: «...она, *кажется*, умрет или *по меньшей мере* сойдет с ума». Стало: «Она умрет, сойдет с ума». Бессоюзное сочетание сказуемых и освобождение от модальных слов *кажется* и *по меньшей мере* привело к большей изобразительности и энергичности выражения. Кроме того, в новом контексте сливаются воедино живая заинтересованность и оценка происходящего героем и героиней: эти слова в равной мере и его, и ее, хотя и вложены в уста третьего лица — повествователя.

Стремясь к внедрению в художественное повествование выразительного разговорного языка, Чехов отказывается от предложения с глагольным сказуемым в том случае, когда значение глагола тускло, формально, а смысловой акцент сосредоточен на обстоятельственных словах. Так, «Возле нас стоят маленькие санки...» превратилось в более яркое и живое: «Возле нас маленькие санки». Здесь же уместно указать и на предло-

жение тождества[1], сменившее собою менее экспрессивное предложение с причастным сказуемым. Вместо первоначального «И загадка остается неразгаданной!» стало: «И загадка остается загадкой!».

Иногда Чехов старается освободиться и от союзных подчинительных конструкций. Что это было сознательным намерением писателя, видно из его письма А. М. Федорову по поводу языка пьесы «Обыкновенная женщина». «Есть лишние слова,— пишет Чехов,— не идущие к пьесе, например: „ведь ты знаешь, *что* курить здесь нельзя". В пьесах надо осторожней с этим *что*»[2].

Чехов считал необходимым вносить в повествование легкие разговорные конструкции. Например, «Кажется, что чорт обхватил нас обоих своими лапами и с ревом тащит в ад» превращается в «Кажется, сам дьявол обхватил нас лапами и с ревом тащит в ад». Здесь окраску разговорности усиливают не только конструкция без *что*, но и добавление определяющего *сам*. Кроме того, устранены из предложения перегружающие его лишние слова, не вносящие в него ничего нового (*обоих, своими*).

Работа Чехова над фразой в направлении подчинения ее нормам «великолепного разговорного языка», конечно, литературно обработанного, видна из следующих сопоставлений.

Редакция 1886 г.	Редакция 1900 г.
Слышит ли Наденька те слова, я не *знаю... Я вижу только, что она подни*мается из саней изнеможенная, красная... Судя по ее лицу, она и сама не знает, слышала она что-нибудь или нет... От страха у нее ушла душа в пятки, а вместе с душою слух, зрение, мозг...	Слышит ли Наденька те слова, я не *знаю... Я вижу только, как она подни*мается из саней изнеможенная, слабая. И видно по ее лицу, она и сама не знает, слышала она что-нибудь или нет. Страх, пока она катила вниз, отнял у нее способность слышать, различать звуки, понимать.

Характерно устранение даже легких следов книжности в синтаксисе (*как* вместо *что*, *видно по* вместо *судя по*), введение присоединительного союза *и*, устранение не только фамильярной идиомы *ушла душа в пятки*, но и стилистически неоправданного, а может быть, и непреднамеренного, каламбурно-иронического развития этой идиомы («и вместе с душою слух, зрение, мозг»), замена *ряда существительных инфинитивами* с сохранением бессоюзия.

Безличное предложение «Наденьке неизвестно» оказалось замененным личным «Она не знает», в чем опять можно видеть отказ от конструкции, даже в минимальной степени окрашенной официально-деловым колоритом.

Обостренным вниманием Чехова к стилистической окраске отдельных слов и их сочетаний объясняется отказ от двукратного повторения слова *фраза* в следующем отрывке:

Редакция 1886 г.	Редакция 1900 г.
..произношу в полголоса одну и ту же фразу: — Я люблю вас, Надя! Скоро Наденька привыкает к этой фразе.]	..произношу в полголоса одни и те же слова: — Я люблю вас, Надя! Скоро Наденька привыкает к этой фразе.

Для последней редакции типичны открытые (бессоюзные) конструкции с однородными членами, усиливающие драматизм повествования.

[1] См. А. А. Шахматов, Синтаксис русского языка, 2-е изд., Л., 1941, § 146, а также §§ 252 и 258.

[2] Письмо А. М. Федорову. 1901 г. (А. П. Чехов, Полное собр. соч. и писем, т. XIX, стр. 158).

«Рассекаемый воздух *бьет* в лицо, *ревет*, *свистит* в ушах, *рвет*, больно *щиплет* от злости, *хочет сорвать* с плеч голову». Эффект от этого открытого ряда сказуемых в первой редакции был ослаблен вставкой перед последним сказуемым сравнительного союза *словно*.

Однако некоторые приемы устной речи, которые нарушали сдержанный и спокойный стиль повествования и не оправдывались содержанием контекста, могли опускаться. Так, начало абзаца «Но вот санки начинают бежать все тише и тише» было заменено фразой «Санки начинают бежать все тише и тише» — с пропуском слов *но вот*. Другая фраза. «Вот, вот сковырнемся», помимо исключения фамильярного *сковырнемся* (см. выше), изменилась следующим образом: «Вот-вот *еще мгновение, и кажется*,— мы погибнем!» Оказались введенными односоставное предложение *еще мгновение* и модальное слово *кажется*.

В отношении сближения повествования с разговорной речью характерно изменение: *на ее лице* → *на лице у нее*. Резко усиливается семантико-стилистическая роль союза *и* в присоединительном значении. Присоединительное *и* появляется там, где его раньше не было: «Мороз крепок, трещит, *и* у Наденьки, которая держит меня под руку...»; «Наденька наконец уступает, *и* я по лицу вижу, что она уступает с опасностью для жизни». В журнальном тексте фраза построена совсем по-другому: «Наденька в конце концов с опасностью для жизни уступает моим мольбам».

Союз *и*, соединяющий однородные члены, заменяется союзом *и* присоединительного значения. Было: «Затем она берет меня под руку *и* долго гуляет со мной около горы...». Стало: «Она берет меня под руку, *и* мы долго гуляем около горы». Это изменение затрагивает и композиционную сторону отрывка. Было: «— Что за оказия?— написано *на ее лице*». Стало: «*И на лице у нее* написано: — В чем же дело?...» Здесь слова, вводящие прямую речь, слиты со всем повествовательным контекстом посредством присоединительного союза *и* после точки.

Присоединительное *и* первой редакции всегда сохраняется и в позднейшей: «Мы спускаемся в третий раз, *и* я вижу, как она следит за моими губами»; «*И* с этого дня я с Наденькой начинаю аккуратнейшим образом посещать каток». Но журнальной редакции «Шуточки» чуждо употребление присоединительного *и* подряд несколько раз, когда вполне отчетливо выступает стилистическая и композиционная роль этого союза как повтора, вносящего ритмичность в повествование.

«Он [ветер] напоминает ей о том ветре, который ревел нам тогда на горе, когда она слышала те четыре слова, *и* лицо у нее становится грустным, грустным, по щеке ползет слеза... *И* бедная девочка протягивает обе руки, как бы прося этот ветер принести ей еще раз те слова. *И* я, дождавшись ветра, говорю вполголоса: — Я люблю вас, Надя!» В приведенном отрывке каждый новый мотив, независимо от того, выражен ли он самостоятельным предложением или входит в состав сложноподчиненного предложения, вводится присоединительным союзом *и*. Ритмичность отрывка поддерживается тесной связью его синтаксиса и композиции.

В журнальной редакции этот отрывок читался так: «Он напоминает ей тот ветер, с рёвом которого она там, на ледяной горе слышала те четыре слова, *и* она делает грустное, плачущее лицо, как бы прося этот ветер принести ей те сладкие слова... Я воровски крадусь к кустам, прячусь за них *и*, дождавшись, когда через мою голову летит к Наденьке порыв ветра, говорю вполголоса: — Я люблю вас, Надя!» Сопоставление двух редакций отрывка служит яркой иллюстрацией того, как Чехов работал над музыкальностью фразы.

Аналогичную функцию выполняет во второй редакции рассказа и союз *а*. Дважды начиная собою красную строку, этот союз связывает обособ-

ленные, расположенные в двух разных сюжетных сферах мотивы и одновременно контрастно их противопоставляет. Повествование приобретает драматическую напряженность.

«Она вскрикивает, улыбается во всё лицо и протягивает навстречу ветру руки, радостная, счастливая, такая красивая.

А я иду укладываться...»;

«... для нее теперь это самое счастливое, самое трогательное и прекрасное воспоминание в жизни...

А мне теперь, когда я стал старше, уже не понятно, зачем я говорил те слова, для чего шутил...»

В первой редакции конец рассказа был другой[1]; отмеченные синтаксические особенности введены в него в 1900 г. вместе с новым окончанием рассказа. Первый из приведенных отрывков в начальной редакции не заключал в себе контрастных противопоставлений. Ср.: «Она вскрикивает, улыбается во все лицо и протягивает навстречу ветру руки... Этого мне только и нужно. Я выхожу из-за кустов и, не дав Наденьке опустить рук и разинуть рот от удивления, бегу к ней и... Но тут позвольте мне жениться».

Заканчивая изучение переработки Чеховым языка рассказа «Шуточка», считаю целесообразным параллельно привести текст одного отрывка рассказа в двух редакциях —1886 г. и 1900 г. для наглядной иллюстрации самых разнообразных изменений языка в связном тексте.

Редакция 1886 г.	Редакция 1900 г.
И загадка остается неразгаданной!.. Наденька едва не плачет... Всю дорогу, как я провожаю ее с катка домой, она пытливо всматривается в мое бесстрастное лицо, замедляет шаги и нетерпеливо ждёт, не скажу ли я ей этих слов? — Не может же быть, чтоб их говорил ветер!— выражает ее лицо.— Это ты, братец, сказал! Ты!	И загадка остается загадкой! Наденька молчит, о чем-то думает... Я провожаю ее с катка домой; она старается идти тише, замедляет шаги и все ждет, не скажу ли я ей тех слов. И я вижу, как страдает ее душа, как она делает усилия над собой, чтобы не сказать: — Не может же быть, чтоб их говорил ветер! И я не хочу, чтобы это говорил ветер!

В заключение приведем отрывок, полностью опущенный из второй редакции 1900 г. В этом отрывке выделены те элементы языка, которые, как показывает весь предшествующий анализ, никак не могли бы сохраниться во второй редакции, даже если бы отрывок в целом и вошел в нее.

«Не может же быть, чтоб их говорил ветер!— выражает ее лицо. — *Это ты, братец, сказал! Ты!*

Но, подведя ее к дому, я начинаю *равнодушнейшим образом* прощаться... Она медленно, нехотя, протягивает мне руку, как будто бы все еще ожидая; потом, подумав, отдергивает назад руку и говорит решительным голосом:

— Идите к нам обедать!

Я люблю в гостях обедать, *а потому* охотно принимаю ее приглашение... Обед прост, но *восхитителен*. Рюмка водки, горячий суп с макаронами, котлеты с картофельным пюре и сладкие слоеные пирожки, от которых ноет под ложечкой... Прибавьте к этому долгий, пытливый взгляд больших черных глаз, не перестававших во все время обеда сторожить мое лицо, и *вы скажете, что меню великолепно*... После обеда, оставшись со мною *tête-á-tête*, Наденька все время, *как овечка, ходит около меня* и томится. Она даже бледна от нетерпения, а я... *я Бисмарк!* Я *продолжаю*

[1] См. журн. «Сверчок», М., 1886, № 10 или А. П. Чехов, Полное собр. соч. и писем, т. IV, стр. 618.

разыгрывать родство не помнящего... Ухожу я от нее, *не намекнув о любви* и даже не проронив ни одного слова, *начинающегося с буквы „л“*».

Так далек был манерно-искусственный, а временами и тривиально-жеманный язык первоначальной редакции от того окончательного текста, с которым знаком читатель, имеющий дело только с собранием сочинений Чехова.

Чехов писал Л. А. Авиловой: «... Вы не работаете над фразой; её надо делать — в этом искусство»; «Вы мало отделываете, писательница же должна не писать, а вышивать на бумаге, чтобы труд был кропотливым, медлительным»[1].

Эти требования Чехов прежде всего и строже, чем к другим, предъявлял к себе самому. В письме В. М. Соболевскому Чехов писал: «Корректуру я читаю не для того, чтобы исправлять внешность рассказа; обыкновенно в ней я заканчиваю рассказ и исправляю его, так сказать, с музыкальной стороны»[2]. В этих словах — характеристика работы Чехова над языком своих ранних произведений.

II. Рассказ «Переполох»

Рассказ «Переполох» с подзаголовком «Отрывок из романа» был напечатан в «Петербургской газете» 3 февраля 1886 г. (№ 33) за подписью А. Чехонте. Для «Собрания сочинений» 1899 —1901 г. Чехов подверг его существенной правке[3].

В окончательной редакции, как правило, сокращается детализация в описании событий. Сохраняя одну из многих деталей, Чехов заставляет самого читателя творчески истолковывать ту или иную ситуацию. Если при этом описание теряет кое-что в своей конкретности и категоричности, то оно выигрывает в лаконичности и повышает заинтересованность читателя.

Так, например, в последней редакции экспозиция рассказа ограничивается впечатлениями вернувшейся домой Машеньки. Сравнение с первой редакцией показательно.

Редакция ПГ	Редакция СС
Отворявший ей швейцар Михайло был красен, как рак, и злобно глядя на маленькую дверь своей швейцарской, ворчал: — Хорошо! Великолепно! Даже очень прекрасно! Пущай хоть тыщу раз обыскивают! Пущай! Сверху несся шум, какой бывает, когда несут покойника или выталкивают шулера...	Отворявший ей швейцар Михайло был взволнован и красен, как рак. Сверху доносился шум.

Так Чехов сжимает первоначальное описание. Делает он это не потому, что в первой редакции экспозиция была неудачна: начало рассказа и здесь было по-своему очень хорошо. Но художественный метод зрелого Чехова требовал предельной лаконичности и простоты. Например, сокращение количества определяющих слов делает фразу второй редакции более легкой для восприятия; одновременно она освобождается и от излишней экспрессии.

---

[1] А. П. Чехов, Полное собр. соч. и писем, т. XVII, стр. 168.
[2] Там же, стр. 174.
[3] В дальнейшем изложении первая редакция рассказа условно обозначается буквами ПГ, окончательная редакция «Собрания сочинений»— буквами СС.

В приводимых ниже примерах это выражается в замене *выскочил* на *выбежал*, в устранении фамильярно окрашенных эпитетов к слову *лицо* — *тряпичное* и *мочалистое*. Была также устранена излишняя детализация некоторых мотивов. Были изъяты: *идя по длинному коридору* (не имеет прямого отношения к описываемым происшествиям), *предчувствуя что-то недоброе* (подсказывает читателю объяснение ситуации), *молодой девушке* (заменено местоимением *ей*). Всем этим достигались лаконизм и простота речи.

Редакция ПГ	Редакция СС
Затем, идя по длинному коридору, Машенька видела, как из дверей ее комнаты выскочил сам хозяин, Николай Сергеич, маленький, еще не старый человечек, с тряпичным, обрюзгшим лицом и с большой плешью.	Затем Машенька видела, как из дверей ее комнаты выбежал сам хозяин, Николай Сергеич, маленький, еще не старый человек с обрюзгшим лицом и с большой плешью.
— Бог знает что!— проговорил Николай Сергеич, морща свое мочалистое лицо.	— Бог знает что!— проговорил Николай Сергеич, морщась.
Мочалистое, испитое лицо Кушкина умоляло.	Бледное, испитое лицо Николая Сергеича умоляло.
В передней и в коридоре встретила она взволнованных горничных.	В передней и в коридоре встретила она горничных.
Предчувствуя что-то очень недоброе, Машенька вошла в свою комнату. И тут молодой девушке в первый раз в жизни...	Машенька вошла в свою комнату, и тут ей в первый раз в жизни...

К авторскому комментированию событий Чехов теперь также относился отрицательно. Например, было: «Покорная этикету, Машенька поправила прическу»; стало: «Машенька поправила прическу». Было: «В голову не знающей жизни институтки полезли всякие несообразности» (ПГ); стало: «В голову ее полезли всякие несообразности» (СС).

В то же время, при общем стремлении к лаконизму, Чехов вынужден был в некоторых контекстах развивать мотивы, недостаточно разработанные в первой редакции, вводить новые детали. Ср.: « —Можно войти?— услышала она мягкий голос Николая Сергеича, когда плетёнка была увязана» (ПГ) → «—Можно войти?— спросил за дверью Николай Сергеич; он подошел к двери неслышно и говорил тихим мягким голосом. —Можно?» (СС); «...зачем же выскочил из комнаты красный Николай Сергеич?» (ПГ)→ «...зачем же выскочил из комнаты такой красный и взволнованный Николай Сергеич?»(СС).

Введением эмоционально интонированных предложений была расширена реплика Кушкина: «Как это нетактично!»(ПГ)→ «О, как это ужасно! Как бестактно!» (СС). В первой редакции эта реплика для сложившейся ситуации звучала слишком сдержанно; «— Нет!—решительно сказала Машенька» (ПГ)→ «—Нет! —сказала Машенька решительно, начиная дрожать.— Оставьте меня, умоляю вас»(СС).

Драматическое изображение чувства тревожного недоумения и ожидания чего-то непредвиденного вызвало введение вопросительного *зачем* в следующем контексте, передающем думы встревоженной Машеньки: «...но к чему он [обыск]? Что случилось?» (ПГ)→ «... но к чему он, *зачем*? Что случилось?» (СС).

Существенным изменением стиля повествования явилось сближение аспектов автора и героя. Сопоставим следующие отрывки рассказа в двух редакциях.

Редакция ПГ

Но все это мечты. В действительности же было одно только средство: уйти! Уход влек за собой лишение места, но Машенька не могла видеть уже ни хозяйки, ни своей маленькой комнаты с высоким потолком и нравственно удушливой атмосферой. Намечтавшись, она прыгнула с кровати и стала укладываться.

Редакция СС

Но все это мечты. В действительности же оставалось только одно — поскорее уйти, не оставаться здесь ни одного часа. Правда, страшно потерять место, опять ехать к родителям, у которых ничего нет, но что же делать? Машенька не могла видеть уже ни хозяйки, ни своей маленькой комнаты, ей было здесь душно, жутко. Федосья Васильевна, помешанная на болезнях и на своем мнимом аристократизме, опротивела ей до того, что, кажется, все на свете стало грубо и неприглядно оттого, что живет эта женщина. Машенька прыгнула с кровати и стала укладываться.

Сопоставление отрывков убедительно свидетельствует, как тесно во второй редакции сближал Чехов точки зрения автора и персонажа, как смело он сочетал авторское повествование с мыслями и речью героя. Ведь только незаинтересованный и холодный наблюдатель мог употребить такие слова и выражения первой редакции, как «одно средство», «уход влек за собою лишение места», а также риторически сблизить «высокие потолки» с «нравственно удушливой» атмосферой. Не подходило к контексту и слово *намечтавшись*, несколько развязно и иронически квалифицирующее то, что чувствовала Машенька. Новый художественный метод потребовал следующих замен: «одно только средство»—> «только одно»; «уйти!»—> «поскорее уйти»; «уход влек за собою лишение места»—> «правда, страшно потерять место»; «с высоким потолком и нравственно удушливой атмосферой»—> «ей было здесь душно, жутко». Исправления первоначального текста оказались настолько значительными, что по существу привели к созданию нового текста.

Максимальное сближение точек зрения автора и героини выражается еще в таком синтаксическом приеме чеховского повествования во второй редакции рассказа: внутренняя речь Машеньки вводится в контекст повествования без вводящих слов автора (на письме, правда, речь Машеньки выделена кавычками):

«— Пожалуйте кушать!— позвали Машеньку.

„Идти или нет?“».

Переработка первоначального текста приводит к большей драматизации в развитии темы. Из повествования устраняются элементы рассуждения, комментирующие события и идущие непосредственно от автора. Это подтверждается сравнением следующих отрывков.

Редакция ПГ

Машенька была бы не прочь выслушать извинение, но только не от Кушкина... Этот пьяненький, мочалистый человечек ровно ничего не значил в доме, не выходил из-под башмака и был в забросе даже у прислуги, а потому извинение его ничего не стоило.

Редакция СС

Машенька ничего не ответила, а только ниже нагнулась к своему чемодану. Этот испитой, нерешительный человек ровно ничего не значил в доме. Он играл жалкую роль приживала и лишнего человека даже у прислуги; и извинение его тоже ничего не значило.

Необходимо также обратить внимание на то, что из повествования были изъяты слова и выражения фамильярного стиля: *была бы не прочь*, *мочалистый*, *человечек*, *не выходил из-под башмака*. В синтаксисе отрывка характерна замена «рассуждающего» союзного сочетания *а потому* союзом *и* с оттенком значения следствия. В результате исправлений в

языке рассказа вообще становилось больше сложносочиненных предложений с союзом *и*; композиционная роль этого союза обогащалась и осложнялась.

Ряд изменений объясняется общим усилением реалистической манеры повествования. Так, реализм новой повествовательной речи Чехова требовал отказа от книжного остроумия; из первой редакции следующего отрывка не случайно была выброшена последняя фраза.

Редакция ПГ	Редакция СС
Кушкин вошел и остановился у дверей. Глаза его глядели тускло, и нос был красен от привычки пить после обеда пиво и красное... На этот раз его привычка менее, чем когда-либо, могла пожаловаться, что он изменил ей.	Он вошел и остановился у двери. Глаза его глядели тускло и красный носик его лоснился. После обеда он пил пиво, и это было заметно по его походке, по слабым, вялым рукам.

Усилением реализма в изображении душевных переживаний должно быть объяснено изменение синтаксиса следующей фразы:

Редакция ПГ	Редакция СС
Если ее могли заподозрить в воровстве, то, значит, могут и арестовать, вести под конвоем на улице, засадить в темную, холодную камеру с мышами и мокрицами, точь-в-точь в такую, в какой сидела княжна Тараканова.	Если ее могли заподозрить в воровстве, то, значит, могут теперь арестовать, раздеть догола и обыскать, потом вести под конвоем по улице... и т. д. (как в ПГ).

В результате переработки открытый ряд инфинитивов, без временной перспективы и логической последовательности, подвергся синтаксическому расчленению путем введения слов *теперь* и *потом*. Произошло усиление динамичности в передаче нарастающей тревоги Машеньки; в повествовании осуществилось дальнейшее сближение авторского аспекта с аспектом героини.

Какую точность и ясность вносил Чехов исправлениями, можно видеть из такого сравнения текстов двух редакций, с первого взгляда совсем незначительно отличающихся друг от друга.

«Я знаю, не она взяла брошку» (ПГ)→«Я не говорю, что она взяла брошку» (СС). Для образа мыслей хозяйки характернее то, что сказано в окончательной редакции, так как в обеих редакциях ее отношение к Машеньке исходит из одного убеждения: «но... все ведь бывает! Я, признаться, плохо верю этим ученым беднячкам» (ПГ)→«...но разве ты можешь поручиться за нее? Я, признаюсь, плохо верю этим ученым беднячкам» (СС).

Сочетанию двух однородных членов «настоящий, самый беззастенчивый» Чехов предпочел сочетание «настоящий, самый настоящий»: здесь видно стремление усилить разговорный характер повествования, сблизить речь автора с речевой манерой героини. «Обыск, значит, был настоящий, *самый беззастенчивый*» (ПГ)→«Обыск, значит, был настоящий, самый настоящий» (СС).

Стремлением Чехова типизировать речевой стиль горничной объясняется следующее изменение: «Только глядит да кудахчет» (ПГ)→«Только глядит да кудахчет, *как курица*» (СС).

В повествовании об оскорбительности обыска, сливающем авторский аспект с аспектом героини, первая редакция содержала сравнение «благовоспитанной», «интеллигентной» и «чувствительной» девицы [Машеньки] с «последней кухаркой». Во второй редакции сравнение делается с «уличной женщиной».

«Ее... заподозрили в воровстве и обыскали, как последнюю кухарку» (ПГ)→ «Ее... заподозрили в воровстве, обыскали, как уличную женщину!» (СС). Последнее сравнение, конечно, точнее, так как заранее предполагает низкий уровень и грубость нравственного сознания. Сравнение первой редакции отчасти снижало нравственный облик героини, так как обнаруживало неуважение к простым людям.

Характерно, что и в собственно авторском описании Чехов ослабил первоначальное сравнение Кушкиной с кухаркой. Было: «Хозяйка Федосья Васильевна, полная, плечистая дама с густыми, черными бровями, простоволосая и угловатая, как кухарка, с едва заметными усиками и с красными руками стояла у ее стола...» (ПГ). Стало: «Хозяйка Федосья Васильевна, полная, плечистая дама с густыми черными бровями, простоволосая и угловатая, с едва заметными усиками и с красными руками, лицом и манерами похожая на простую бабу-кухарку, стояла...»(СС).

В следующем отрывке заслуживает внимания замена слова *интеллигентную* словами *дочь учителя*, что вносит конкретную деталь в биографию Машеньки. «Ее, благовоспитанную, *интеллигентную* и чувствующую девицу, заподозрили...» (ПГ)→ «Ее, благовоспитанную, чувствительную девицу, *дочь учителя*, заподозрили...» (СС). Семантически своеобразным является еще одна замена в этой фразе: *чувствующую* на *чувствительную*. Чехов ввел и сохранил слово *чувствительную* в повествовании, сливающем аспекты автора и героини, хотя о самой себе сказать *чувствительная* героиня могла только в ироническом смысле, чего здесь нет.

Изъят отрывок, противоречивший принципам реализма, нарушавший стиль повествования своей искусственностью и метафоричностью: «И девушкой овладел страх перед таинственным, чудовищным обстоятельством, которое произошло и пряталось теперь, чтобы выплыть наружу и привести в ужас».

Целый ряд исправлений мотивируется стремлением к точности выражения:

«Никогда еще *над ее самолюбием* не совершали такого насилия» (ПГ)→ «... *над нею* не совершали...» (СС); «В столице она *одна*, *как верстовой столб в пустынном поле*» (ПГ)→ «В столице она *одна*, *как в пустынном поле*» (СС); «*По бокам стола* сидели гости и дети» (ПГ)→ «*По сторонам* сидели...» (СС).

Иногда стремление к точности выражения не столь очевидно, но все же изменения могут быть объяснены именно этим стремлением.

«Оглянувшись и увидев ее бледное, удивленное лицо, она слегка *покраснела* и пробормотала...» (ПГ)→ «...слегка *смутилась* и пробормотала...» (СС). Эти слова относятся к хозяйке — Кушкиной; исправленный текст более соответствует ее характеру. «Николай Сергеич вздохнул и кротко опустил глаза» (ПГ)→ «Николай Сергеич кротко опустил глаза и вздохнул» (СС). Последовательность действий в исправленной редакции более характерна для поведения Николая Сергеевича.

Фраза о припрятывании Машенькой сластей испытала следующие изменения: «Мысль, что эта маленькая, щекотливая тайна уже известна ее хозяевам, бросила ее в жар» (ПГ)→ «От мысли, что эта ее маленькая тайна уже известна хозяевам, ее бросило в жар, стало стыдно» (СС). Был уничтожен, во-первых, неподходящий к повествованию, отражающему точку зрения Машеньки, эпитет *щекотливая*. Во-вторых, личное предложение было превращено в безличное, что лучше передавало независимость от воли героини ее чувств, их стихийное движение.

Искусственная, слишком избитая в контекстах книжного стиля фразеология сменяется простым и естественным, без всякой гиперболичности, изображением событий, воспроизведением чувств в их типичном мимическом

выражении. «Это *переполнило ее чашу*. Она заплакала и прижала платок к лицу» (ПГ)→«*Комок вдруг подступил к горлу*, она заплакала и прижала платок к лицу» (СС). Здесь книжное выражение «переполнило ее чашу» уступило место реалистическому, физиологически точному описанию начала рыданий: «комок вдруг подступил к горлу».

Во второй редакции Чехов опускает те фразы, на которых лежал налет шаблонной книжности, а также те мотивы, которые вносили в повествование фельетонную игривость. Все это противоречило новому реалистическому принципу сближения аспектов автора и героя. Так, фраза первой редакции «Сверху несся шум, какой бывает, когда несут покойника или выталкивают шулера» была освобождена от неуместного, юмористически игривого объединения двух сравнений, противоположных по эмоциональной окраске: «Сверху доносился шум». Ср. также полностью изъятый отрывок: «Она густо покраснела и, не зная куда деваться от стыда, искренно пожелала себе смерти: *мертвые срама не имут*!»

В следующем предложении Чехов отказывается от книжно-делового сочетания «выражались физически сердцебиением»: «Все эти чувства обиды, страх и стыд *выражались физически сердцебиением*, которое отдавало в виски, в руки, глубоко в живот» (ПГ)→«...И от всего этого — от страха, стыда, от обиды началось сильное сердцебиение, которое отдавало в виски, в руки, глубоко в живот» (СС).

Теперь Чеховым отвергается даже легкий оттенок искусственности или книжности в построении фразы:« — Что у нас к третьему блюду? — спросила она лакея, стараясь придать своему голосу *страдальческий*, *томный оттенок*» (ПГ)→«— Что у нас к третьему блюду?— спросила она у лакея *томным*, *страдальческим голосом*» (СС). Попутно отметим, что вместе с сочетанием книжного стиля *придать... оттенок* был изъят и весь деепричастный оборот, где оно находилось. Характерно также, что *спросить лакея* оказалось замененным естественно-разговорным *спросить у лакея*.

Отказ от книжности и шаблонности выражения представлен также следующим изменением: «К счастью, в комнату вошла горничная и вывела ее из неизвестности »(ПГ)→«В комнату вошла горничная» (СС).

Однако осталось неисправленным сочетание «поверхность стола», вероятно, по недосмотру. «Этажерка с книгами, поверхность стола, постель — все носило на себе свежие следы обыска». Употребление в художественных текстах слова *поверхность* вообще не нравилось Чехову: «И поверхность снега тоже неловкое выражение, как поверхность муки или поверхность песку»[1]. Правда, в нашем примере дело идет не о чем-то сыпучем, а о столе, но это мало меняет дело: вполне возможно было сказать *стол* вместо *поверхность стола*, как дальше сказано *постель*.

Из речей Машеньки и Кушкина, а также из авторской передачи их мыслей во второй редакции последовательно исключаются б р а н н ы е и д р у г и е о т р и ц а т е л ь н о о к р а ш е н н ы е э к с п р е с с и в н ы е с л о в а фамильярного или вульгарного типа.

О Машеньке: «... мучило ее сильнейшее желание пойти и отхлопать по щекам черствую, чернобровую рожу надменной самодурки-тупицы» (ПГ)→«...мучило ее сильное желание пойти и отхлопать по щекам эту черствую, эту надменную, тупую, счастливую женщину» (СС). «Я... воровка! А? Тварь! Мерзкая! Гадина!» (ПГ). Во второй редакции этих слов нет. Здесь отсутствуют также слова, адресованные хозяйке: «Это бессердечное, глупое бревно»; слова «бросить ее [брошку] в лицо этой грубой бабе» заменены «бросить ее в лицо этой самодурке».

---

[1] Письмо Л. А. Авиловой. 1895 г. (А. П. Чехов, Полное собр. соч. и писем, т. XVI, стр. 215).

Слова Кушкина: «А она *заграбастала*» (ПГ) → «А она *забрала, завладела* всем» (СС); «*понапичканы* эти женины прохвосты» → «сидят эти женины прохвосты». Предложения: «Альфонсами этими и не пахло», «надутой, фрачной сволочи [о лакеях] и в помине не было » в последней редакции изъяты.

В окончательной редакции из речей персонажей были изъяты следующие просторечные или диалектные черты: из речи швейцара изъяты без замены: *пущай* и *тыщу*; из речи горничной изъято *срамота* и заменено словом *срам*: «Срамота да и только» (ПГ)→ «Чистый срам!» (СС). Опущена без замены фраза: «Пускай в полицею жалются».

Обычно не входит в окончательную редакцию способ введения прямой речи при помощи слов, обозначающих не говорение, а душевные состояния, интонации, поступки и т. д., сопровождающие говорение.

«— Это, Феня, я заказал...— *сконфузился* Николай Сергеич» → «...— *поторопился сказать* Николай Сергеич»; «Мне не жалко двух тысяч!— *оборвала* его хозяйка» → «...— *ответила* хозяйка». Сохранено: «— Ну бог с вами, — вздохнул Николай Сергеич». Так боролся Чехов за стилистическую простоту художественного слова.

В 1889 г. Чехов писал И. Л. Леонтьеву (Щеглову): «Только на кой чорт в этом теплом, ласковом рассказе сдались Вам такие жителевские[1] перлы, как „облыжный", „бутербродный" и т. п.? К такой нежной и нервной натуре, каковою я привык считать Вас, совсем не идут эти ернические слова. Бросьте Вы их к анафеме, будь они трижды прокляты...»[2]. Ряд исправлений, внесенных в текст рассказа «Переполох», сделан в духе этого требования.

Из последней редакции Чехов удаляет слова, являющиеся принадлежностью слишком непринужденной разговорной речи. «Появление гувернантки было для нее *неожиданным сюрпризом*» (ПГ)→ «Появление гувернантки было для нее *неожиданно*» (СС); «Но зачем же меня обыскивать?— продолжала недоумевать гувернантка, *все еще не понимая, в чем дело*» (ПГ) → «—Но... зачем же меня обыскивать?—продолжала *недоумевать* гувернантка» (СС); «И сказав еще что-то *несвязное*, мадам Кушкина... вышла» (ПГ). Во второй редакции слово *несвязное* опущено.

Из прямой речи Кушкина исключаются междометия *тэк-с* и *тэк*, а также тривиальное выражение «ни тепло ни холодно», замененное в редакции СС словами: «вас не убудет от этого».

Отказался Чехов от наивного в художественном отношении использования в повествовательной речи подчеркнуто экспрессивного бытового слова *звякнула* и слова того же корня *звяканье*: «Хозяйка *звякнула* по тарелке вилкой» → «Она *ударила* по тарелке вилкой»; «Слышны были только жеванье и *звяканье* ложек о тарелки» → «Слышны были только жеванье и *стук* ложек о тарелки».

В окончательной редакции Чехов снимает или заменяет в авторских ремарках диалога слова *ворчал, проворчал, пробормотал*: «...он [Николай Сергеич]...*пробормотал*:—Как это нетактично!» (ПГ)→«...он *воскликнул*...» (СС); «И *пробормотав* еще что-то... [о хозяйке]» (ПГ)→ «И *сказав* еще что-то...»(СС); «— Но ведь это, Лиза, низко... оскорбительно!— *пробормотала* Машенька» (ПГ)→«... *сказала* Машенька» (СС). Конечно, играло роль и то, что это слово слишком часто встречалось в рассказе. Однако в двух случаях оно сохранено: «Она [хозяйка] слегка смутилась и пробормотала» и «—Pardon,— пробормотала она» [Машенька].

---

[1] Житель — псевдоним публициста-нововременца А. А. Дьякова.
[2] А. П. Чехов, Полное собр. соч. и писем, т. XIV, стр. 418.

Во второй редакции сокращается также гиперболизация. «К чувству обиды присоединился *невыносимый* страх: что теперь будет!?» (ПГ)→«Й к этому чувству обиды присоединился еще *тяжелый* страх: что теперь будет!?» (СС); «...мучило ее *сильнейшее* желание» (ПГ)→«...мучило ее *сильное* желание» (СС); «— Николай Сергеич!— послышался *крик* Федосьи Васильевны» (ПГ)→«... послышался из залы *голос* Федосьи Васильевны» (СС).

Описывая внешние проявления душевных состояний, Чехов становится более сдержанным, сглаживает резкости первой редакции, отказывается от приемов, становившихся банальными.

«—Но ведь это, Лиза, низко... оскорбительно!—пробормотала Машенька, задыхаясь и кривя рот» (ПГ)→«Но ведь это, Лиза, низко... оскорбительно! — сказала Машенька, задыхаясь от негодования» (СС); «— Эстуржон а-ля рюсс! — ответил лакей, *выпучив глаза*» (ПГ)→«...ответил лакей» (СС); «Побегу ко всем судьям и защитникам...— думала Машенька, дрожа *и холодея*» (ПГ). Во второй редакции *и холодея* опущено; «Машенька пожала плечами, обвела удивленными глазами свою комнату и, ничего не понимая, не зная, что думать, *окаменела*»→«Машенька обвела удивленными глазами свою комнату и, ничего не понимая, не зная, что думать, пожала плечами, *похолодела от страха*». В этом примере, помимо замены *окаменела* на *похолодела от страха*, изменен порядок следования мотивов.

Окончательная редакция разрежает экспрессивную насыщенность первоначального текста. В приводимом ниже отрывке Чехов сокращает количество уменьшительных форм слов и отказывается от варьирования экспрессивного определения: *сладенький* [голосок] и *медово* [улыбаясь]. Снимает слово *все*, заменяя его конкретным *о броши*, отказывается от модального слова *ведь*.

«— Ну, перестанем волноваться, сказал *сладеньким* голоском домашний доктор Мамиков, слегка касаясь руки Федосьи Васильевны и *медово* улыбаясь...— Мы и без того достаточно нервны. Забудем *все*! Здоровье ведь дороже двух тысяч!» (ПГ)→« —Ну, перестанем волноваться,— сказал *сладким* голосом Мамиков, ее домашний доктор, слегка касаясь ее руки и улыбаясь *так же сладко*. Мы и без того достаточно нервны. Забудем *о броши*! Здоровье дороже двух тысяч» (СС).

В результате изучения вариантов разных редакций рассказов Чехова можно сделать общие выводы о типичных для Чехова приемах работы над языком и стилем его ранних произведений.

1. Чеховская работа движется по пути выработки «великолепного разговорного языка» художественной прозы. Для достижения этой цели Чехов борется с «изысканностью» языка; он отвергает стилистически немотивированные разговорно-фамильярные элементы речи первых редакций как в авторском повествовании, так и в речах персонажей, отказывается от просторечия и провинциализмов, несущих в себе тот «мещанский тон», который недопустим в языке художественной прозы. Чехов исключает и стилистически неоправданные книжные, а также и вульгарно-книжные элементы как противоречащие образцовой художественной речи, чуждой жеманства, балагурства, банальности, всяческой манерности.

2. Идя по пути создания новых форм художественного реализма (чеховский этап в истории реализма), Чехов производит стилистически мотивированное сокращение детализации в одних мотивах и усиление детализации в других в связи с их отношением к образам и сюжету произведения. Детализация становится строго обдуманной и типичной.

3. Чехов отказывается от грубых и искусственных, ставших традиционными приемов словесного выражения эмоций; выражение эмоций становится сдержанным, тонким.

4. Сближение аспектов автора и героя в авторском повествовании приводит Чехова к необходимости существенно перерабатывать лексико-фразеологический и синтаксический остов рассказа. Исчезают иронически-торжественные обращения к читателю, комментирующие текст фразы «рассуждающего» характера, фельетонные вставки, идущие только от автора и нарушающие стиль рассказа. Повествование становится сосредоточенным, строго соответствующим сюжету, выдержанным по стилю.

5. Переработка синтаксических приемов направлена на общую драматизацию повествования: сокращается количество логически расчлененных предложений, бóльшую роль начинают играть открытые конструкции с однородными членами, обогащаются функции сочинительных конструкций в сложном предложении, в частности конструкций с присоединительным союзом *и* в различных значениях.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1955

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

В. В. ВИНОГРАДОВ

ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЯ ВОПРОСОВ СТИЛИСТИКИ

Выяснение вопроса о предмете, содержании и задачах стилистики, о месте стилистики в ряду других лингвистических дисциплин чрезвычайно важно для развития советского языкознания. Отсутствие точного определения стилистики, ее основных понятий и категорий, сферы ее действия сказывается в зыбкости, неотчетливости объектов и границ синтаксиса, фразеологии, лексикологии и особенно семасиологии.

В самом деле, в описательном синтаксисе любого развитого языка невозможно найти полную характеристику специфических конструкций разговорной речи в отличие от синтаксических норм речи книжной (а следовательно, и разъяснение своеобразий живых форм диалогического речевого общения сравнительно с монологическим). Все это обычно относится к стилистике[1]. Точно так же обычно выпадают из синтаксиса и «подбираются» стилистикой вопросы о сферах применения и функциях конструкций с ограниченным кругом употребления, о выразительном (экспрессивном и изобразительном) значении порядка слов, интонации и ритма, об оттенках параллельных синтаксических оборотов и о синтаксической синонимике, о функциональных отличиях и вариациях прямой, косвенной и особенно «несобственно прямой» речи[2].

Наконец, есть мнение, что достоянием стилистики служит вся широкая область изучения законов и правил синтагматического членения в разнообразных функциональных разновидностях речи. Само собой разумеется, что в таком случае синтагма определяется не по Ф. де Соссюру, не приравнивается к речевому такту и другим чисто фонетическим единицам, а понимается как интонационно организованный, семантически (по смыслу) объединенный синтаксический компонент связной речи, соотносительный с другими однородными ее компонентами.

Таким образом, в стилистику, во-первых, вмещаются те синтаксические явления, которые не составляют сердцевины синтаксической структуры языка и по большей части выходят за рамки изучения типичных для данного языка основных видов словосочетаний и предложений. Во-вторых, к стилистике относятся вопросы о функциях и сферах применения параллельных синтаксических оборотов, а также композиционно

---

[1] Ср., например, «Очерки по стилистике русского языка» А. Н. Гвоздева (М., 1952).

[2] Принадлежность синтаксису языка длинной цепи проблем, связанных с изучением строя так называемых «сложных синтаксических целых» (Н. С. Поспелов), «сверхфразных единств» (Л. А. Булаховский), «ритмических периодов» (А. М. Пешковский), абзацев и т. п. является спорной и сомнительной (не говоря уже о своеобразных особенностях синтаксиса стихотворной речи).

или семантически ограниченных, «связанных» синтаксических явлений, характерных лишь для тех или иных разновидностей речи (например, официально-канцелярской, научной, повествовательной или драматической речи художественных произведений и т. п.). В-третьих, в стилистику включаются все вообще проблемы синтаксической синонимики, хотя само понятие «синтаксического синонима» еще до сих пор не может считаться точно определенным. Наконец, со стилистикой иногда связывается проблема экспрессивных — выразительных и изобразительных — оттенков, присущих той или иной синтаксической конструкции или тем или иным комбинациям синтаксических конструкций, а также проблема так называемых «синтаксических фигур речи» (syntaxis ornata)[1].

Многообразие синтаксических вопросов и задач, которые ставятся перед стилистикой и решение которых вменяется ей в обязанность, отсутствие в них внутреннего единства побудили некоторых языковедов разделять стилистику на две области — на стилистику объективную и стилистику субъективную[2]. Отражение этих двух разных планов стилистики, в частности стилистического синтаксиса, легко можно найти и в наших языковедческих работах последнего времени[3].

Так, труд Л. А. Булаховского «Русский литературный язык первой половины XIX века» содержит небольшую главу, посвященную вопросам «стилистического синтаксиса». Сюда автор относит «свободную косвенную речь», «разнообразие синтаксического выражения приложений», «обещающие» местоимения, отсылающие к тем существительным, «которые еще не названы» (например, «Товарищ, верь: взойдет *она*, Звезда пленительного счастья»), спадающие (завершающие) сравнения (начинающиеся словом *так*), синтаксические приемы «интимизации», средства синтаксиса, служащие для создания комического эффекта[4].

Не подлежит сомнению, что синтаксические исследования этого типа были бы Й. Рисом отнесены к области «субъективной стилистики». Показательно, что некоторые из синтаксических конструкций рассматриваются Л. А. Булаховским как «черты поэтического слога», как «характерные структуры поэтического языка изучаемого времени». Следовательно, они признаются принадлежностью лишь художественных разновидностей литературной речи. Другие синтаксические явления оцениваются с экспрессивно-функциональной точки зрения (например, приемы «интимизации», «комические средства синтаксиса»); особенно показателен здесь стилистический анализ синтаксических форм и приемов «свободной косвенной речи»[5].

В ином теоретическом аспекте обычно изучается синтаксическая синонимика форм словосочетаний и предложений. Здесь задача иссле-

---

[1] Стремление ограничить стилистику областью композиционно-синтаксической, «грамматическими фигурами речи» имеет давнюю историю. В 1858 г. Н. А. Добролюбов специально коснулся этого обстоятельства в краткой рецензии на сочинение Виктора Баева «О необходимости построить науку о слоге на грамматических основаниях». «Г. Виктор Баев вообразил,— писал Добролюбов,— что есть какая-то *наука о слоге*, а потом убедился, что вновь изобретенная им наука не что иное, как та часть грамматики, которую называют обыкновенно синтаксисом... уменье правильно согласовать слова и употреблять так называемые грамматические фигуры — еще не составляет слога... *язык и слог суть вещи совершенно различные*» (Н. А. Добролюбов, Полное собр. соч., т. III, М., 1936, стр. 481).

[2] См. John Ries, Was ist Syntax? Marburg, 1894, стр. 129.

[3] См. содержание 2-й части (главы 1—5) в кн.: E. Riesel, Abriss der deutschen Stilistik, Moskau, 1954.

[4] См. Л. А. Булаховский, Русский литературный язык первой половины XIX века, М., 1954, стр. 442 и сл.

[5] См. там же.

дования сводится к определению и характеристике стилистических оттенков параллельных конструкций в общей системе языка. Так, А. Кока в статье «Синтаксическая синонимика в кругу словосочетаний с временным значением в современном русском литературном языке» пишет о синонимических и параллельных синтаксических конструкциях: одни из них «...могут длительное время употребляться в языке параллельно и сохранять свои синонимические отношения», другие же утрачивают синонимический параллелизм, потому что «...в данных конструкциях совершенно сглаживаются индивидуальные стилистические оттенки...»[1]. В связи с этим возможно сужение сферы употребления или даже отмирание одной из таких параллельных конструкций, постепенно теряющей активность и вытесняемой своим синтаксическим синонимом. Отсюда — общий вывод о синтаксической синонимике как явлении системы языка в целом[2].

Следовательно, объективная стилистика исследует принципы и правила соотношения и взаимодействия близких по значению или по функции, параллельных или синонимических форм, слов и конструкций в общей системе языка. Субъективная же стилистика имеет дело с закономерностями употребления и способами сочетания и объединения разнообразных грамматических (а также лексических) средств языка в тех или иных разновидностях речи, в разных устойчивых или изменчивых речевых формах общественного выражения коллективных или индивидуальных субъектов, в разных «стилях речи».

В сущности, в своем разграничении стилистики «аналитической» и «функциональной» Ю. С. Сорокин возрождает эту старую традицию и не вносит в нее ничего принципиально нового, не определяя точно ни предмета стилистики, ни ее основных понятий, ни ее задач, ни ее места в кругу других лингвистических дисциплин. Различие — лишь в названиях, в терминах. Предлагаемые Ю. С. Сорокиным обозначения — «аналитический» и «функциональный» — не соотносительны и внутренне не оправданы. Дело в том, что и «аналитическая» стилистика имеет дело не только с экспрессивно-стилистическими, но и с функционально-речевыми «тональностями» разных языковых средств.

*

В языковедческой традиции ясно обозначилась тенденция к сближению, а иногда и к смешению стилистики не только с синтаксисом, но и с семасиологией. Любопытно, что еще Райзиг — один из основоположников семасиологии[3] — считал стилистику (так же, как и риторику) частью семасиологии. Так как складывается впечатление, что стилистика имеет дело с тонкими и тончайшими дифференциально-смысловыми оттенками слов, оборотов и конструкций, то многие склонны относить именно к стилистике анализ и характеристику семантических нюансов речи, изучение разнообразных отношений средств языкового выражения к выражаемому содержанию. Само собой разумеется, что значительное место в этих исследованиях занимают наблюдения над смысловыми функциями и сферами обращения параллельных и синонимических выражений. Таким образом, и тут остро выступает задача сопоставительной и соотносительной семантической характеристики разных форм и ви-

---

[1] «Известия АН Казахской ССР», № 135, Серия филологии и искусствоведения, вып. 1—2, 1954, стр. 102—103. См. также стр. 111.

[2] См. там же, стр. 111.

[3] K. Reisig, Vorlesungen über lateinische Sprachwissenschaft, Leipzig, 1839.

дов речевого общения как одна из существеннейших проблем стилистики. Именно в силу этих соображений иногда делалась ссылка на семантическую замкнутость «стиля» как целесообразно организованной системы словесного выражения. Между прочим, семантическая замкнутость или семантическая очерченность характерна для отдельного высказывания, для контекста речи, для словесного произведения. Следовательно, практически она предполагается у «стиля речи» и Ю. С. Сорокиным, который теоретически склонен отрицать ее[1]: «...каждое высказывание, каждый контекст обладает стилем: в речи мы находим всякий раз определенный выбор слов, форм, конструкций, порядок их расположения и определенное их сочетание, которые зависят как от содержания и назначения речи, так и от общих законов, правил и возможностей языка»[2].

Особенно широко и свободно связывается стилистика с семасиологией в «Очерках по стилистике русского языка» проф. А. Н. Гвоздева. По словам этого ученого, «важность разработки вопросов стилистики, рассматривающей явления языка со стороны их значения, вытекает из той исключительной роли, какую играет значение (семантика) в явлениях языка...»[3]. А. Н. Гвоздев склонен видеть в стилистике своеобразную семантику «тонких оттенков», выразительных нюансов[4].

Во всяком случае, к стилистике всегда относится изучение дифференциально-смысловых и экспрессивных оттенков соотносительных, параллельных или синонимических выражений[5]. Тесная связь стилистики национального языка с семасиологией остро выступает при сопоставлении семантических систем разных языков в процессе перевода или при работе над двуязычными дифференциальными словарями[6].

Наконец, с семасиологией связаны также приемы и формы образных выражений[7]. Поэтому в стилистике находит себе место не только отвле-

---

[1] См. Ю. С. Сорокин, *К вопросу об основных понятиях стилистики*, ВЯ, 1954, № 2, стр. 77 и сл.

[2] Там же, стр. 81.

[3] А. Н. Гвоздев, указ. соч., стр. 9.

[4] См. там же. Ср. мою рецензию на кн. А. Н. Гвоздева (ВЯ, 1952, № 6, стр. 138, 140).

[5] А. А. Фет очень остро и тонко характеризовал «климатические свойства и особенности» поэтического словоупотребления: «Насаждая свой гармонический цветник, поэт невольно вместе с цветком слова вносит его корень, а на нем следы родимой почвы. При выражении будничных потребностей сказать ли: Ich will nach der Stadt, или: *Я хочу в город* — математически одно и то же. Но в песне обстоятельство, что Die Stadt steht, а город городится — может обнажить целую бездну между этими двумя представлениями. Кроме корня, каждое слово имеет свойственные его почве запах, конфигурацию и влияние на окружающую его область мысли, в совершенное подобие растению, питающему известных насекомых, которые в свою очередь питают известных птиц и т. д.». (А. Фет, Два письма о значении древних языков..., «Литературная библиотека», т. V, СПб., 1867, стр. 57. Ср. «Русские писатели о литературе», т. I, Л., 1939, стр. 450).

[6] М. Рыльский в статье «Из размышлений переводчика», оправдывая свой перевод пушкинского афоризма «Переводчики — почтовые лошади просвещения» на украинский язык: «Перекладачі — поштові коні освіти», пишет по поводу русских слов *конь* и *лошадь*: «В украинском языке, к сожалению, имеется только одно слово, соответствующее этим двум („кінь“), что, кстати сказать, служит примером того, как трудно бывает иногда передать стилистические и эмоциональные оттенки слов другого языка. Русское слово „конь“ имеет оттенок торжественности, высокого стиля, оно хотя и бытует в живом разговорном языке, но в какой-то мере архаично. Оно пригодно главным образом для песни, для стиха, для военной команды („по коням!“) и меньше подходит для делового, прозаического языка (хотя в нем и употребляются производные: „коневодство“, „конское поголовье“). „Лошадь“— слово, не имеющее оттенка торжественности, приподнятости, романтичности» («Новый мир», 1954, № 9, стр. 227).

[7] Несмотря на общий структуралистский уклон, книга Ульмана (S. Ullmann, Précis de sémantique française, Berne 1952) содержит интересный материал по вопросу о соотношении семантики (семасиологии) и стилистики.

ченное учение о тропах, как это бывало в «теории словесности», но и описание основных тенденций и закономерностей образного, метафорического и вообще переносного употребления слов и выражений, закономерностей, характерных для того или иного языка в разные периоды его развития. Правда, здесь уже ощутителен переход из области семасиологии в область лексикологии и фразеологии.

*

Если обратиться к лексикологии и фразеологии, то и тут со стилистикой связываются разные виды языковых явлений, отчасти соответствующие тем, которые отрываются для стилистики от синтаксиса и от семасиологии. Прежде всего, к стилистике относится определение ограниченных сфер употребления некоторых слов, значений, фразеологических оборотов и выражений, тяготеющих к отдельным типам, или разновидностям речи[1]. Сюда же примыкает характеристика экспрессивных качеств разных лексических средств языка. Этой эмоционально-экспрессивной стороне речи некоторые языковеды (например, Байи, Сэшеэ и др.) придают основное значение при отграничении предмета и содержания стилистики от сфер исследования, закрепленных за другими лингвистическими дисциплинами[2].

Далее, в стилистику нередко вводится учение о свойственных тому или иному языку на данной ступени его развития законах и правилах фразеологических сочетаний слов, о фразеологических контекстах, фразеологических своеобразиях и фразеологических границах употребления слов, а также об обусловленных различием фразеологических связей изменениях экспрессивно-стилистической окраски слов. Вообще положение фразеологии (или фразематики, как некоторые предлагают называть эту область лингвистического знания) в кругу других лингвистических дисциплин остается крайне неопределенным. Поэтому точно указать объем и проблематику тех разделов фразеологии, которые чаще отдаются стилистике, в высшей степени затруднительно. Во всяком случае к стилистике всегда относится характеристика экспрессивных оттенков фразеологических единиц, определение речевых сфер и литературно-жанровых пределов их употребления. Кроме того, в стилистику же включается изучение и оценка фразеологических штампов, шаблонов (или клише), вращающихся в той или иной сфере речи[3].

В стилистику входит учение о лексических синонимах, как «идеологических», так и экспрессивных и функционально-речевых, о видах и семантических основах синонимики в данной языковой системе, о связи отдельных синонимических вариантов с теми или иными типами и разновидностями речи. Анализ лексической и фразеологической синонимики, свойственной литературному языку, может расширяться в сторону изучения индивидуальных, субъективных, вызываемых задачами сообщения или условиями контекста способов употребления разнообразных слов и выражений в синонимическом смысле или в качестве членов одного семантического ряда.

Например, в языке художественной литературы в каламбурном употреблении мнимое смысловое тождество или смысловое соответствие слов и морфем может расширяться и даже возникать в результате индивиду-

---

[1] Ср. Ю. С. Сорокин, указ. соч., стр. 80.

[2] См. Ch. Bally, Le langage et la vie, 3-e éd., Zürich, 1935, стр. 79—109.

[3] Ср. его же, Traité de stylistique française, Heidelberg, 1909 (2-e éd.: Heidelberg, 1930—1931; 3-e ed: Genève —Paris, 1951).

в результате индивидуальных сближений и сопоставлений созвучных, омонимичных или омоморфемных выражений[1].

В лексический раздел стилистики, естественно, должен быть включен анализ экспрессивно-смысловых различий между близкими или соотносительными словопроизводственными рядами слов (например, *лентяй* и *ленивец*; *дурак* и *дурень*; *красотка* и *красавица*; *старикан* и *старикашка*; *советчик* и *советник*; *дешевка* и *дешевизна*; *бродяжить* и *бродяжничать*; *портняжить* и *портняжничать*; *писклявый* и *пискляв*ый и т. п.), а также обзор синонимических образований в кругу одной и той же словообразовательной категории.

Со стилистикой иногда (правда, чаще всего в учебных программах и руководствах) ассоциируется изучение лексической системы языка с точки зрения ее исторической динамики, внутренних тенденций ее развития (неологизмы, архаизмы) и взаимодействий с народными говорами и социальными жаргонами (диалектизмы, арготизмы и т. п.). Однако неправомерность такого переноса чисто лексикологических проблем в стилистику очевидна. Иное дело, когда речь заходит о функциях и целях употребления тех или иных разрядов слов, выходящих за пределы общей литературной нормы выражения (например, арготизмов, архаизмов и т. п.) или еще не вошедших в эту норму, в отдельных разновидностях литературной речи.

*

Гораздо меньше материала в смысле экспрессивно-стилистических различий предоставляют стилистике современного русского языка морфология и фонетика. Из морфологических явлений, по словам проф. А. М. Пешковского, «...изучаться и сравниваться здесь должны не грамматические значения вообще, а лишь грамматические с и н о н и м ы...»[2], т. е. значения слов и форм, близкие друг к другу по их грамматическому смыслу. Той же точки зрения придерживается и проф. А. Н. Гвоздев[3].

Если не включать в морфологию область словообразования, то из круга собственно морфологических явлений в стилистику могут войти лишь вопросы о функциях и сферах употребления вариантных — параллельных и синонимических — форм склонения и спряжения, а также степеней сравнения[4]. Проблемы синонимики частей речи, служебных слов и частиц, а также вопросы об экспрессивных оттенках предикативных форм и оборотов (например, глагольных форм времени и наклонения, безличных глаголов и т. п.) относятся уже к области или лексики, или синтаксиса, а тем самым и соответствующих разделов стилистики.

В системе литературного произношения также выделяются соотноси-

---

[1] Например, у А. Ф. В е л ь т м а н а в романе «Приключения, почерпнутые из моря житейского» (цит. по изд. «Academia», 1933): «...это было существо великодушное, презирающее всех малодушных, слабодушных, тщедушных и радушных» (стр. 78); «Там вся московская поэзия и проза, славянофилы, скандинавофилы, франкофилы и простофили» (стр. 863). Ср. еще: «...Василиса Савишна была не из того роду старушек, которые промышляют жалобами и слезами на судьбу и людей и для которых благодетельные барыни не щадят ни старой подкладки, ни обрезков от домашнего шитья, ни изношенных башмаков, которые прослужили года два и туфлями, ни *про*тертых чулков, которых нельзя уже подвязывать, ни запасу *про*горыклого маслица, ни *про*мозглых огурчиков, ни *про*тухшей дичинки, ветчины и тому подобного» (стр. 84).

[2] А. М. П е ш к о в с к и й, Вопросы методики родного языка, лингвистики и стилистики, М.— Л., 1930, стр. 153.

[3] См. А. Н. Г в о з д е в, указ. соч., стр. 75.

[4] См. главу «Морфология и стилистика» в кн. А. В. И с а ч е н к о «Грамматический строй русского языка в сопоставлении с словацким» (Братислава, 1954).

тельные разновидности фонетического выражения, различные по функциям и связанные с разными сферами и задачами речевого общения. Их называют «стилями произношения» и, следовательно, рассматривают как область стилистического исследования (ср. работы акад. Л. В. Щербы, доц. М. И. Матусевич, проф. Р. И. Аванесова, доц. С. И. Ожегова и др.).

*

Анализ стилистических явлений опирается на понятие нормы языка и ее возможных вариаций — как свободных, так и функционально обусловленных[1]. Нормы языка исторически изменчивы. Описательное и историческое языкознание, стремящееся установить закономерности изменений системы языка, не может обойтись без изучения общественно-языковых норм. Стилистика в своих исследованиях исходит из этих норм, из оценки их живых вариаций и, следовательно, базируется на материале и результатах описательной фонетики, грамматики и лексикологии. Но изучая функциональные связи языковых фактов, возможности взаимозамещения в их кругу, в известных условиях — формы их смыслового параллелизма, синонимические соотношения между ними, систему распределения их по разным речевым сферам и деятельностям, — стилистика общенародного языка приходит к характеристике разновидностей и типов речи, основных сфер речевого общения; на этом пути она осложняется и дополняется стилистикой литературно-художественной речи.

Таким образом, стилистика общенародного, национального языка охватывает все стороны языка — его звуковой строй, грамматику, словарь и фразеологию. Однако она рассматривает соответствующие языковые явления не как внутренне связанные элементы целостной языковой структуры в их историческом развитии, но лишь с точки зрения функциональной дифференциации, соотношения и взаимодействия близких, соотносительных, параллельных или синонимических средств выражения более или менее однородного значения, а также с точки зрения соответствия экспрессивных красок и оттенков разных речевых явлений; с другой стороны, стилистика рассматривает эти явления с точки зрения их связи с отдельными формами речевого общения или с отдельными общественно разграниченными типами и разновидностями речи. Вот почему от стилистики неотделимо учение о так называемых функциональных разновидностях или типах речи, характерных для того или иного языка в разные периоды его исторического развития. Именно этот круг вопросов, иногда относимый к «стилистике субъективной», является наименее исследованным и определенным.

В сущности, никаких особенно разительных, резких разногласий в понимании свойственных языку стилистических вариантов как лексико-фразеологического, семантического, так и грамматического и фонетического характера дискуссия по вопросам стилистики не обнаружила. Даже Ю. С. Сорокин здесь ограничился лишь желанием выделить их изучение в особую аналитическую стилистику. Все остальное, что сказано им по вопросу о стилистических средствах языка, является самым общим повторением традиционных истин: в более непринужденных и общих формулировках он высказывает то, что обычно говорится о стилистически нейтральной основе языка, о полной стилистической нейтральности слов основного словарного фонда в их прямых, номинативных значени-

[1] Ср. статью: B. Havránek, Zum Problem der Norm in der heutigen Sprachwissenschaft und Sprachkultur, «Actes du Quatrième Congrès international de linguistes», Copenhague, 1938.

ях — как в функциональном речевом отношении, так и в отношении экспрессивной окраски, о стилистических пометах слов и выражений, о стилистически ограниченных сферах употребления групп слов, о лексических и грамматических синонимах и т. д.[1].

*

Вникая в правила функционально-речевой и экспрессивно-смысловой дифференциации разных элементов современного русского языка, в закономерности синонимических связей и отношений форм, слов, выражений и синтаксических конструкций, легко заметить, что и характер, и степень такой дифференциации неодинаковы и неоднородны в разных сторонах языка. Наиболее развитой и дифференцированной по оттенкам значений, по экспрессивным качествам выражений, по характеру стилистических ограничений, наиболее богатой синонимами является лексика (а следовательно, и фразеология). Гораздо более общими, более широкими и менее дробными являются функционально-речевые и экспрессивно-смысловые, а также синонимические разграничения и соотношения в сфере грамматики, особенно морфологии.

Таким образом, в системе языка выделяются разнообразные элементы (лексические и грамматические, из этих последних чаще всего синтаксические), характеризующиеся различными речевыми границами их общенародного употребления или различиями экспрессивных окрасок. Они могут быть соотносительны друг с другом по экспрессии, по «стилистическому» качеству и противопоставлены синонимическим выражениям из другой речевой сферы или разновидности. Некоторые из них выступают как «характеристические» приметы той или иной разновидности речи. Но сами по себе они, очевидно, не складываются в систему и не образуют «системы» в том смысле этого слова, в каком термин «система» применяется к языку[2]. Они объединяются в некоторые совокупности, в некоторые устойчивые экспрессивно-стилистические ряды внутри языковой системы в силу однородности экспрессии, а также сходного отношения к единой норме общенародного языка и к сложившейся традиции их функционально ограниченного употребления. В связи с этим возникает вопрос: содержатся ли в самой системе языка, «заложены» ли или, вернее, откладываются ли в ней самые способы, конструктивные принципы объединения и организации языкового материала, характерные для того или иного типа или разновидности речи? Ведь наличие стилистической окраски в отдельных элементах языка, т. е. отнесение их к определенному виду или типу речи («стило»), может и не предполагать самих правил и принципов организационного объединения и структурной связи всех этих элементов в самой языковой системе, иначе говоря, еще не обязывает к признанию соотносительных и дифференцированных стилистических «систем» внутри единой системы языка. Но если такие принципы и связи могут складываться и развиваться в процессе употребления языка в разных общественных формах речевой деятельности, в многообразных разновидностях речи, то они во всяком случае иного качества, чем связи элементов самой системы языка. Связи и соотношения языковых элементов однородной стилистической окраски опираются не на структурные качества языка, не на формы и не на

[1] См. Ю. С. Сорокин, указ. соч., стр. 78—79. Ср. также E. Riesel, указ. соч., стр. 53, 70 и др.

[2] В предшествующих работах термин «система» по отношению к стилю мною употреблялся недифференцированно, вследствие чего возникали недоразумения и в понимании замкнутости языковых и речевых стилей.

лексические или грамматические значения, а на социально-экспрессивные оттенки, на свойства функционального использования языковых средств в многообразии видов общественно-речевой практики.

Таким образом, при различии критериев и принципов экспрессивно-стилистических расслоений в разных областях или сторонах современного русского языка нельзя непосредственно, без научно обоснованных доказательств, утверждать, что внутри его структуры и поныне сосуществуют и взаимодействуют разные устойчивые, более или менее замкнутые (т. е. «изолированные») стилистические системы, включающие в себя совокупность форм, слов и конструкций, а иногда и звуков одной и той же окраски или стилистической «тональности». Быть может, в таком понимании связи и взаимодействия стилистически окрашенных или стилистически ограниченных элементов в системе языка обнаруживается чересчур поспешное обобщение того состояния литературного языка, которое свойственно лишь отдельным периодам его развития. Наиболее прямолинейно и решительно такая обобщенная точка зрения на язык как на совокупность стилистических систем была развита проф. Г. О. Винокуром в его очень интересной статье «О задачах истории языка»[1]. «В отличие от прочих лингвистических дисциплин, — писал проф. Г. О. Винокур, — стилистика обладает тем свойством, что она изучает язык по всему разрезу его структуры сразу, т. е. и звуки, и формы, и знаки и их части. Таким образом, никакого „собственного" предмета у нее как будто не оказывается. Действительно, стилистика изучает тот же самый материал, который по частям изучается в других отделах истории языка, но зато с особой точки зрения. Эта особая точка зрения и создает для стилистики в чужом материале ее собственный предмет. В отличие от прочих отделов истории языка, стилистика имеет дело не с одной, а с многими системами, и в то время, как напр., для фонетики существенно знать, как противопоставлены друг другу все звуки данной звуковой системы, стилистика изучает вопрос о том, как противопоставлены друг другу отдельные, обладающие стилистической выразительностью, звуки разных систем, напр., для эпохи Московской Руси — взрывное обиходного языка столицы и фрикативное церковно-книжного языка. Далее, для тех дисциплин, которые изучают строй языка, звуки — это одна система, формы — другая, вещественные значения — третья, и лишь более сложные взаимоотношения между этими отдельными системами в конце концов создают общую и цельную систему всего языка. Для стилистики, наоборот, отдельные структурные элементы сами по себе не создают еще системы просто потому, что не все звуки, формы и знаки являются ее предметом, а лишь такие, которые, обладая особой стилистической окраской, противопоставлены звукам, формам и знакам с иной стилистической окраской. Но зато звуки той или иной стилистической окраски и формы и знаки той же окраски входят в одну стилистическую систему в противовес звукам, формам и знакам другой окраски, и из взаимодействия всех таких систем создается общая стилистическая жизнь языка. Все это говорит о том, что стилистическая система есть понятие вполне своеобразное и совершенно не соотносительное, хотя и тесно связанное с системой звукового, формального и семасиологического строя языка»[2].

Таким образом, в основе этой концепции лежит предположение о качественной однородности и экспрессивном единстве звуковых, грамматических и лексико-семантических языковых элементов в каждой из

[1] «Ученые записки Моск. гор. пед. ин-та», т. V, Кафедра русского языка, вып. 1, 1941.

[2] Там же стр. 18.

соотносительных стилистических систем (или стилей языка), непосредственно входящих в структуру того или иного языка. При этом «...каждый стиль рассматривается как своеобразная система, противопоставленная другим системам, представляющая собой известное видоизменение соответствующей системы в предшествующий период и заключающая в себе те противоречия, которые привели к ее перерождению в период последующий»[1].

Однако если обратиться к наиболее развитой и стилистически дифференцированной стороне языка, к его словарному составу, и вникнуть хотя бы в типы синонимов, наблюдающиеся здесь, то необходимо признать, что «системы», возникающие в сфере лексической синонимики, оказываются очень разнотипными и не всегда могут противопоставляться одна другой: здесь прежде всего следует отделить синонимию идеографическую, связанную с дифференциацией оттенков одного и того же значения (*безобразный — уродливый*; *безупречный — безукоризненный*; *наивный — простодушный* и т. д.), от синонимии стилистической, которая в свою очередь включает в себя синонимы функционально-речевые (например, *застрельщик — инициатор; конец — предел* — в некоторых значениях и оттенках) и синонимы экспрессивно-смысловые (например, *обзор — обозрение; кругозор — горизонт* в переносном употреблении и т. п.), отчасти находящиеся во взаимодействии.

Признавая наличие разнообразной стилистической окраски у слов, форм, выражений и конструкций, языковеды обычно различают два ряда стилистических окрасок или «тональностей»: стилистические окраски экспрессивно-эмоционального характера и стилистические окраски, связанные с ограниченной речевой областью применения соответствующих языковых средств. Но уже отсюда ясно, что от наличия той или иной стилистической окраски или «тональности» у ряда слов и выражений до обобщенного вывода о существовании соответствующего «экспрессивного стиля» или «экспрессивной стилистической системы» в языке — «дистанция огромного размера». Например, проф. А. Н. Гвоздев в своих «Очерках по стилистике русского языка» различает по экспрессивной окраске слова: свежие, книжно-неодобрительные, архаически-шутливые, напыщенные, архаически-комические, фамильярно-ласкательные, иронически-ласкательные, иронические и т. п. (стр. 58—63). Однако никто на основании этого не сделает заключения о разграниченности в общей системе современного русского языка таких экспрессивных стилей, как архаически-шутливый или архаически-комический, книжно-неодобрительный или свежий и т. п.

Приходится еще раз повторить, что «классификация стилей по экспрессивным качествам лишена единства, цельности и последовательности. По мере перехода от стилистической лексикологии к стилистическому синтаксису, эта классификация постепенно теряет свои очертания. Возникает сомнение в правомерности распространения термина „стиль языка“ на разновидности экспрессивной окраски речи»[2]. Ведь одни и те же экспрессивные краски могут накладываться на совершенно различные по своему функционально-стилистическому характеру высказывания (например, ирония, возвышенная патетика и т. п.).

Впрочем о сущности экспрессии слова, об экспрессивной функции слова, о формах речевой экспрессии, об экспрессивных качествах и оттенках разных фонетических и грамматических явлений в нашем отечествен-

---

[1] Там же, стр. 19.
[2] ВЯ, 1952, № 6, стр. 144.

ном языкознании вообще сказано не очень много. Кроме указаний на «чувственный тон», «эмоциональный смысл слова», на «экспрессивную функцию языка» (в разном значении; ср. работы проф. М. Н. Петерсона, А. М. Селищева, с одной стороны, и проф. А. С. Чикобава, с другой), отмечалось, что слово является для слушателя одновременно и знаком «мысли» говорящего и «признаком всех прочих психических переживаний», входящих в намерение коммуникации[1]. Но исторического очерка развития «систем выражения», систем экспрессивных форм в русском языке нет. Экспрессивные оттенки слов и выражений у нас являются предметом больше ощущения и показа (демонстрации), чем изучения и анализа. Наиболее интересные, глубокие и разнообразные наблюдения над формами экспрессии относятся к области ораторской, поэтической и сценической речи.

Таким образом, трудно согласиться с В. Д. Левиным, который считает объективно реальное существование «экспрессивных стилей» как цельных систем в самой структуре языка фактом самоочевидным и несомненным[2].

«Экспрессивный стиль» В. Д. Левину представляется совокупностью «элементов, обладающих определенной стилистической окраской», совокупностью «позитивных и негативных языковых признаков»[3], образующих «цельную законченную систему»[4]. Однако В. Д. Левин не касается вопроса о том, должна ли непременно применяться и применяется ли вся такая совокупность или «система» общественно осознанных и закрепленных шутливых, иронических, вульгарных, неодобрительных и т. п. слов и выражений каждый раз для реализации соответствующих «стилей языка» в конкретных условиях и контекстах или же эти «стили» могут конструироваться и другими языковыми средствами, субъективно окрашенными или окрашиваемыми нужной экспрессией. В связи с этим укрепляется сомнение вообще в существовании таких «цельных, законченных систем» в самой общей системе языка. Ведь невозможно выделить какие-нибудь свободные, т. е. не принявшие форму грамматических идиоматизмов, общеобязательные синтаксические формы и конструкции, непосредственно выражающие иронию, шутку, неодобрение и т. п.

История экспрессивных форм речи и экспрессивных элементов языка вообще в языкознании мало исследована, пути и направления их развития в отдельных конкретных языках не выяснены.

Несколько иначе обстоит дело с изучением стилистически ограниченных функционально-речевых элементов, которым также сопутствует экспрессивная окраска, и их употребления. Что функционально-стилистическая окраска, присущая части слов, выражений и даже конструкций, генетически обусловлена преимущественным употреблением этих языковых фактов и явлений лишь в определенных видах речи, в определенных контекстах,— это очевидно. Связь этих языковых элементов с теми или иными функциональными разновидностями, типами, «стилями» речи для данной эпохи устойчива и общепризнана.

*

Естественно возникают вопросы: функциональное разнообразие исторически сложившихся разновидностей речи, качественное различие

[1] См. Р. О. Шор, Выражение и значение, «Ученые записки [Ин-та языка и лит-ры РАНИОН]», т. I, М., 1927, стр. 102—103.

[2] См. В. Д. Левин, О некоторых вопросах стилистики, ВЯ, 1954, № 5, стр. 78.

[3] Там же, стр. 79.

[4] Там же, стр. 75.

между далекими разновидностями книжной и разговорной речи вытекают ли непосредственно из свойств самой системы языка в результате ее развития? Как это многообразие речевой деятельности исторически отражается в составе и строе языка? Система языка — при внутреннем единстве ее структуры — представляет ли в отдельных своих частях совокупность соотносительных, дифференциальных форм и способов выражения, внутренне объединенных и образующих своеобразные стилистические «системы» («стили языка») внутри общей языковой системы? Если язык обладает этим качеством, то в какие периоды его истории оно развивается в нем и как изменяется? Или же при крепком единстве общенационального языка в его системе лишь отслаиваются отдельные черты и элементы разнообразных разновидностей и типов речи, слышатся лишь отголоски более или менее отстоявшихся видов речевого общения? Следовательно, вопрос о формах, разновидностях и типах литературной речи, обычно называемых «стилями языка», повертывается в конкретно-историческую сторону. И в этом аспекте самый термин «стиль языка» требует уточнения. Его нельзя смешивать с термином «стиль речи», если признавать необходимость разграничения понятий языка и речи.

Термин «стиль языка» и определение стилей как разновидностей языка, как «частных» систем внутри «общей» системы языка побуждает представлять их по образу и подобию языковой системы. Однако никто из историков русского языка, выйдя за пределы трех стилей русской литературной речи XVIII в., не ищет в национальном русском языке XIX и XX вв. множества изолированных систем выражения («стилей» языка), составленных из характерной для каждой из них совокупности столь же «изолированных элементов языка».

Стиль языка иногда понимается и в ином смысле, как совокупность «более или менее устойчивых комплексов языковых средств, соответствующих определенным жанрам, типам речи и обусловленных их содержанием и назначением»[1]. С этой точки зрения анализ и понимание языкового стиля не должны опираться на сумму «изолированных элементов языка», но и не должны выходить за пределы общеязыковых категорий и понятий — изменений значений слова, способов употребления слов и грамматических конструкций. Все, что не может быть непосредственно выведено и объяснено из таких элементов языковой системы, объявляется «неязыковым», хотя от этого не становится непременно и «нестилистическим». Так, метафора, выраженная одним словом или сочетанием, считается языковым стилистическим средством (*мрак жизни*, *мрак душевный*, *мрак земных сует* и т. п.); но метафора, выходящая за пределы отдельного слова и выражения (например, целое высказывание, вроде стихотворения Пушкина «Прозаик и поэт»), рассматривается уже как «неязыковое стилистическое средство»[2].

Легко заметить, что здесь говорится собственно о стилях речи, т. е. о «системах средств выражения, соответствующих определенным типам речевой деятельности»[3]. Термином же «языковой стиль» («стиль языка») только подчеркивается, что эти стили речи понимаются и изучаются в «плане языковом», т. е. в пределах элементов языковой системы, лишь с точки зрения качеств и применений этих элементов. «Стили языка» понимаются в этом случае не как содержащиеся в самой языковой структуре обособленные и замкнутые круги разных выразительных средств.

---

[1] И. С. Ильинская, О языковых и неязыковых стилистических средствах, ВЯ, 1954, № 5, стр. 88 (разрядка моя.— *В. В.*).

[2] См. там же, стр. 87—88.

[3] Там же, стр. 89.

а как обнаруживающиеся в разных формах и видах общественно-речевой деятельности коллективно осознанные способы соотношения и комбинирования различных стилистических элементов[1]. Если оставить в стороне нечеткое и лингвистически (т. е. в плане общей теории языка), не обоснованное противопоставление «языкового» и «неязыкового», ясно, что И. С. Ильинская относит «стили языка» не к самой структуре языка, а к широкой области функционального использования языка в общественно-речевой практике.

В сущности о том же говорит Ю. С. Сорокин, когда он, не смешивая стиля речи с индивидуальным стилем высказывания, пишет, что в развитом национальном литературном языке (с характерным для него многообразием выразительных средств и с возможностями извлекать из многих слов и выражений различные тональности) «решающим для характеристики того или иного стиля речи являются принципы соотношения и приемы объединения различных языковых средств в контексте речи»[2].

Ю. С. Сорокин не сомневается в наличии стилистических категорий как принадлежности «индивидуального высказывания»; ему сомнительны стилистические категории как «категории языковые»[3]. Но Ю. С. Сорокин делает шаг назад, когда он отрицает коллективную природу и общественно-осознанные типические свойства тех соотносительных и функционально дифференцированных способов словесного выражения, которые принято называть то «стилями языка», то «стилями речи». Ведь еще проф. Г. О. Винокур писал о том, что стилистика «...может быть лингвистической дисциплиной только при том непременном условии, что она имеет своим предметом те языковые привычки и те формы употребления языка, которые действительно являются коллективными»[4].

В ходе дискуссии по вопросам стилистики было также правильно указано, что различия между «стилями» заключаются не только и не столько в материальном составе языковых средств и не только в принципах соотношения и приемах объединения различных элементов языка, но также и в их функциях. «Понятия точности, образности, экспрессивности, как и другие стилистические категории, не механически перекочевывают из одного языкового стиля в другой, а в системе каждого стиля приобретают глубокое своеобразие», — писал проф. Р. А. Будагов[5]. «Дело не в том, насколько те или иные стилистические средства языка „неповторимы". Таких „неповторимых" стилистических ресурсов в языке нет или почти нет. Проблема, однако, заключается в том, каковы функции выразительных средств языка в том или ином языковом стиле»[6]. Вместе с тем подчеркивается необходимость «...различать языковые стили и такие языковые явления, характер которых определяется спецификой самого описываемого или изучаемого объекта»[7], например, свойствами отдельных жанров литературы.

По определению Р. А. Будагова, «языковой стиль — это разновидность общенародного языка, сложившаяся исторически и характеризующаяся известной совокупностью языковых признаков, часть из которых своеобразно, по-своему, повторяется в других языковых стилях,

---

[1] См. И. С. Ильинская, указ. соч., стр. 89.
[2] Ю. С. Сорокин, указ. соч., стр. 76.
[3] См. там же, стр. 73—74.
[4] Г. О. Винокур, О задачах истории языка, стр. 17.
[5] Р. А. Будагов, К вопросу о языковых стилях, ВЯ, 1954, № 3, стр. 60.
[6] Там же, стр. 61.
[7] Там же, стр. 67.

но определенное сочетание которых отличает один языковый стиль от другого. Не существует неизменных языковых стилей, но существует постоянное развитие, взаимное воздействие, взаимное отталкивание и непрерывное совершенствование и обогащение внутренних ресурсов разных языковых стилей»[1].

Таким образом, если не останавливаться на отождествлении и смешении терминов и понятий «языковой» и «речевой», то у всех участников дискуссии можно отметить одинаковое и однородное понимание природы стиля в современных развитых национальных языках.

Вместе с тем *понятно, что стиль речи не всегда формируется непосредственно самими* э л е м е н т а м и я з ы к а. Иногда он обусловлен сложными образованиями, возникающими из сочетания этих элементов и представляющими синтезированные смысловые единства. Эти сложные стилистические явления художественной речи (например, сравнения, *олицетворения и т. п.) не могут быть поняты на основе анализа только* отдельных относящихся сюда слов[2].

Стиль — это общественно осознанная и функционально обусловленная, внутренне объединенная совокупность приемов употребления, отбора и сочетания средств речевого общения в сфере того или иного общенародного, общенационального языка, соотносительная с другими такими же способами выражения, которые служат для иных целей, выполняют иные функции в речевой общественной практике данного народа. Стили, находясь в тесном взаимодействии, могут частично смешиваться и проникать один в другой. В индивидуальном употреблении границы стилей могут еще более резко смещаться, и один стиль может для достижения той или иной цели употребляться в функции другого.

Справедливо отмечалось, что степень индивидуального своеобразия стилей речи неодинакова. В таких разновидностях письменно-книжного речевого общения, как деловая бумага, техническая или служебно-административная инструкция, информационное сообщение в газете, даже передовая, индивидуально-стилистическое отступает перед стандартом, типической нормой или основной тенденцией привычной, установившейся формы словесного изложения.

*

Никто из участников дискуссии не отрицал того, что литературный язык, обслуживая разнообразные сферы общественной деятельности, разнообразные области культуры, в процессе своего исторического развития становится опорой и основой разнообразных форм, типов или разновидностей речевой деятельности, образующихся на базе разного отбора, сочетания и экспрессивного объединения языковых средств[3]. Наметились большие трудности и обозначились существенные противоречия в понимании характера этих речевых разновидностей и закономерностей их исторического развития. Ю. С. Сорокин настаивал даже на том, что в истории русского языка «стили языка» как особые семантически замкнутые «типы речи», характерные, например, для его функционирования и развития в XVII и XVIII вв., затем ликвидируются, и, начиная со времени Пушкина, можно говорить уже о многообразии индивидуальных с т и л е й р е ч и.

---

[1] Там же. Ср. близкую к этой точку зрения И. Р. Гальперина (ВЯ, 1954, № 4).

[2] Ср. И. С. И л ь и н с к а я, указ. соч., стр. 88.

[3] Эта задача была сформулирована в статье «Два года движения советского языкознания по новому пути» (ВЯ, 1952, № 3, стр. 17) так: «В стилистике национального языка должны быть описаны и раскрыты функциональные различия форм речи в зависимости от условий, ситуации, цели, задачи, содержания языкового общения».

С этого периода перед стилистикой современного языка встает новая задача— «...анализ многообразия стилистических применений элементов в конкретных речевых условиях. Именно здесь мы сталкиваемся с понятием стиля речи, с тем, без чего немыслимо никакое высказывание...»[1].

Понятие «стиля речи» в этих высказываниях Ю. С. Сорокина остается неясным, так же как и понятие «разновидностей речи». Вопрос о том, не сложились ли и не складываются ли какие-нибудь устойчивые, типические, коллективные правила и особенности целенаправленного использования языковых средств в отдельных областях общественной деятельности, в отдельных жанрах литературы или письменности, не ставится. Упор делается на «конкретные приемы сочетания языковых элементов в каждом высказывании, в каждом контексте», особенно в образцовых произведениях. Показательно, что стилистическая терминология Ю. С. Сорокина в других его работах последнего времени так же неопределенна и пестра. Характеризуя стиль романа Н. Г. Чернышевского «Что делать?», Ю. С. Сорокин пишет, что «...в языке романа выступают элементы р е ч и п у б л и ц и с т и ч е с к о й, слова и обороты, характерные для я з ы к а н а у ч н о г о р а с с у ж д е н и я. Их сочетание с лексикой и фразеологией р а з г о в о р н о г о я з ы к а, со словами, выражающими конкретно-образные представления,— характерная особенность языка романа... Здесь выступают формы языка страстного и возвышенного, формы о р а т о р с к о г о и п о э т и ч е с к о г о с т и л я»[2].

В своей статье «Значение Пушкина в развитии русского литературного языка» Ю. С. Сорокин широко и свободно пользуется термином «стиль литературной речи», не определяя его точно. Он говорит о многообразии этих стилей в русском литературном языке послепушкинской эпохи. По словам Ю. С. Сорокина, Пушкин «...глубоко оценил значение всех характерных структурных особенностей русского общенародного языка в их органической целостности. Он узаконил их в различных жанрах и с т и л я х л и т е р а т у р н о й р е ч и»[3]. «Он стремился придать литературной речи и ее различным с т и л я м характер гармонической, законченной системы, придать строгость, отчетливость и стройность ее нормам»[4]. «Отпало схематическое деление литературной речи на три стиля. Вместе с тем отпала и обязательная, заранее данная связь каждого из этих стилей с определенными жанрами литературы. Литературный язык в связи с этим приобрел более стройный, е д и н ы й с и с т е м а т и ч е с к и й х а р а к т е р. Ведь строгое разграничение определенных слов, выражений и отчасти грамматических форм по трем стилям было признаком известной „диалектной“ дробности внутри самого литературного языка. Многие слова и выражения, а также отдельные грамматические формы, не освоенные в широком литературном употреблении, были специфической принадлежностью либо только „высокого“, либо только „простого“ слога. Последний, во всяком случае, представлялся консервативным защитникам этой системы чем-то вроде особого, не вполне литературного диалекта.

Видоизменение стилистической системы литературной речи не означало, конечно, устранения стилистических различий между отдельными элементами языка. Напротив, со времен Пушкина стилистические воз-

---

[1] Ю. С. С о р о к и н, указ. соч., стр. 82.

[2] Е г о же, О задачах изучения языка художественных произведений..., сб. «Изучение языка и стиля художественных произведений в школе», М.— Л., 1953, стр. 54—55 (разрядка здесь и ниже моя.— *В. В.*).

[3] «История русской литературы». т. VI, М.— Л., Изд-во АН СССР, 1953, стр. 332; ср. также стр. 334.

[4] Там же, стр. 333.

можности литературного языка расширились. Со стороны стилистической литературная речь стала гораздо более многообразной...

...После Пушкина открылись широкие и многообразные возможности для объединения в одном произведении слов и выражений разной стилистической окраски, что создало большую свободу для реалистической передачи различных ситуаций жизни и выявления отношения автора к действительности»[1].

На основании сопоставления этих замечаний Ю. С. Сорокина можно заключить, что установившиеся после Пушкина и Гоголя принципы индивидуального сочетания разностильных элементов в композиции художественного произведения, в языке художественной литературы признаются типичными и действительными для всех решительно высказываний и «контекстов речи», относящихся к самым разнообразным областям общественной деятельности. «Стиль языка» для Ю. С. Сорокина равнозначен «стилю-диалекту»[2].

Как бы то ни было, понятие «стиля языка» и понятие «стиля речи» остались в результате дискуссии не вполне уточненными и совсем не разграниченными. И в этом — недостаток дискуссии, так как от неотчетливости этих понятий очень страдает наша наука. Выражения «стиль языка» и «стиль речи» употреблялись участниками дискуссии безразлично, смешанно. Любопытно, что даже Ю. С. Сорокин, доказывая отсутствие «стилей языка» в таком развитом национальном языке, как русский, и призывая изучать многообразие «конкретных стилей речи», во многих случаях употребляет оба термина — «стиль языка» и «стиль речи» — как полные синонимы.

Вопрос о разграничении понятий «языковой стиль» и «стиль речи», повидимому, представлялся второстепенным и даже излишним многим участникам дискуссии. Так, Р. Г. Пиотровский, справедливо отметив, что в рассуждениях Ю. С. Сорокина понятие стиля совпадает с понятием индивидуального контекста и, следовательно, отрицается «объективное существование в языках р е ч е в ы х с т и л е й» как общественно осознанных и целесообразно организованных совокупностей средств выражения,

---

[1] Там же, стр. 367.

[2] Полная недифференцированность лингвистических категорий и понятий как в области разграничения основных разделов и дисциплин лингвистики, так и в сфере определения центральных категорий стилистики ярко сказывается, например, в таком рассуждении проф. А. В. Исаченко: «Исходя из основных функций общенародного языка, можно выделить книжный стиль, противопоставленный разговорному. В пределах книжного стиля с достаточной четкостью выделяются стиль поэтический, стиль повествовательной прозы, стиль намеренно архаический (напр., в исторических романах), стиль научный и публицистический, стиль официальный или канцелярский и т. п. В пределах разговорного стиля можно различать непринужденный разговорный стиль городских жителей, разговорный стиль деревни, профессиональные жаргоны и т. п. Все эти стили имеют свои особенности и могут быть так или иначе использованы в рамках художественного произведения. Стилистические особенности могут проявляться в произношении, в выборе слов и выражений, в выборе синтаксических приемов. Вскрытие стилистических особенностей и приемов связано с выяснением стилистической окраски синонимических языковых приемов» (А. В. И с а ч е н к о, указ. соч., стр. 57—58). В этом рассуждении не может не удивить отнесение к стилям речи профессиональных жаргонов. В связи с этим наглядно выступает смешение лингвистической природы профессиональной терминологии с возможными стилистическими функциями ее использования «в рамках художественного произведения». Не менее странным кажется смешение диалектологических категорий с категориями стилистическими («разговорный стиль деревни»). Наконец, формы речи (книжная и разговорная) целиком отождествляются со стилями. В один ряд ставятся «стиль канцелярский», «стиль научный» и «стиль намеренно архаический» (в исторических романах), «стиль повествовательной прозы» и т. п.

затем пишет, что «ликвидация научного понятия языкового стиля... обозначает уничтожение основной стилистической категории»[1].

Кроме смешения и даже отождествления понятий «языковой стиль» («стиль языка») и «речевой стиль» («стиль речи»), часто наблюдается также наивное приравнение речевого стиля к «форме языка» и своеобразно понимаемой «разновидности языка» (например, устный и книжный «стили», диалогический и монологический «стили», «стили» просторечный и литературный и т. п.).

Все это говорит о том, что для стилистики чрезвычайно важно разобраться в структуре и сущности всех тех исторически развивающихся форм, типов и видов речи, дифференцированных соответственно областям общественной деятельности, целям и формам языкового общения, всех тех функциональных и жанровых разновидностей литературного языка, которые нередко называются «стилями языка» (а также иногда «стилями речи»).

*

Вопрос о формах или разновидностях речи и о различиях в строении речи, обусловленных целями высказывания, интересовал еще В. Гумбольдта. Он отмечал, что разные виды речи как поэтического, так и прозаического характера имеют «свои особенности в выборе выражений, в употреблении грамматических форм и синтаксических способов совокупления слов в речь»[2]. Он подчеркивал также необходимость разграничения понятий языка и речи. Рассматривая язык как деятельность, как творческий орган образования и выражения мысли и в идеалистическом духе истолковывая развитие языка, В. Гумбольдт писал: «В строгом и ближайшем смысле, это определение идет к каждому акту живой речи в повседневном употреблении языка; но в сущности и в истинном смысле, под языком можно также разуметь только как бы совокупность всего, что говорится. Что же обыкновенно называют языком, то в массе слов и правил, как представляют их словарь и грамматика, содержатся только отдельные стихии, производимые живою речью, и то всегда неполные по количеству и всегда требующие нового труда, чтобы узнать свойства происходящей из них речи и составить верное представление о живом языке. По разрозненным элементам нельзя узнать того, что есть высшего и тончайшего в языке: это делается понятным или ощутительным только в составе речи,— новое доказательство, что существо языка состоит в самом акте его воспроизведения. Живая речь есть первое и истинное состояние языка: этого никак не должно забывать при исследовании языков, если хотим войти в живое существо языка. Раздробление же на слова и правила есть мертвый продукт механической работы ученого анализа, а не естественное состояние языка»[3].

Раскрытие понятий языка и речи с точки зрения марксистской теории развития языка и марксистского понимания взаимоотношений языка и мышления чрезвычайно важно для стилистики. Недаром де-соссюровское идеалистически искаженное изображение сущности языка и соотношения языка и речи (langue и parole) повело ко многим печальным заблу-

---

[1] Р. Г. Пиотровский, О некоторых стилистических категориях, ВЯ, 1954, № 1, стр. 58. Ср. там же, стр. 59.

[2] В. Гумбольдт, О различии организмов человеческого языка и о влиянии этого различия на умственное развитие человеческого рода. Введение во всеобщее языкознание, перевод П. Билярского, СПб., 1859, стр. 218.

[3] Там же, стр. 40—41.

ждениям и в области стилистических исследований[1]. Интересные, хотя и не во всем убедительные взгляды на соотношение языка и речевой деятельности были развиты акад. Л. В. Щербой в его известной работе «О трояком аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании»[2]. Л. В. Щерба писал: «Языковая система и языковой материал — это лишь разные аспекты единственно данной в опыте речевой деятельности...» (стр. 115); «Все подлинно индивидуальное, не вытекающее из языковой системы, не заложенное в ней потенциально, не находя себе отклика и даже понимания, безвозвратно гибнет» (стр. 118); «То, что часто считается индивидуальными отличиями, на самом деле является групповыми отличиями, т. е. тоже социально обусловленными» (стр. 124) (можно прибавить: или отличиями функциональными, тоже коллективно закрепленными).

Не без воздействия акад. Л. В. Щербы проблема языка и речи обсуждалась проф. А. И. Смирницким[3]. Нельзя принять все то, что сказано по этому вопросу А. И. Смирницким, но кое-что из сказанного им направляет дальнейшее исследование в правильную сторону: «Язык... есть один из ингредиентов речи, притом важнейший...» (стр. 13); речь, базирующаяся на системе общенародного языка, «...включает в себя и индивидуальные, и общественные моменты, в отличие от де-соссюровской речи — parole, которая определяется как явление целиком индивидуальное» (стр. 15); «Язык оказывается тесно соединенным с речью не только потому, что он существует в ней и пронизывает ее насквозь, но и потому, что он, так сказать, питается ею, пополняется и развивается за счет создаваемых в ней произведений — от отдельных слов и их форм до целых предложений» (стр. 22).

Таким образом, возникает проблема лингвистического изучения своеобразных типических черт речевых «произведений», относящихся к той или иной сфере общественной деятельности и выполняющих те или иные коллективно закрепленные за ними функции, а также проблема исторических изменений системы языка в связи с изменениями в разных формах и стилях речи. Однако в изображении А. И. Смирницкого речь предстает недифференцированной — ни функционально, ни конструктивно. Между тем именно эта проблема должна лечь в основу исследования разновидностей речи, стилей речи (так же, как и стилей языка).

Описание форм и разновидностей речи всегда помещалось и в элементарных руководствах по практической стилистике, по «искусству речи» и т. п.[4]. Так, еще в книге А. Бэна (A. Bain, English composition and rhetoric, 4-th ed., 1877), переведенной на русский язык под заглавием «Стилистика и теория устной и письменной речи» (М., 1886), объем стилистики определяется исследованием следующих вопросов и задач: словесные образы и фигуры речи, свойства стиля, приемы и принципы его композиционной структуры (количество слов и порядок слов; способы сочетания предложений в логическое целое), различные виды форм речи и их функции.

---

[1] См. анализ взглядов Ж. Марузо на стиль и стилистику в кратком реферате: Zdz. Stieber, O sprecyzowanie pojęcia stylu, «Biuletyn polskiego towarzystwa językoznawczego», zesz. VIII, Kraków, 1948. Ср. также критику отрыва языка от речи в структуралистских концепциях в статье Е. Д. Панфилова «Против реакционной методологии современного структурализма» (сб. «Вопросы германской и романской филологии», Л., 1954).

[2] «Известия АН СССР», 1931, Отд-ние обществ. наук, № 1.

[3] См. его брошюру «Объективность существования языка» (М., 1954).

[4] Ср., например, главу «Hauptformen der Rede» в руководстве E. Lüttge «Die Kunst des Redens durch Wort und Schrift...» (Leipzig, 1927).

Вопрос о закономерностях развития форм речевого общения, функциональных разновидностей речи, видов и типов общественно-речевой деятельности, о характере и способах «обслуживания» языком разных проявлений духовной и материальной культуры народа в ее движении до сих пор не был еще предметом глубокого исторического изучения. Во всяком случае, мы еще не имеем истории какого-нибудь развитого языка, разработанной в этом плане.

*

При изучении форм речи прежде всего выступает глубокое различие между речью разговорной и речью письменной, с которыми чаще всего и связывается в самом общем плане название «стиля речи». Но это неправильно. Дифференциация речи по этим формам основана не на целеустремленном отборе форм, слов и конструкций, а на различиях в общественных условиях и в материальных средствах социального общения.

О нецелесообразности отожествления понятий «стиль речи» и «форма речи» справедливо писали А. И. Смирницкий и О. С. Ахманова: «Вряд ли можно думать, что дифференциация речи по ее формам (или тем более по характеру участия в ней данного лица) может быть поставлена в простую и прямую связь со стилями речи. Хотя общеизвестно, что исторически возникновение письменности и развитие литературной традиции имели важное значение для формирования, например, синтаксиса сложного предложения, в современных новых европейских языках (которые здесь конкретно и имеются в виду) тот или иной стиль речи все же не оказывается закрепленным за определенной ее формой. Современный роман, повесть, рассказ (не говоря уже о пьесе), естественно, дают нам в письменной форме то, что нередко именуется „разговорным“ стилем. Вместе с тем в устной форме речи, например, научного работника или дипломата, может быть представлен так называемый „письменный“ или „книжный“ стиль...»[1].

Разговорная форма речи отличается от письменно-книжной уже тем, что в ней интонации, мимика и жесты собеседников, бытовая ситуация играют огромную смысловую роль. Справедливо отмечались в связи с этим лексико-фразеологические особенности, синтаксические и интонационные своеобразия разговорной формы речи.

«Интонации, которыми неизменно окрашивается звучащая человеческая речь, превращают мысли, выраженные в словах, в живые картины воображаемой или реальной действительности... Нередко яркость голосовых интонаций бывает убедительнее самих слов и сокращает нам количество их в нашей беседе: говоря о ком-нибудь и стремясь изобразить его как очень старого человека, можно, не пуская в ход бесконечных описаний внешности его, сказать всего два слова: „старый-старый“, но окрасить их такой интонацией, которая ярче иных слов выразит дряхлость этого человека... Вся сложность, тонкость, все разнообразие чувств, внутренних переживаний, намерений и настроений имеет свое внешнее выражение в интонациях человеческого голоса... Жизнь породила неисчислимое интонационное богатство средств словесного общения людей»[2].

Богатство и разнообразие экспрессивно-смысловых оттенков интонаций разговорной речи у нас обычно остается за пределами лингвисти-

[1] А. И. Смирницкий и О. С. Ахманова, О лингвистических основах преподавания иностранных языков, «Ин. яз. в шк.», 1954, № 3, стр. 50.

[2] В. Топорков, О слове, «Советское искусство», 30 I 52.

ческого изучения. Однако ни теория художественной речи, ни теория сценического искусства не могли оставить их в таком же пренебрежении. «Актер — автор интонаций образа»[1]. Интонации сценической речи основаны на разговорно-речевой мелодике. Характерны такие признания и советы актеров: «Нужно быть наблюдательным по отношению к речи различных людей. В жизни нужно быть внимательным и к своим, и к чужим разговорам и потом свои наблюдения переносить на сцену»[2]. «Прислушиваясь к разговорам людей..., я следил, как переливается музыка тональностей, какие блистательные переходы рождают скачки одной мысли к другой, какими зигзагами идет речь, как много значит тональность конца фразы, какими красочными бисеринками сверкают акценты слов, характеризующих основную мысль периода. И до сих пор из такой манеры слушать людей (теперь я делаю это механически) я извлекаю богатый запас красок для своей актерско-речевой палитры»[3]. «Язык театра имеет свои законы, но основан-то он должен быть на верной русской интонации»[4].

Своеобразной чертой разговорной речи, типичной для нее и резко отличающей ее от речи книжной, является ее коллективно-драматический характер, активное участие в ней нескольких, по крайней мере двух человек, непрерывность совместного действия. Ведь «слушать так же важно, как говорить»[5].

Ю. М. Юрьев в своих «Записках» вспоминает об интересном суждении знаменитой артистки Г. Н. Федотовой, относящемся к бытовой разговорно-диалогической речи: «Если вы понаблюдаете и прислушаетесь, как говорят в жизни, то обратите внимание, что все обыкновенно как-то невольно попадают в тон друг другу, не очень диссонируют. Мы, если хотите, в жизни тоже своего рода композиторы. Музыкальность в нас врожденная, — по крайней мере в речи. Разнобой бывает только тогда, когда это нужно по ходу действия, как это иногда случается и в жизни»[6].

Очень важной особенностью разговорной речи является также то, что в ней, в зависимости от ситуации, от намерений и цели говорящего, от его экспрессии, предметные значения слов могут стать средством выражения эмоционального смысла: прямые лексические значения слов перестают формировать и определять внутреннее содержание речи. «Предположим, человек говорит: „Добрый день! Как живете?“ Означают ли эти слова всегда приветствие? Разве не могут быть обстоятельства, когда эти слова могут быть произносимы с желанием оскорбить, унизить, т. е. желание человека, произносящего эти слова, противоречит их первоначальному смыслу?»[7]; «Под вопросом: „который час?“ могут лежать, например, такие мысли: „что же вы опаздываете?“, или: „что же вы не уходите?“, или: „боже мой, какая скука!“, или: „я, кажется, опоздал!“ и т. д. и т. д. Соответственно различным мыслям... будут различаться между собой как интонации, так и жесты»[8].

Художественно-характерологическое использование этих качеств разговорной речи лежит в основе построения диалогов в рассказе, повести, романе,

---

[1] С. Бирман, Словесные действия, «Театр», 1951, № 2, стр. 81.

[2] В. Н. Рыжова [Творческая беседа с молодежью], в кн.: «Творческие беседы мастеров театра», IV—V—VI, Л.— М., 1938, стр. 38.

[3] Н. М. Радин, Автобиография. См. в кн. С. Дурылина «Н. М. Радин», М.— Л., 1941, стр. 73.

[4] В. Н. Давыдов, Рассказ о прошлом, М.— Л., 1931, стр. 345.

[5] В. Пашенная, Моя работа над ролью, М., 1934, стр. 21. Ср. также В. Топорков, Актер в ансамбле, «Театр», 1952, № 4, стр. 75—76.

[6] Ю. Юрьев, Записки, Л.— М., 1948, стр. 191.

[7] С. Г. Бирман, Актер и образ, М., 1934, стр. 6.

[8] Б. Захава, Вахтангов и его студия, М., 1930, стр. 59.

а также в основе построения форм сценического воспроизведения речи. В терминологии сценического искусства есть специальный термин — «подтекст», которым обозначается внутреннее содержание, влагаемое исполнителями в драматургический текст, индивидуально-смысловая основа этого текста. Об этом так писал К. С. Станиславский: «Что такое подтекст? ... Это явная, внутренне ощущаемая „жизнь человеческого духа“ роли, которая непрерывно течет под словами текста, все время оправдывая и оживляя их. В подтексте заключены многочисленные, разнообразные внутренние линии роли и пьесы... Подтекст — это то, что заставляет нас говорить слова роли. Все эти линии замысловато сплетены между собою, точно отдельные нити жгута, и тянутся сквозь всю пьесу по направлению к конечной сверхзадаче»[1].

Знание и понимание этих свойств разговорной речи чрезвычайно важно для исследования структуры диалога, для изучения стиля драматической речи и стилей речи сценической. Разграничение форм разговорной и книжной речи важно также для изучения таких композиционно-речевых видов общения, как диалог и монолог в их сложных и многообразных комбинациях, переплетениях и взаимодействиях. Но самый строй диалогической речи во многом зависит от состояния и качества народно-разговорного языка, от его отношения к языку литературному. Характер этого отношения социально-исторически обусловлен. Вместе с тем он качественно и функционально неоднороден в периоды развития языка народности и языка нации.

Типы взаимодействия между формами народно-разговорной и литературно-книжной речи определяют состав и соотношение функциональных разновидностей языка той или иной эпохи. Если функции языка литературы, языка культа и государственного делопроизводства выполняет чужой язык или какой-нибудь международный язык цивилизации (как, например, латинский язык в средневековой Польше), то состав разновидностей общей народно-разговорной речи, естественно, сужен и сферы их действия ограничены, хотя и не вполне разграничены. При традиционности речевого обихода едва ли в это время существуют прочно осознанные и строго регулируемые коллективом общенародные нормы отдельных форм и разновидностей речи.

Само собою разумеется, что гораздо более сложным и функционально дифференцированным оказывается взаимодействие форм разговорной и книжной речи, когда они складываются и развиваются на базе одного и того же языка или близко родственных языков, как это было в древней Руси. Тут можно говорить о развитии соотносительных, функционально разграниченных типов литературного языка (например, делового, литературно-художественного и церковно-книжного), которые отличались друг от друга не только лексикой и фразеологией, но и грамматическими и даже фонетическими особенностями. Однако едва ли к этим типам и разновидностям, например, древнерусского литературного языка XI—XIII вв. применим термин «стили языка». Дело в том, что эти типы не умещаются в рамках структуры народного восточнославянского языка (или языка восточнославянской народности). Церковно-книжный тип древнерусского литературного языка, обслуживавший области культа, науки и отчасти исторической и религиозной беллетристики, и по использованию слов основного словарного фонда, и по не-

[1] К. С. Станиславский, Работа актера над собой, М., 1951, стр. 492. Ср. также: Н. Горчаков, Беседы о режиссуре, М. — Л., 1941, стр. 139; [Е. Б.] Вахтангов, Записки. Письма. Статьи, М.— Л., 1939, стр. 308; С. Бирман, Труд актера, М.— Л., 1939, стр. 68. См. также «Слово на сцене и эстраде. (Методическая хрестоматия)», сост. Э. Лойтер, М., 1954.

которым особенностям грамматических форм и конструкций выходил за пределы структуры языка восточнославянской народности. Вместе с тем влияние этого типа литературного языка не могло не сказываться в большей или меньшей степени и на литературно-художественном типе языка, а кое в чем и на деловом. Понятие же «стилей языка» предполагает, что соответствующие соотносительные системы словесного выражения, организованные сообразно их общественному назначению, их функциям в речевой культуре народа, базируются на элементах — фонетических, грамматических и лексических — единого общенародного языка, на его вариантных формах. Следовательно, образование «стилей языка» связано с большей внутренней, структурной слитностью литературного языка, оно осуществляется или может происходить в период более глубокого и тесного сближения литературного языка с языком народным, когда функциональные разновидности литературного языка, сопоставленные друг с другом или противопоставленные друг другу, прямо или косвенно—путем семантических соотношений или синонимического параллелизма — ориентируются на основной словарный фонд и грамматический строй общенародного языка. В истории русского языка эти процессы относятся к позднему периоду развития языка русской (великорусской) народности — не ранее XVI в., особенно его второй половины. Именно к этому времени восходят истоки процесса формирования системы трех стилей русского литературного языка, развившейся в XVII в. и в первые две трети XVIII в., системы, нашедшей глубокое обобщение в трудах М. В. Ломоносова. Осознание исторической важности этой системы как переходного этапа к образованию единой общенациональной языковой нормы определило стилистические тенденции и правила «Российской грамматики» и «Риторики» великого Ломоносова.

Создание нормативной грамматики русского языка, охватывающей звуковой и морфологический строй русского национального языка, а также закономерности сочетания слов со ссылками на различия в стилях, было крупным шагом на пути формирования единой общенациональной нормы литературного выражения[1]. Образование такой нормы связано с ликвидацией старой системы трех стилей. Стиль одного и того же произведения теперь может совмещать в себе самые разнообразные формы речи, прежде разобщенные и разделенные по трем стилям. Попадая в новую речевую обстановку, вступая в новые связи, старые языковые средства приобретают иной смысл и иные стилистические функции. Естественно, что при наличии твердой общей нормы национально-языкового выражения могли свободно развиваться многообразные социально-функциональные и индивидуально-художественные стили речи. Белинский констатировал это новое качество русской литературно-художественной речи, возникшее в связи с пушкинской реформой стилистики русского литературного языка. По словам Белинского, в русской художественной литературе теперь «...слогов не три, а столько, сколько на свете даровитых писателей. И потом: что за пустая манера разделять сочинения на роды по внешней форме и определять, к какому роду сочинений какой приличен слог? Вы были свидетелем наводнения, разрушившего город: в вашей воле описать его в форме письма, или в форме простого рассказа. Слог вашего описания будет зависеть от характера впечатления, которое произвело на вас это событие»[2]. Вместо трех стилей языка посте-

[1] Ср. замечания Антонио Грамши о значении нормативной грамматики для развития общности языка в его работе «Letteratura e vita nazionale» (см. ВЯ, 1954, № 5, стр. 125).

[2] В. Г. Белинский, Полное собр. соч. под ред. С. А. Венгерова, т. IX, СПб., 1910, стр. 159—160.

пенно складывается функциональное многообразие разных стилей речи. Прежде такого рода частные функционально-речевые стили могли развиваться и вращаться только в границах каждого из трех общих „стилей языка“ (об этом писал еще Ломоносов в своих черновых набросках); в пушкинскую же и послепушкинскую пору стили речи получают обобщенное значение и создаются, развиваются на базе единой общенациональной языковой системы.

Таким образом, пушкинская стилистическая реформа открыла возможности интенсивного творческого развития индивидуально-художественных и общественно-функциональных стилей русской литературной речи как целесообразных способов отбора и комбинирования различных языковых элементов в зависимости от сфер общественной деятельности, от общности цели, назначения и содержания речи. Эта общность создает условия для более или менее четкой нормализации выбора языковых средств в разных стилях речи.

В истории русского литературного языка XIX в. весьма ощутительно выступают различия в нормах отбора и употребления языковых элементов между такими, например, стилями речи, как официально-риторический, обиходно-деловой, критико-публицистический с его «ораторскими» *вариациями*, *научно-технический* и беллетристический.

Само собой разумеется, что при наличии общих тенденций построения какого-нибудь стиля речи, обусловленных основной функциональной направленностью его (например, в научном стиле — задачей терминологического обозначения соответствующих понятий и явлений и логически обобщающей системой последовательного изложения, в критико-публицистическом—задачей социально-политического воздействия на слушателя),— в пределах этого стиля вместе с тем наблюдается значительная индивидуализация конкретных форм выражения[1]. Вместе с тем разные функциональные стили речи находятся в живом соотношении и взаимодействии. И все же целесообразно организованный отбор языковых средств, обусловленный взаимодействием разнообразных факторов, приводит к более или менее выдержанному, типовому или типическому единству в характере, в системе их сочетания и функционального использования, т. е. к тому, что обычно называется стилем речи (или недифференцированно — «стилем языка»). Качественная определенность такого типового стиля зависит от более или менее устойчивой и единообразной организации речевого материала[2].

Порожденные историческим развитием языка и поддерживаемые целесообразностью разграничения разных видов общения, стили речи в то же время находятся в непрестанном взаимодействии. Разнообразные стиловые тенденции нередко перекрещиваются между собой. Национально-литературный язык, будучи по своей структуре внутренне цельным и единым для всего общества, вместе с тем становится основой сложной и многогранной системы переплетающихся и взаимодействующих, исторически изменяющихся стилей речи.

Область действия и применения, функциональная концентрированность стилей речи могут быть очень различны. Правильно отмечалось, что, например, стиль публицистики обладает очень широким диапазоном «...в отношении тех жизненных сфер, которые им затрагиваются, в отношении тех коммуникативных форм речи, которые могут в нем фигурировать, в отношении тех оттенков эмоциональной окраски, которыми

[1] См. об этом ряд интересных замечаний в статье В. Г. Адмони и Т. И. Сильман, «Отбор языковых средств и вопросы стиля» (ВЯ, 1954, № 4).

[2] Ср. Г. В. Степанов, О художественном и научном стилях речи, ВЯ, 1954, № 4, стр. 89.

он может быть насыщен, и т. д.»[1]. Но при такой широте вариаций публицистического стиля речи нельзя отрицать наличия в них общей целенаправленности и общих принципов в использовании разнообразных языковых средств.

Однако своеобразия функционирования языка в той или иной сфере общения далеко не всегда приводят к образованию особого, более или менее устойчивого стиля речи. Чаще всего такие своеобразия выступают в подборе лексики. Между тем понятие стиля речи, а тем более стиля языка связано с понятием нормы отбора и с понятием внутреннего единства (или «системности», как иногда говорят), взаимосвязанности и взаимообусловленности приемов организации речевого материала.

Таким образом, понятия «стиля языка» и «стиля речи» — категории исторические. Их нельзя смешивать с понятиями «тип языка» и «форма речи». Однако до сих пор еще нет ясной и точной дифференциации этих понятий. Разграничение языка и речи и выяснение закономерностей исторического развития литературного языка, а также его отношений и связей с народно-разговорным языком в разные периоды истории народа должны содействовать конкретно-историческим исследованиям по стилистике отдельных национальных языков и обобщениям в области нормативной стилистики.

Стилевая структура литературных языков различна в разные эпохи их исторического развития. В разных системах языка не все стили равноценны. Они различаются по своим экспрессивным качествам, по сферам их употребления, по своей общественной функции, по своему семантическому объему и своему строению, по роли в истории культуры народа.

При всем различии конкретно-исторических условий развития стилей в том или ином языке и при глубоких своеобразиях систем стилей в разных языках, повидимому, есть нечто общее в процессах стилистической дифференциации литературных языков в периоды национального их развития. Так, П. И. Шеманаев в статье «К вопросу о стилях японского литературного языка» утверждает, что «...в новом национальном литературном языке японцы унаследовали все свое прошлое языковое богатство, развив его соответственно новым требованиям исторической эпохи. Это произошло путем отбора из разных диалектных и стилевых форм языка наиболее жизнеспособных, наиболее рациональных элементов, отбора, получившегося в результате борьбы этих диалектных и стилевых форм»[2]. В литературном (книжном) японском языке конца XIX в. исследователями отмечается, например, система шести стилей («стиль буквального перевода с китайского», «стиль изящно-простонародный», «стиль японо-китайский», «стиль ложноклассический», «стиль японо-европейский», «стиль единства разговорного и письменного языка»). Эти «...стили были неравноценны ни по своему употреблению, ни по своей системе средств выражения... Ведущая роль того или другого стиля определялась, с одной стороны, значением той сферы социального общения, которую он обслуживал, с другой — исторически сложившейся системой средств выражения и близостью к народно-разговорному языку общества»[3].

«Стиль единства разговорного и письменного языка» «перерос в новый литературный язык не в отрыве от старого литературного языка, а в результате сложного синтеза жизнеспособных элементов старых языковых стилей на базе живого разговорного языка. Таким образом,

---

[1] В. Г. Адмони и Т. И. Сильман, указ. соч., стр. 99.
[2] «Труды Военного ин-та иностр. языков», № 5, М., 1954, стр. 98.
[3] Там же, стр. 99.

с одной стороны, новый японский литературный язык развивался в борьбе со старым литературным языком, с другой — черпал из него нужные языковые средства. В этом, казалось бы, противоречивом процессе — ключ к пониманию развития нового литературного языка с его новым распределением выразительных средств по стилям»[1].

*

Среди стилей литературной речи совершенно особое место занимает система стилей художественной литературы. В художественной литературе общенародный национальный язык со всем своим грамматическим своеобразием, со всем богатством своего словарного состава и со всем разнообразием экспрессивных оттенков, со всей совокупностью присущих ему стилей речи используется как средство и как форма художественного творчества. Иначе говоря, все элементы, все качества и особенности общенародного языка, в том числе и его грамматический строй, его словарь, система его значений, его стилистика, все разнообразие возникающих на его базе форм и разновидностей речи — все это служит средством художественно обобщенного, типизированного воспроизведения действительности. В разных аспектах могут и должны изучаться качественные своеобразия художественной речи вообще и конкретно-исторические свойства речи литературно-художественных произведений того или иного времени.

Теория художественной речи является одним из важных отделов стилистики. В художественной речи исключительная роль принадлежит эмоционально-чувственной стороне языка, системе эмоционально-чувственных образов[2].

Изучая те стилистические приемы, которые играют организующую роль в системе средств художественного воздействия, теория художественной речи тесно связывает их с структурными свойствами соответствующего общенародного языка и с закономерностями его исторического развития. Формы индивидуального словесно-художественного творчества дают возможность вскрыть и наглядно представить стилистико-грамматические и лексические богатства и возможности общенародной речи.

Стилистика индивидуального словесно-художественного творчества в идеалистических концепциях языка иногда признается источником и базой развития языка как системы. Так, по мнению К. Фосслера, научно целесообразен лишь переход от поэтической стилистики к синтаксису и словарю общенародного языка, а никак не обратно: личность, оторванная от народа и исторической среды, объявляется основным двигателем и творцом истории языка, а индивидуально-художественная речь — квинтэссенцией языка как творчества, его ядром и организующим центром.

Согласно представлениям современных неолингвистов, воля и воображение творящей индивидуальности управляют языком; создание и распространение языковых новообразований, с точки зрения неолингвистов, совершенно сходны с созданием и распространением женских мод: они основаны на индивидуальном эстетическом вкусе[3].

На этом фоне и в этих условиях разработка теории художественной речи на основе марксистского понимания языка и законов его развития и на основе марксистского понимания стилистики и ее категорий, на ос-

[1] «Труды Военного ин-та иностр. языков», № 5, стр. 110.
[2] См. Г. В. Степанов, указ. соч., стр. 94.
[3] См. Giuliano Bonfante, The neolinguistic position, «Language», 1947, № 4, стр. 347.

нове марксистской эстетики слова становится одной из самых актуальных задач марксистского языкознания[1].

В тесной связи с разработкой проблем изучения художественной речи должно вестись исследование языка художественной литературы, или, как иногда говорят, «литературно-художественного стиля». Речевое творчество, его законы и правила, возможности и направления ярче всего выражаются и отражаются в великих произведениях словесного искусства[2].

Во время дискуссии по стилистике у нас не обнаружилось согласия и единства в понимании сущности «языка» художественной литературы и его места в системе стилей литературной речи. Одни ставят «стиль художественной литературы» в параллель с другими стилистическими разновидностями литературной речи (со стилем научным, публицистическим, официально-деловым и т. п.), в один ряд с ними, другие считают его явлением иного, более сложного порядка (ср., с одной стороны, взгляды А. Н. Гвоздева, Р. А. Будагова, А. И. Ефимова, Э. Ризель и др., с другой стороны — взгляды И. Р. Гальперина и Г. В. Степанова и, наконец, взгляды В. Д. Левина).

В сущности, «язык» художественной литературы, развиваясь в историческом «контексте» литературного языка народа и в тесной связи с ним, в то же время как бы является его концентрированным выражением. Поэтому понятие «стиля» в применении к языку художественной литературы наполняется иным содержанием, чем, например, в отношении стилей делового или канцелярского и даже стилей публицистического и научного[3].

Язык национальной художественной литературы не вполне соотносителен с другими стилями, типами или разновидностями книжно-литературной и народно-разговорной речи. Он использует их, включает их в себя, но в своеобразных комбинациях и в функционально преобразованном виде. Он развивается на основе целесообразного, эстетически оправданного использования всех речевых разветвлений национального языка, всех его выразительных средств. Конечно, можно изучать приемы и принципы употребления и комбинирования языковых элементов в художественной литературе. Такое исследование не может и не должно быть оторвано от соответствующего изучения других стилей литературной речи. Несомненно также, что некоторые специфические черты стилей художественной литературы отчасти познаются и при таком исследовании. Кроме того, тут уясняется не только связь языка художественной литературы с общенародным языком, с разными стилями речи, но и его воздействие, его влияние на них. Однако возможности и результаты такого исследования стилистики художественной литературы несколько ограничены. Ведь в области стилистики литературно-художественной речи выступают свои специфические композиционные и стилистические категории, а также исторически изменяющиеся жанровые критерии разграничения словесно-художественных систем. Правда, отчетливая стилистическая очерченность разных литературных жанров и прикрепленность их к строго определенным формам словесного выражения, к «стилям языка» характерны

---

[1] См. краткое изложение дискуссии в Чехословакии по вопросу о стиле, о стилистике и задачах стилистических исследований на основе марксистской теории языка и мышления в журнале «Slavia» (roč. XXII, seš. 2—3, 1953).

[2] См. мою статью «Насущные задачи советского литературоведения» (сб. «Вопросы литературоведения в свете трудов И. В. Сталина по языкознанию», М., 1951, стр. 9).

[3] См. очень интересный обзор противоречий и спорных положений в понимании стилистики и постановку проблем изучения стилей художественной литературы в статье Марии Ренаты Майеновой (M. R. Mayenowa, Propozycje stylistyczne na marginesie radzieckiej dyskusji językoznawczej po artykułach Józefa Stalina, «Pamiętnik literacki», roczn. XLV, zesz. 1, Warszawa — Wrocław, 1954).

не для всех периодов развития литературы того или иного народа. Вместе с тем понимание своеобразий художественного словоупотребления и словосочетания, художественного комбинирования разных экспрессивных форм речи во многом зависит от анализа экспрессивно-смысловой и композиционной структуры литературного произведения как речевого целого[1]. «Каждое слово в поэтическом произведении, — писал В. Г. Белинский, — должно до того исчерпывать все значение требуемого мыслью целого произведения, чтоб видно было, что нет в языке другого слова, которое тут могло бы заменить его»[2].

С другой стороны, при изучении стилистики художественной литературы необходимо учитывать исторические линии развития и распространение в ней тех или иных словесно-художественных направлений и школ, тех или иных индивидуальных стилей[3].

Основным в лингвистическом изучении художественной литературы *является понятие индивидуального стиля* как своеобразной, исторически обусловленной, сложной, но структурно единой системы средств и форм словесного выражения. В стиле писателя, соответственно его художественным замыслам, объединены, внутренне связаны и эстетически оправданы использованные художником общенародные языковые средства. Проблема индивидуального стиля писателя — предмет не только языковедческого, но и литературоведческого изучения. Стиль как категория искусства в марксистском его понимании не может считаться вполне уясненным в советском литературоведении. Языковед и литературовед идут разными путями к решению вопросов индивидуально-художественного стиля. Но круг тех понятий и категорий, с которыми сталкивается языковед при изучении индивидуального стиля писателя, далеко выходит за пределы категорий функционально-речевой стилистики. Так, в художественном произведении формы разговорной речи воспринимаются и осмысляются не только в плане их содержания и построения, в плане объективно-историческом, но и в плане субъективном, в отношении к говорящему лицу, с точки зрения социальной характерологии. Важно, кто, какой социальный субъект выражает себя в тех или иных формах разговорной речи, с какими национальными различиями харак-

---

[1] См. мою статью «Язык художественного произведения» (ВЯ, 1954, № 5). Ср.: «Понятие художественности предполагает разнохарактерность и пластичность языкового выражения. Язык диалога или внутреннего разговора; язык в минуты спокойного раздумья или тревоги; язык воспоминаний или счастливой мечты — как все это различно, характерно как в отборе слов, так и в степени живописности! Язык пейзажа, особенно лирического пейзажа, где краски природы проникнуты настроениями героев произведения или авторским подтекстом. Язык описательный, который служит разным целям: историческим обобщениям, пояснениям хронологического или иного порядка, прямому авторскому вмешательству, так сказать, от себя, в развитие повествования, характеристике героя... Какое языковое разнообразие представляет собой каждое полноценное художественное произведение!..» (А. Караваева, Идейность и мастерство, «Октябрь», 1954, № 9, стр. 143).

[2] В. Г. Белинский, Полное собр. соч., т. VI, СПб., 1903, стр. 61 (статья «Стихотворения М. Лермонтова»).

[3] Н. А. Добролюбов, сопоставляя стиль В. А. Соллогуба со стилем Марлинского, писал: «Не правда ли, что эти отрывки очень схожи? Фигуры нарушения, повторения, единоначатия и т. п. украшения риторики щедро рассыпаны в том и другом. Прием и манера решительно те же. Весь секрет состоит, главное, в подборе эпитетов почти синонимических, в уместном повторении некоторых *глаголов* и в искусном избежании союза *и*, который, как известно, *связывает* речь. Красноречивые описания, чтобы не лишиться своей свободы, большею частью вовсе не употребляют его, а если и употребляют, то не иначе, как с повторением — попарно. Необходимо также при этом обращать внимание и на звучность фразы» (Н. А. Добролюбов, Полное собр. соч., т. I, ГИХЛ, 1934, стр. 166—167). Такова, по Добролюбову, техника и механика романтического стиля у писателей, подобных Марлинскому и его эпигонам.

теров связаны те или иные своеобразия и черты стиля драмы, те или иные особенности бытового разговора[1].

К. С. Станиславский учил: «Язык, которым говорит человек, — это ключ к его характеру. Язык, слово, слова являются поводом к конфликтам, к борьбе, к действию. Язык — это и средство воплощения всех замыслов писателя и могучее средство сценической выразительности»[2].

Таким образом, стили речи в художественном произведении преобразуются; своеобразно сочетаясь и объединяясь, они отражаются и выражаются в стиле личности, в стиле персонажей и в стиле автора. Об этом так писал В. Г. Белинский в 1841 г. в статье «Герой нашего времени»: «Под „слогом" мы разумеем непосредственное ...уменье писателя употреблять слова в их настоящем значении, выражаясь сжато, высказывать много, быть кратким в многословии и плодовитым в краткости, тесно сливать идею с формою и на все налагать оригинальную, самобытную печать своей личности, своего духа»[3].

Дискуссия по вопросам стилистики дала меньше обобщений и выводов, меньше достоверных результатов и доказанных положений, чем предположений и вопросов. Это значит, что, несмотря на ее односторонний и несколько абстрактный характер, несмотря на недостаточную четкость и определенность постановки вопроса о «стилях языка» и «стилях речи», дискуссия будит мысль, порождает новые проблемы, открывает новые стороны в привычных и как бы установившихся (а иногда и остановившихся) понятиях и толкает на поиски новых путей в разрешении основных вопросов стилистики. Необходимы обстоятельные стилистические исследования в области грамматики, лексикологии, семасиологии отдельных национальных языков, конкретные работы по историческому изучению форм речи, типов языка и стилей в разных литературных языках. Необходимы обобщающие труды по стилистике национальных художественных литератур, углубленный анализ стиля художественных произведений разных жанров. Необходимо уточнить стилистическую терминологию, ясно определить место и границы стилистики в общей системе марксистского языкознания.

---

[1] Ср. интересные замечания народного артиста СССР К. Скоробогатова об индивидуальных качествах диалогической речи персонажей пьесы Ю. Яновского «Дочь прокурора»: «Главное действующее лицо пьесы — прокурор Нил Никитич Чуйко. Казалось бы, уже самая его профессия требует того, чтобы он хорошо владел словом. Как же прокурор разговаривает в пьесе? Едва появившись на сцене и сев за обеденный стол, Чуйко спрашивает у брата: „А себе не того... Не налил?" Не правда ли, странная манера изъясняться? Но, может быть, этот, мягко говоря, неинтеллигентный оборот речи является сознательной шуткой? Ничего подобного! Через несколько секунд Чуйко, отвечая на вопрос дочери, говорит: „Чувствуется, что парень скрывает существенные моменты. Запуган шайкой, как говорится, до предела... А мы, ясное дело, не верим!" Что это? Это же речь малограмотного человека! Но дело не только в этой глубоко неверной речевой манере. Дело и в существе того, что говорит герой. Когда жена Чуйко, требуя от него денег, аргументирует свое вымогательство тем, что „другие прокуроры как сыр в масле катаются", Чуйко реагирует совершенно необъяснимым образом. Он говорит: „Какая обывательская сплетня! Ты явно стареешь, моя дорогая!"— и только!» («Советская культура» 7 VIII 54).

[2] См. Н. Горчаков, Работа К. С. Станиславского над советской пьесой, сб. «Вопросы режиссуры», М., 1954, стр. 88. Ср. также Ф. Гладков, О правильном и точном словоупотреблении в литературной речи [письмо в редакцию], «Октябрь», 1954, № 9, стр. 191.

[3] В. Г. Белинский, Соч., ч. V, 4-е изд., М., 1885, стр. 336—337.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1955

ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ШКОЛА

ОТ РЕДАКЦИИ

(К обсуждению курса «Современный русский литературный язык» в высшей школе)

В системе лингвистического образования курс современного русского литературного языка играет исключительно важную роль. Введенный в учебные планы высших учебных заведений после Великой Октябрьской социалистической революции, курс этот читается на филологических факультетах университетов и пединститутов — во всех национальных республиках Советского Союза. Создание курса «Современный русский литературный язык», включение его в цикл дисциплин, обязательных при подготовке языковедов разных профилей, — несомненное достижение нашей высшей школы.

За истекшие десятилетия накопился большой опыт в преподавании этого курса, сложились определенные традиции. К сожалению, опыт этот не изучен и не обобщен. В то же время приходится признать, что постановка курса «Современный русский литературный язык» далеко не отвечает — и в теоретическом плане, и в плане методически-организационном — тем высоким требованиям, которые предъявляются к подготовке специалистов в нашу эпоху.

Широкое общественное обсуждение теоретических и организационных вопросов, связанных с преподаванием курса «Современный русский литературный язык», стало настоятельной необходимостью. Поэтому редакционная коллегия решила организовать такое обсуждение на страницах ближайших номеров журнала.

*

Основная и самая общая задача курса для всех типов вузов одна: выработка точных и глубоких знаний о современном русском литературном языке как об исторически сложившейся и развивающейся системе, все стороны которой находятся в постоянном и сложном взаимодействии. Независимо от того, является ли русский язык для слушателей родным языком или «вторым родным языком», как это имеет место в вузах наших национальных республик, указанная задача остается неизменной. Однако профиль специалиста, которого готовит вуз, определяет и другие задачи курса, не снимающие основной. Так, например, в педагогических институтах необходимо выдвинуть на первый план нормативную сторону курса; университетский курс глубже знакомит студентов с проблемами науки о современном русском языке; в национальных вузах к этим задачам присоединяется задача сопоставительного анализа фактов русского и данного национального языка. Определяя задачи курса в вузах разного типа, следует, очевидно, конкретизировать эти различия.

Значение курса «Современный русский литературный язык» в русских и нерусских вузах различно. В русских вузах — и в университетах, и в педагогических институтах — этот курс имеет большое познавательно-методологическое значение. Он не только сообщает определенный комплекс знаний о русском языке, но учит студентов наблюдать языковые факты, вооружает их методом лингвистического анализа, умением обобщать и систематизировать эти факты. Пользуясь наиболее близким для студентов материалом — материалом их родного языка, преподаватель должен показать применение марксистского диалектического метода к изучению языка как одного из самых важных общественных явлений.

В национальных вузах курс современного русского литературного языка не играет такой роли: названные задачи осуществляются при изучении родного языка. Но сопоставительный анализ языковых явлений, без которого не может строиться курс русского языка в национальных вузах, способствует не только расширению круга лингвистических знаний студентов, но и приобретению навыков изучения языка другой семьи, другой структуры. Нельзя забывать и о той помощи, которую может оказать теоретический курс «Современный русский литературный язык» практическому овладению этим языком. Своеобразно конкретизируются задачи курса на отделениях славянском, романском и других языков в русских университетах и институтах иностранных языков.

*

Чрезвычайно важен вопрос о месте курса «Современный русский литературный язык» среди других лингвистических дисциплин, о его отношении к этим дисциплинам. Следует ли этот курс читать до других языковедческих курсов или можно его сделать завершающим в системе лингвистического образования, т. е. читать после курсов «Введение в языкознание», «Историческая грамматика» и «История русского литературного языка». В последнем случае станет излишним многое из того материала, который включается в действующую программу курса. Так, например, в разделе «Лексика» ряд положений будет уже известен студентам из курса «Введение в языкознание» (определение понятия слова, состав лексики, понятия об омонимах, синонимах, антонимах и т. д.); сведения об «исторических пластах» русской лексики (старославянизмы, заимствования из других языков) будут сообщены в соответствующих курсах по истории языка. Но если «Современный русский литературный язык» открывает собою цикл читаемых в вузе языковедческих дисциплин, часть общих понятий лексикологии (понятие о слове, о значениях слова и т. п.) должна найти в этом курсе свое отражение и разъяснение.

В зависимости от места курса в учебном плане меняется характер его связи с другими лингвистическими дисциплинами.

Программы всех лингвистических курсов нужно рассматривать как части единого комплекса не только для того, чтобы избежать повторения материала, но и для того, чтобы в самом отборе материала и методах его преподнесения могла быть отражена связь этих курсов друг с другом.

В педагогических институтах курс «Современный русский литературный язык» является центральным; курс «Введение в языкознание» служит как бы методологическим вступлением к курсу современного русского языка; курсы исторической грамматики и истории русского литературного языка помогают более глубокому пониманию законов развития современного русского языка.

Университет готовит специалистов более широкого профиля, поэтому каждый лингвистический курс имеет самодовлеющее значение.

В национальных вузах изучение современного русского языка может быть построено только на базе «Введения в языкознание» и курса родного языка.

Во всех трех случаях характер связи между курсами своеобразен, и для каждого типа вуза он неизбежно должен быть отражен в структуре и содержании курса «Современный русский литературный язык».

*

Курс современного русского литературного языка и в университетах, и в педагогических институтах должен быть историчным. Историзм в данном курсе нельзя понимать как использование исторических справок в случаях, когда они требуются для объяснения каких-либо явлений современного языка. Всю систему современного русского языка нужно рассматривать как находящуюся в постоянном развитии. Нужно определить тенденцию этого развития, показать явления отмирающие и утверждающиеся, продуктивные и непродуктивные (например, продуктивные и непродуктивные суффиксы, продуктивные и непродуктивные типы словосочетаний, линию развития видо-временной системы русского глагола и т. д.). Это требует тщательного пересмотра всего материала курса.

В науке о русском языке много больших проблем и еще больше частных вопросов, по которым нет единого мнения (например, проблема «объема» морфологии, проблема второстепенных членов предложения, вопрос о категории состояния, о границах составного сказуемого и т. д.). Перед читающим курс встает затруднение: высказать ли по тому или иному вопросу свою точку зрения, сообщить ли студентам мнение какого-либо авторитетного ученого или, раскрыв проблему, охарактеризовать различные, часто противоречивые взгляды.

В преподавательской практике характеристика проблемы иногда сводится к подбору цитат, вырванных из книг разных ученых. Такие высказывания, изолированные от всей концепции лингвиста или лингвистической школы, не помогут студенту разобраться в проблеме. Оканчивающие филологические факультеты и факультеты языка и литературы должны знать, что́ в науке о языке является общепризнанным и что́ находится в процессе изучения. Нельзя дискуссионные положения представлять как бесспорные.

*

В соответствии с задачами курса «Современный русский литературный язык» определяются его содержание, программа. Естественно, что состояние науки о русском языке непосредственно отражается на материалах, включаемых в курс, и на его программе: многие недостатки программы обусловлены неразработанностью ряда научных проблем, отсутствием хорошо аргументированных и общепризнанных положений и выводов.

Так, еще недостаточно четко очерчены самые границы современного русского литературного языка, научно не определено это понятие; далеко не полно вскрыты и охарактеризованы связи, тесное взаимодействие отдельных сторон языка, образующих свои системы (звуковая система, система словаря и фразеологии, система словообразования, система частей речи и их форм, система синтаксических конструкций); до сих пор у нас нет научного описания системы лексики современного русского языка; не изучена достаточно и его фразеология; остается не разрешенным до конца вопрос об «объеме» морфологии, о классификации частей речи, о глубокой внутренней связи всех грамматических кате-

горий в системе данной части речи и — шире — в системе частей речи вообще; делаются только первые шаги в создании теории словосочетаний; не может удовлетворить традиционная схема второстепенных членов предложения, в основном сохраненная в «Синтаксисе современного русского языка», изданном Институтом языкознания АН СССР, и пока нет материала для радикальной перестройки этой схемы; остается не раскрытым и не описанным взаимодействие таких двух основных синтаксических единиц, как словосочетание и предложение; нуждаются в углубленном исследовании разные типы сложного предложения в современном русском языке и т. д.

Здесь приведены только некоторые из тех важнейших проблем, на разрешение которых должны быть направлены коллективные усилия советских языковедов, ориентирована научно-исследовательская работа лингвистических кафедр.

Но при построении программы курса нельзя не учитывать серьезных успехов, достигнутых советским языкознанием в области изучения фонетики, лексики, грамматического строя современного русского языка. Действующие программы не используют всех бесспорных результатов научных исследований; они требуют коренной перестройки.

Постановление Совета Министров СССР и ЦК КПСС от 30 августа 1954 г. обязывает переработать программы и учебники с точки зрения соответствия их современному уровню науки, устранения дублирования в различных курсах и излишней детализации. Программы должны быть улучшены не за счет расширения их, не за счет увеличения количества часов, предназначенных для чтения курса, а за счет строгого отбора материала, установления тесной связи между частями программы по данному курсу и координации с другими лингвистическими курсами.

Осуществлявшаяся из года в год переработка программы по курсу «Современный русский литературный язык» не касалась основных ее принципов, сводилась к исключению отдельных пунктов и формулировок и замене их другими. Даже наиболее «радикальная» переработка вузовской программы после дискуссии 1950 г. выразилась в изъятии отдельных формулировок, ссылок на «учение» акад. Н. Я. Марра и в частичном изменении раздела «Лексика»; но эта «переработка» почти не затронула центральных разделов программы — «Морфологии» и «Синтаксиса».

Особое внимание при переработке программы должен привлечь раздел «Лексика». Этот раздел наименее удачен. Материал его в значительной части повторяет материалы других курсов — «Введения в языкознание», «Истории русского литературного языка». В то же время отсутствуют в программе, а следовательно, не освещаются и в курсах лекций очень важные вопросы, например, вопрос о действующих в современном языке закономерностях пополнения словарного состава языка. У студентов часто *складывается ложное впечатление, будто бы словарный* состав пополняется главным образом за счет заимствований, диалектной и просторечной лексики. Основной путь пополнения словаря — продуктивные способы словообразования — не находит должного освещения.

Меньше замечаний и возражений у читающих курс «Современный русский литературный язык» вызывает раздел «Фонетика». Но при обсуждении содержания этого раздела все же встают очень серьезные вопросы, например: в какой мере необходим фонологический подход к изучению фонетического строя языка, как связывать фонетику с морфологией, со словообразованием.

Нужно обсудить, каким образом перестроить раздел «Морфология» так, чтобы студенты поняли, что те или иные грамматические категории существуют не сами по себе, не «свободны» в своем функционировании

и развитии, а тесно связаны с другими категориями и развиваются в общем русле совершенствования всей грамматической системы языка в целом; где и как характеризовать глубокие внутренние различия между одноименными категориями в разных частях речи (например, между категорией рода в имени и в глаголе, категорией падежа в существительном и прилагательном, категорией лица в существительном и глаголе, категорией времени в личных формах глагола и в формах причастий и деепричастий и т. д.).

Нуждается в пересмотре и содержание раздела «Синтаксис». Включение в курс теории словосочетаний не может не отразиться на построении раздела о членах предложения; давно уже является предметом споров вопрос о принципах классификации типов сложного предложения. Требует особого обсуждения вопрос о том, следует ли включать в программы теоретического курса орфографию и пунктуацию, которые не являются собственно теоретическими разделами науки о языке, хотя и базируются на определенных научных данных.

Должны быть высказаны мнения о самой структуре программы, о соотношении ее разделов. Ясно, что не может быть единого образца построения программ для разных типов вузов. Повидимому, в национальных вузах раздел «Фонетика» удобнее поставить раньше «Лексики». Но не только по отношению к национальным вузам возникает этот вопрос.

Многие преподаватели находят более последовательным, с точки зрения освещения системы языка, начинать курс с характеристики «материальной оболочки языка», т. е. с раздела «Фонетика».

В программах прежних лет в особом разделе рассматривались основные труды по русскому языку (Шахматова, Пешковского, Щербы и др.). Необходимо определить, нужен ли вообще этот раздел и если нужен, то в какой мере.

*

В работе над программами и содержанием курса нужно помнить об одном очень важном обстоятельстве — о тех знаниях по русскому языку, с которыми студенты приходят в вуз из средней школы. Этот вопрос не раз поднимался в нашей печати, но еще нет оснований считать его решенным. Очень многие преподаватели вузов, строя свой курс, игнорируют тот круг пусть ограниченных, но достаточно твердых знаний, который уже имеется у студентов.

Особой темой при обсуждении постановки курса «Современный русский литературный язык» является использование учебников: каково соотношение лекций и учебников; в какой степени и каким материалом лектор может дополнять программы и учебник, какие разделы учебника он может использовать как готовый материал, к которому можно отослать слушателей. У преподавателей безусловно накоплен большой опыт в этом отношении, и было бы чрезвычайно полезно обменяться его результатами.

Здесь дан далеко не полный перечень проблем, связанных с постановкой теоретического курса «Современный русский литературный язык». Вопросы о типе учебника, о практических занятиях и семинарах по современному русскому языку и другие также могут и должны стать предметом специального обсуждения. Особого внимания заслуживает вопрос о вынесении отдельных разделов курса на спецсеминары и спецкурсы.

Обсуждение всех перечисленных тем должно помочь дальнейшему углублению и усовершенствованию указанного курса— одного из важнейших языковедческих курсов в системе филологического образования.

№ 1 1955

КУРС «ИСТОРИЯ ЯЗЫКОЗНАНИЯ» В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИНСТИТУТАХ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ[1]

Место истории лингвистических учений в цикле языковедческих дисциплин определяется конкретными условиями учебного заведения. На филологических факультетах университетов наиболее целесообразным является, вероятно, выделение курса «История языкознания» в самостоятельный предмет. Но в педагогических институтах иностранных языков, где на общее языкознание вместе с историей лингвистических учений отводится очень небольшое количество часов (в МГПИИЯ всего 36 часов, т. е. 18 лекций), выделение обсуждаемого курса в самостоятельный предмет не имеет смысла. «История языкознания» должна включаться в курс общего языкознания с тем, чтобы избежать дублирования в освещении отдельных проблем. При наличии же лишь курса «Общее языкознание» имеется опасность растворения сведений по истории языкознания в отдельных проблемах курса. Опыт подсказывает, что целесообразнее в пределах данного курса выделять две составные части, первая из которых посвящается истории языкознания, а вторая содержит основные проблемы общего языкознания, разрабатываемые в советской лингвистике в настоящее время. На весь курс следует дать не менее 48 часов, из которых 22 часа отвести на историю лингвистических учений[2].

В рамках общего курса и при таком ограниченном количестве часов целесообразнее начать историю лингвистических учений с того решающего для развития лингвистики момента, когда она оформляется в самостоятельную науку и вырабатывает свой собственный метод исследования. Этим моментом, несомненно, является первая четверть XIX в.— эпоха выхода в свет первых работ по сравнительно-историческому языкознанию[3]. Именно создание сравнительно-исторического метода было поворотным пунктом в развитии науки о языке и предопределило ее самостоятельное существование. Поэтому часть курса «История языкознания», которая касается развития лингвистических учений XIX в., следует целиком и полностью посвятить сравнительно-историческому языкознанию и его проблематике. Характеризуя работы Востокова и Боппа, необходимо противопоставить бопповскую теорию трехчленности предложения, отождествляемого ими с логическим суждением, теоретическому тезису Востокова о двучленности большинства предложений в русском языке. В этой связи важно осветить историю взглядов на характер предложения и изложить точку зрения советского языкознания. При оценке роли Боппа в развитии языкознания не следует игнорировать его теории агглютинации, причем нужно показать дальнейшее развитие указанной теории и познакомить студентов с последними данными по определению характера индоевропейского корня.

Определенное место в этой части курса следует уделить натуралистической школе языкознания. Критикуя биологическую концепцию языка у Шлейхера, необходимо тем не менее подчеркнуть его роль в развитии сравнительно-исторического языкознания и подробно остановиться на его «теории родословного древа», а также на «теории волн» Шмидта и на современной теории субстрата как теориях, которые являются попытками объяснения различия родственных языков в рамках одной языковой семьи.

В курсе «История языкознания» нет необходимости давать имена всех лингвистов; мы рекомендуем упоминать только о тех языковедах или их группировках, которые играли роль в оформлении того или иного направления. При этом о русских лингвистах

---

[1] В статье имеется в виду учебный план педагогического института с пятилетним сроком обучения, как, например, 1-го Московского государственного педагогического института иностранных языков.

[2] Примерное распределение часов, отводимых на каждую тему, дается в конце работы.

[3] Такое начало не исключает, а наоборот, предполагает ссылку на предшествующий период с указанием того, что именно было подготовлено наукой в области языковедческой проблематики.

не надо говорить особо, а рассматривать их труды в плане общего движения лингвистической мысли. С этой точки зрения очень удобна и, по нашему мнению, правильна терминология направлений, предложенная проф. Чикобава в программе по общему языкознанию. Термин «индивидуалистический психологизм» дает возможность включить в единое направление Штейнталя, Потебню, младограмматиков лейпцигской школы, московскую и казанскую школы русского языкознания. При анализе основных положений этого направления в целом нужно особо выделить младограмматическую школу в ее лейпцигском и московском вариантах и показать ее заслуги перед наукой, а также и ее недостатки как в изучении общих проблем языкознания, так и в разработке частных вопросов, например, звукового закона и проблемы развития грамматических форм по аналогии. Специфика чтения этого курса в институте иностранных языков позволяет ссылаться и на языковедов, работавших в области языка, изучаемого студентами, тем более, что представителей младограмматической школы мы находим в разных странах.

О казанской школе русского языкознания нужно говорить как о промежуточном звене между младограмматиками, с которыми у представителей казанской школы совпадают взгляды на сущность языка, и социологической школой, с которой они имеют общие взгляды на метод лингвистического исследования и на системную обусловленность фактов языка.

Развитие лингвистической мысли в XX в. идет в нашей стране и за рубежом разными путями. В зарубежной лингвистике, с одной стороны, наблюдается отход части языковедов от сравнительно-исторического языкознания в сторону статического рассмотрения языка и построения априорной грамматики, а с другой стороны, стремление к разработке сравнительно-исторического языкознания на новых основах и новом материале. Раздел «История языкознания» в рамках курса «Общее языкознание» должен помочь студентам разобраться во всех противоречивых явлениях современной зарубежной лингвистики, с тем чтобы правильно оценить своих действительных противников в этой области.

Главными реакционными направлениями зарубежного языкознания являются копенгагенский структурализм и англо-американское семантическое направление[1]. Эти направления полностью расходятся с советской лингвистикой в области всех основных принципиальных проблем. Учитывая, что взгляды лингвистов этих весьма близких друг к другу направлений оказывают значительное влияние на работы многих зарубежных языковедов, необходимо дать серьезный анализ и глубоко аргументированную критику именно этих направлений, разоблачающую их теоретическую порочность и реакционную сущность.

Но наряду с критикой и разоблачением реакционных взглядов представителей указанных выше направлений, необходимо осветить и положительные результаты работы зарубежных лингвистов. Открытие и дешифровка в начале XIX в. языков хеттской группы и двух тохарских диалектов способствовали появлению блестящих исследований, в которых делаются небезуспешные попытки перестроить сравнительно-историческую грамматику индоевропейских языков на новой основе при учете всего старого материала.

Переходом к освещению основных проблем общего языкознания явится характеристика советского языкознания как особого этапа в общем развитии науки о языке. Поскольку круг данных проблем весьма широк, выбираются кардинальные вопросы, вокруг *которых группируются все остальные*.

Первой и центральной проблемой любой науки является определение объекта исследования этой науки, для языкознания — определение сущности языка. Изложение начинается с определения языка, данного классиками марксизма-ленинизма. Если в пропедевтическом курсе «Введение в языкознание» большое место отводится отличию языка от других общественных явлений, доказательству общенародного характера языка и т. п., то в обсуждаемом курсе упор делается на освещении функций языка и их связь, затрагивается вопрос об объективном существовании языка и т. п. В эту же тему включается и вопрос о происхождении языка. Гносеологическая сторона опять-таки выступает на первый план. При этом затрагивается также учение акад. И. П. Павлова о второй сигнальной системе. Последние вопросы подводят нас вплотную к следующей теме — проблеме взаимоотношения языка и мышления.

Взаимоотношение языка и мышления — одна из наиболее трудных тем курса. Она сложна потому, что для правильного разрешения ее необходимы совместные усилия философов, логиков, языковедов, психологов т. п. В курсе нужно показать, как подходят к данной проблеме представители каждой из этих дисциплин и что это дает для выяснения языковой стороны проблемы. Следует также отметить, в каких разде-

---

[1] Само собой разумеется, что в курсе должно быть освещено и пражское направление в структуральной лингвистике (см. предлагаемую сетку часов, распределенных по темам); это направление дало и некоторые положительные результаты в своей работе, как, например, научное описание самых разнообразных языков.

лах лингвистики находит непосредственное отражение эта проблема; например, в лексике (вопрос о соотношении понятия и слова), в грамматике (вопрос о связи суждения и предложения), в стилистике (вопрос о связи содержания и выражения его разными языковыми средствами), в теории перевода (вопрос о переводимости адекватных единиц языка) и т. п.

Следующая тема посвящена вопросу о внутренних законах развития языка. Новизна этой проблемы и актуальность ее повели к интенсивной разработке, к поискам путей ее разрешения, с которыми необходимо познакомить студентов. Характеризуя наряду с общими частные внутренние законы, можно привлекать иллюстрации из истории изучаемого языка, показать на них, как частные внутренние законы, охватывающие широкий или узкий круг явлений, могут вследствие этого оказывать большее или меньшее влияние на ход языкового развития. Данная тема подводит вплотную к вопросу о системном характере языка.

Тема о развитии взглядов на язык как систему была дана в истории языкознания, что позволяет основное внимание теперь уделить характеристике взаимной связи и взаимообусловленности отдельных сторон языка, этому ведущему признаку языковой системы. Важно показать системный характер каждой из сторон языка как проявление системности языка в целом.

Объединение истории языкознания и общего языкознания в пределах одного курса имеет свои преимущества, так как позволяет показать преемственность в развитии лингвистической мысли.

Вслед за этими темами удобно изложить проблемы, связанные с изучением отдельных сторон языка. Можно было бы начать с грамматического строя, а затем перейти к основному словарному фонду, поскольку они составляют основу языка, сущность его специфики. Мы, однако, предлагаем сначала осветить проблемы, имеющие непосредственное отношение к изучению звукового строя. Мы исходим из той роли, которую играл и играет именно звуковой язык в истории человечества. Звуковая, внешняя, материальная сторона и ее история имеют немаловажное значение в каждом языке, составляя одну из сторон, отличающих языки друг от друга. Среди проблем, связанных с изучением звукового строя, несомненно на первое место выдвигается проблема фонемы. Мы рассматриваем эту проблему как одну из актуальных проблем современного языкознания, которая не может быть снята с повестки дня[1].

Изложение раздела грамматики мы предлагаем начать с проблемы грамматической категории, так как она позволяет наиболее полно раскрыть соотношение логического и грамматического моментов, выявить сущность грамматической абстракции и постепенный характер изменений грамматического строя. Кроме того, решение ее связано с решением вопроса о грамматической форме, что является одной из предпосылок, обосновывающих принципы классификации частей речи.

Проблема предложения была затронута в исторической части курса; здесь же небезинтересно коснуться проблемы синтагмы, тем более, что вокруг нее группируется целый ряд вопросов фонетического и грамматического порядка.

Если позволит время, было бы очень полезно осветить вопрос о месте словообразования в ряду лингвистических дисциплин. Это дало бы, кроме того, возможность логического перехода к проблемам лексикологии. Лексикологическая тема нами также ограничивается материалом, относящимся к семантике слова. При изложении ее затрагиваются некоторые вопросы, о которых не было упомянуто в истории языкознания, например, о семантическом поле (Трир, Ипсен и др.), ономасиологии (Шухардт) и т. п.

В данном курсе мы не затрагиваем принципов классификации языков и предлагаем эту тему из программы исключить, так как, во-первых, она находит достаточное освещение в курсе «Введение в языкознание», а во-вторых, в первой части данного курса нельзя было обойти принципы классификации языков, выдвинутые в сущности давно и сохраняющиеся почти без изменений и поныне. Вся же историческая часть курса строится не на основе объективистского изложения взглядов отдельных ученых, а на базе критического отношения к лингвистическому наследству, а следовательно, в ней дается и оценка принципов классификации. Эту тему мы предлагаем заменить все чаще и чаще выдвигающимися теперь вопросами стилистики. Изучение языка с точки зрения заложенных в нем выразительных средств началось сравнительно недавно, и многие вопросы, в том числе и основной вопрос о предмете стилистики, еще не разрешены. Но нам кажется, что в проблемном курсе данного типа не надо бояться неразрешенных (но не неразрешимых!) проблем. Наоборот, мы должны показать студенту всю сумму вопросов, связанных с той или иной проблемой, познакомить с возможными путями решения их и этим стимулировать интерес к исследовательской работе, к более глубокому изучению фактов языка.

---

[1] Такой вывод можно сделать, исходя из редакционной статьи, опубликованной в журн. «Известия АН СССР. Отд-ние лит-ры и языка», как завершение дискуссии по этой проблеме (см. ИАН ОЛЯ, 1953, вып. 6).

Весьма желательно было бы также наличие семинаров по отдельным темам курса. При этом, если речь идет о регулярных семинарах в сетке часов, то можно ограничиться хотя бы четырьмя часами, в течение которых изучается как образец одна из тем, например «Младограмматическая школа в языкознании»: эта тема позволила бы попутно изучить и проблему фонетического закона, и проблему грамматической аналогии.

Если же регулярные семинары не обеспечены сеткой часов учебного плана, то целесообразно было бы организовать ряд спецсеминаров для студентов, проявивших интерес к какой-нибудь одной отрасли языкознания.

В связи со всеми высказанными выше соображениями мы предлагаем следующее распределение материала в курсе:

№№ пп	Тема	Количество часов
	Часть первая	
1	Сравнительно-историческое языкознание первой четверти XIX в.	3
2	Натуралистическая школа	2
3	«Индивидуалистический психологизм»	4
	а) ранний период (Штейнталь, Потебня)	
	б) лейпцигская школа	
	в) московская школа языковедов	
4	Казанская лингвистическая школа	2
5	Социологическая школа	2
6	Структурализм	4
	а) пражская школа	
	б) копенгагенская школа	
7	Идеалистическая неофилология	1
8	Англо-американская семантическая школа	2
9	Современное сравнительно-историческое языкознание за рубежом	2
	Итого:	22
	Часть вторая	
1	Проблема сущности и происхождения языка	2
2	Проблема соотношения языка и мышления	2
3	Внутренние законы развития языка	2
4	Язык как система	2
5	Методы и приемы лингвистического исследования	2
6	Проблемы фонетики	2
7	Проблемы грамматики	4 (6) [1]
8	Проблемы лексикологии	4 (6)
9	Предмет стилистики	2
	Итого:	22 (26)
	Семинарские занятия	4
	Всего:	44 (48)

[1] В скобках указаны часы, необходимые для лекций, если отсутствуют семинарские занятия.

Т. А. Дегтерева и Н. А. Слюсарева

№ 1 1955

НЕСКОЛЬКО ЗАМЕЧАНИЙ О КУРСЕ «ИСТОРИЯ ЯЗЫКОЗНАНИЯ»

История языкознания является и должна являться самостоятельной лингвистической дисциплиной с присущими ей спецификой, задачами, целями и приемами исследования. В ряде положений курс «История языкознания» предваряет курс «Общее языкознание», как бы давая ему материал для многочисленных контроверз, выводов и обобщений, что весьма специфично для курса «Общее языкознание». Ясно, что, например, изложению учения акад. Шахматова о предложении должно предшествовать ознакомление с его теорией коммуникации и вообще с его лингвистической концепцией. Но, с другой стороны, курс «История языкознания» предполагает известными многие факты из истории соответствующих языков и особенно сравнительной грамматики групп родственных языков. Такие разделы и проблемы курса «История языкознания», как сравнительно-историческое языкознание, младограмматическая школа, итальянская неолингвистика, проблема праязыка (или языка-основы), проблемы лингвистической географии, проблема фонетического закона и целый ряд других проблем, основываются на знании истории определенного языка и хотя бы элементов сравнительной грамматики групп родственных языков. Исходя из этого, наиболее целесообразной была бы постановка курса истории языкознания п о с л е курсов истории языка и сравнительной грамматики и д о курса общего языкознания. Но могут быть соображения и в пользу того, что курс «История языкознания» может явиться завершающим курсом цикла всех лингвистических дисциплин — курсом, не только дающим критической анализ предшествующих направлений в языкознании с позиций советского марксистского языкознания, но и опирающимся на хорошее знание принципиальных положений советского языкознания, что прежде всего обеспечивается курсом «Общее языкознание».

История языкознания у многих представителей западноевропейской лингвистики сводилась к истории разработки вопросов сравнительной грамматики индоевропейских языков. Достаточно обратиться к работам Томсена, Педерсена, Дельбрюка и Террачини[1], чтобы убедиться в этом. Подобный взгляд чрезвычайно суживает рамки и задачи данного курса. История языкознания как подлинно научная дисциплина не может ограничиться сведениями лишь из западноевропейского языкознания, но должна дать по возможности полную картину зарождения и развития античного, восточного (включая Дальний Восток) и русского языкознания. Более сложным является вопрос о содержании и тематике данного курса. Если курс «История языкознания» не сводится лишь к истории разработки сравнительной грамматики индоевропейских языков, то в то же время данная дисциплина не является сводом или некоей совокупностью всего того, что накопленo предшествующими поколениями в области языкознания. При таком подходе история языкознания растворила бы в себе историю частной филологии: славянской, романской, германской и т. д., т. е. потеряла бы свою специфику. Такие вопросы, как, скажем, бесконечные споры индийских грамматиков о различных видах корней, или споры романистов по поводу галисийского языка, или вопрос о происхождении слабого прошедшего в германских языках и т. д.,— вопросы, важность которых для индологии, романистики и германистики трудно переоценить,— не входят и не должны войти в курс «История языкознания».

Следовательно, история языкознания как научная дисциплина — это не простая сумма всех ныне представленных частных филологий. В курсе «История языкознания» могут быть поставлены и могут получить всестороннее критическое освещение лишь такие проблемы, которые являются узловыми для языкознания в целом, имеют прин-

---

[1] В. Т о м с е н, История языковедения до конца XIX века [рус. перевод], М., 1938; H. P e d e r s e n, Linguistic science in the nineteenth century, Cambridge, 1931; B. D e l b r ü c k, Einleitung in das Studium der indogermanischen Sprachen, Leipzig, 1908; B. T e r r a c i n i, Guida allo studio della linguistica storica, Roma, 1949.

циплальное значение для любой частной филологии и при всей противоречивости в их трактовке знаменуют поступательное движение языкознания как науки. К таким узловым вопросам можно было бы отнести следующие: 1) язык, его определение и сущность; 2) язык и общество (индивидуальное и социальное в языке, детерминированность языковых процессов); 3) язык и мышление (логика и грамматика, форма и содержание в языке); 4) происхождение языка; 5) закономерности развития языка; 6) классификация языков; 7) приемы и методы лингвистического исследования.

Подобные узловые вопросы могут служить известным ориентиром при отборе материала для построения курса «История языкознания». При этом отбор тем и материала будет зависеть не столько от умения и опытности лектора, сколько прежде всего от самого состояния науки о языке. Не вдаваясь в подробности, укажу лишь на то, что в характеристике младограмматической школы значительное место займет проблема фонетического закона, а социологической — проблемы синхронии и диахронии, вопрос о системе языка и т. д.

Наиболее рациональным и правильным представляется построение курса «История языкознания» в плане строго выдержанной хронологической последовательности. Построение этого курса по проблемам, характерным для той или иной школы, с присовокуплением историко-лингвистических экскурсов, не может быть одобрено по следующим соображениям: 1) подобное построение по сути дела снимает вопрос о преемственности; 2) оно подменит курс «История языкознания» курсом «Общее языкознание»[1], а курс «История языкознания» есть самостоятельная лингвистическая дисциплина.

Хотя вопрос о периодизации истории языкознания является не разрешенным и хотя деление языкознания на «донаучное» и «научное» в известной мере условно, все же вряд ли можно оспаривать то положение, что какая-то грань между языкознанием до XIX в. и языкознанием последующего времени, несомненно, имеется. Дело, конечно, не в открытии санскрита и создании сравнительной грамматики индоевропейских языков, как это представлялось некоторым западноевропейским языковедам, а в том, что движущим началом языкознания XIX в. явился принцип историзма. Применение этого принципа сделало возможным построение истории языка и сравнительно-исторической грамматики группы родственных языков, что в свою очередь обеспечило научное описание современного состояния языков. Тот факт, что Ломоносов и некоторые другие ученые еще до XIX в. понимали необходимость исторического изучения языка, не меняет общей картины, и поэтому представляется целесообразным сохранить прежнее деление истории языкознания на «донаучный» и «научный» периоды.

Вопрос о причислении языковеда к той или иной школе языкознания не является таким простым, как это может показаться с первого взгляда. Развитие мирового языкознания подчас с трудом укладывается в рамки тех языковедческих «школ», которые получили четкие очертания, в основном, в Германии и Франции и которые носят наименования «натуралистическая», «младограмматическая», «социологическая», «эстетическая» школы. Не приходится отрицать объективного существования данных «школ» так же, как не приходится отрицать и того положительного, что было внесено их представителями в сокровищницу мирового языкознания. Но в то же время хорошо известно, что концепции отдельных языковедов часто выходят за рамки одной определенной школы, и непременное желание втиснуть их в ту или иную из этих школ наталкивается на значительные препятствия. Не нужно доказывать, что многие русские языковеды шли своими собственными путями, отличными от путей западноевропейской лингвистики. Можно указать на замечательного ученого Потебню, создателя весьма оригинальной лингвистической теории, которую невозможно поместить на прокрустово ложе натуралистической, младограмматической или социологической школы языкознания. Укажем также на другого крупнейшего языковеда — Бодуэна де Куртенэ, психологизм теоретических построений которого весьма сближает его с позициями младограмматиков, но в то же время известно, каким ярым противником именно младограмматиков он был.

Можно назвать имена Крушевского и Шухардта, Срезневского, Жильерона и ряда других, которых не причислишь без особых натяжек ни к младограмматической, ни к социологической школе. Это наталкивает на мысль о том, что обычное в курсе «История языкознания» изложение материала по школам (см., например, посвященную истории языкознания первую часть программы курса «Общее языкознание» (сост. проф. А. С. Чикобава)) должно чередоваться с характеристикой деятельности отдельных языковедов и анализом их наиболее значительных трудов.

Необходимо также помнить, что даже самые выдающиеся языковеды прошлого были сынами своего века, и если они в ряде вопросов шли впереди своих современников, поднимая языкознание на высшую ступень, то все же они были скованы господствующими идеями своего времени и подчас отдавали дань отживающим и кон-

---

[1] Об этом совершенно справедливо пишет В. Н. Ярцева в статье «О курсе „История языкознания" на филологических факультетах университетов» (ВЯ, 1954, № 4).

сервативным тенденциям и взглядам, особенно в общефилософском плане. Это в равной мере относится и к Бодуэну де Куртенэ, и к Шахматову, и к Потебне, и к Гумбольдту. Поэтому характеристика языковедов и анализ их произведений в курсе «*История языкознания*» должны строиться на фоне широкой исторической перспективы с учетом острой и упорной борьбы отживающего и прогрессивного, идеализма и материализма на философском фронте. Без осознания этой борьбы вне глубокого философского анализа мировоззренческих основ лингвистической концепции того или иного языковеда невозможно определить место, которое он занимает в общем поступательном движении языкознания, невозможен отбор всего положительного и ценного, что внесено им в науку его времени и что и в наше время является источником вдохновения для многих языковедов.

Правильное освоение и использование богатейшего лингвистического наследства прошлого, умелый отбор всего действительно ценного для более эффективного развития советского языкознания, отсеивание всего, что является *отжившим* и устаревшим и что может в настоящее время лишь затормозить движение вперед, — в этом одна из наиболее ответственных и почетных задач курса «История языкознания».

Э. А. Макаев

№ 1 1955

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

О ДИАЛЕКТНОЙ ОСНОВЕ УЗБЕКСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

1

Наиболее сложными, но интересными в лингвистическом отношении и важными при решении актуальных вопросов современного литературного узбекского языка являются городские говоры ташкентского и ферганского типов. Рассматривая появление узбекских городских говоров в связи с историческими судьбами их носителей, можно установить и общие тенденции и этапы их развития, связи с близкородственными тюркскими языками, оставившими значительные следы в отдельных говорах. При этом нельзя не признать и наличия иноязычного элемента, доля участия которого в формировании различных говоров узбекского языка далеко не одинакова.

Сумма исторических данных, подкрепленная соответствующей лингвистической аргументацией, позволяет, таким образом, говорить о двух факторах, которые оказались решающими при выяснении вопроса о происхождении узбекского народа и которые, в свою очередь, предопределили появление имеющегося многообразия диалектов узбекского языка. Мы имеем в виду: 1) взаимодействие различных тюркских родо-племенных групп, в разное время мигрировавших на территорию современного нам Узбекистана; 2) участие в этногенетическом процессе иноязычных, главным образом согдийских и ирано-таджикских, этнических элементов.

Появление карлуков на данной территории относится к VIII в. Они столкнулись на Сыр-Дарье с арабами, к тому времени уже утвердившимися в Мавераннахре. Карлуки VIII в. только частью задержались здесь — основная масса их ушла дальше, однако нет сомнений в том, что их пребывание не было бесследным. Так, титул их предводителя Йабгу//Джабгу сохранился в названиях некоторых населенных пунктов. Арабские географы в перечне селений Шашской области — одной из культурнейших областей Мавераннахра — упоминают селение Джабгугет (Джабгу ‖ Йабгу), где были сосредоточены военные тюркские силы Шаша.

Арабские географы относят к X в. интенсивный приток в Шаш и другие места Мавераннахра кыпчаков и огузов. Отмечаемые ими огузские племена, осевшие к западу и юго-западу от современного Чимкента, продолжают до сих пор сохранять типично огузские черты языка, что совершенно отчетливо вскрывается путем применения сравнительно-исторического метода. Не менее определенно выявляются и кыпчакские элементы в различных их комбинациях.

В историко-лингвистическом отношении наиболее важную роль сыграл промежуток времени между IX и XIV в. Мощный приток тюркоязычных племен в караханидскую эпоху значительно изменил соотношение тюркских и нетюркских языковых элементов в Мавераннахре и предопределил более сложное языковое взаимодействие. Караханидские завоеватели во владениях саманидов застали представителей различных тюркских родо-племенных групп. Среди них были родовые группы, этнические связи которых с ведущим звеном караханидов не подлежат сомнению. Это обстоятельство способствовало успешному продвижению караханидов, в сравнительно короткое время захвативших власть в свои руки во всем Мавераннахре.

Караханидское государство не представляло собой монолитной единицы ни в языковом, ни в этническом отношениях. Это был конгломерат тюркских племен, временно объединенных в сравнительно непрочный военно-административный союз. При караханидах заметное развитие получило городское строительство — города росли в связи с переходом к оседлой жизни представителей тюркских родо-племенных групп. Развивались различные кустарные производства. В городах кипела оживленная торговля горожан с жителями сельских местностей. Не менее оживленная торговля велась с кочевой степью, доставлявшей городам продукты животноводства.

Все это способствовало расширению языкового общения и привело к формированию элементов городской речи, в известной степени впитавшей в себя языковые черты отдельных тюркских родо-племенных групп, представители которых осели в городах. Именно здесь — в городах караханидской эпохи — следует искать зачатки образования модифицированной тюркской городской речи, уже тогда служившей средством об-

щения горожан не только между собой, но и с представителями кочевой степи. Процесс расширения языковых связей между городом и сельским населением удачно был подмечен Махмудом Кашгарским.

Махмуд Кашгарский отмечал, что самым чистым тюркским языком говорят те племена, которые не знают другого языка и не привыкли к посещению городов. К ним он относит киргизов, огузов, тухси, ягма, чигиль (джигиль), экрак и джарук. К племенам, знающим два языка и посещающим города (в связи с чем в язык их «проникло смягчение»), он относит следующие: сугдак, кенджак и аргу (сугдак — согдийцы, население Согдианы, кенджак и аргу — жители Восточного Туркестана). Свидетельство Махмуда Кашгарского интересно для нас в двух отношениях.

Во-первых, автор «Дивана», довольно тонко подмечавший особенности тюркской речи, перечисляет все племена, сохранившие чистоту этой речи. Отметим кстати, что значительная часть перечисленных им племен составляла ведущее звено караханидов. Первые правители этой династии были из племени ягма и носили титул богра-хан. Главная роль принадлежала карлукам и племени джигиль (чигиль), которые, находясь в тесном языковом контакте с населением Ферганы, оказали сильное ассимилирующее воздействие на ее население. Не менее важная роль в караханидском союзе принадлежала и уйгурам.

Во-вторых, Махмуд Кашгарский определенно указывает на наличие двуязычия и говорит о проникновении в язык племен, посещающих города, «смягчения». Проникновение в язык «смягчения», отмеченное Махмудом Кашгарским, позволяет говорить о зачатках утраты типично тюркской фонетической черты — сингармонизма, прежде всего в его лингвиально-сингармонистической части, предполагающей наличие контрастирующих пар в системе словообразовательных и словоизменительных формантов. Едва ли есть необходимость доказывать, что наличие «задних» вариантов аффиксов является характерной принадлежностью тюркских языков, а проникновение в язык «смягчения» предполагает разрушение именно палатальной аттракции. Это — общеизвестный факт, не нуждающийся в особой аргументации. Но совершенно естественно предположить, что тюркская часть городского населения говорила на языке с нарушенным сингармонизмом, в отличие от сингармонистических языков, как, например, киргизского, кыпчакского, о которых говорит Махмуд Кашгарский и которые до сих пор продолжают последовательно сохранять лингвиально-сингармонистические чередования в виде наличия контрастирующих пар в системе морфологических показателей.

Анализ фактического материала по говорам узбекского языка позволяет нам установить последовательность утраты сингармонизма, начавшейся, несомненно, в ряду гласных верхнего подъема в результате конвергенции *u* и *ы* в одной индифферентной фонеме *ъ*. Наиболее показательным в этом отношении является андижанский говор, в котором имеется гласная фонема *ъ*, восходящая к *u* и *ы*, при сохранении контрастирующих пар в ряду гласных верхне-среднего и нижнего подъема. Примером этого может служить и вокализм современного уйгурского языка.

Зачатки фонетической эволюции, приводившей к постепенному (в известной последовательности) разрушению сингармонизма, следует искать в конкретных исторических условиях формирования и развития языков. Несомненно, что начало процесса относится к тому периоду, когда диалектные различия между отдельными языковыми группами (узбекской и уйгурской) были выражены менее резко в силу одинаковых условий их формирования и сохранения ими на протяжении веков значительной близости.

Совпадение *u* и *ы* в одной фонеме в узбекских говорах не может рассматриваться как результат позднейшего переосмысления тюркского (узбекского) вокализма на таджикской артикуляционной базе, хотя отрицать участие в широких масштабах таджикских элементов в формировании отдельных узбекских говоров, конечно, нельзя. Вместе с тем и относить все изменения, происшедшие в процессе историко-фонетической эволюции узбекского языка, за счет привходящих факторов позднейшего порядка также мало убедительно.

Столкновение двух языковых стихий — тюркской и нетюркской — происходило не только на территории Мавераннахра, но и на Востоке, где взаимодействие этих элементов проявлялось в значительной степени. Не случайно, видимо, и указание Махмуда Кашгарского на то, что «смягчение» наблюдается и в языке кенджак, т. е. в языке жителей Восточного Туркестана. Но тюркские правители завоеванных областей с иноязычным субстратом оставались тюрками по языку, сохраняли тюркские имена и титулы[1]. Имели иноязычные связи и тюркские родо-племенные группы, входившие в качестве главной составной части в караханидский союз, на что косвенные указания мы находим у Рашид-ад-дина[2].

---

[1] См. В. В. Бартольд, Мир-Али-Шир и политическая жизнь, сб. «Мир-Али-Шир», Л., 1928, стр. 104.

[2] См. Рашид-ад-дин, Сборник летописей, т. I, кн. I, М.— Л., 1952, стр. 151. Точка зрения, высказанная в журнале «Советская этнография»

Последующая эпоха в истории узбекского народа — эпоха господства в Мавераннахре монгольской династии Чагатая — не оказала существенного влияния на ту языковую общность, которая сложилась задолго до прихода монголов в Мавераннахр. Контакт монгольских племен с предками современных нам узбеков привел к незначительному увеличению монголоидных признаков и к оседанию в узбекском языке ряда монгольских лексических элементов, закреплению родо-племенных наименований в местах оседания монгольских племен, которое, кстати сказать, происходило главным образом в сельских местностях, среди кочевых и полукочевых племен, и не коснулось городского населения, к тому времени уже утратившего, в силу самой специфики городской жизни, родо-племенные подразделения. Поэтому термины «чагатайские говоры» применительно к узбекским говорам городского типа и «чагатайский язык» применительно к староузбекскому языку не могут быть сохранены, несмотря даже на их условное употребление.

Языковой контакт тюркской и нетюркской (на начальных ступенях еще согдийской) языковых систем не привел к образованию нового языка, принципиально отличного по своим качествам от компонентов, вступивших во взаимодействие; не произошло этого и позднее, когда тюркская языковая общность длительное время сосуществовала с таджикским языком. Не происходит этого и сейчас в результате взаимодействия узбекской и таджикской языковых систем, продолжающих существовать бок о бок и совершенствоваться каждая по внутренним законам своего развития.

Длительное и систематическое общение тюрских и нетюркских (в данном случае иранских) народов приводит либо к полной победе одной языковой общности, как это имело место в самаркандско-бухарско-ходжентской группе говоров узбекского языка, либо к частичному внедрению элементов одной языковой общности в другую, как это прослеживается в ташкентско-ферганской группе городских говоров, которые имеют наиболее древние генетические связи с карлукско-уйгурской языковой общностью.

Итак, ташкентский и ферганский типы узбекских говоров (в широком смысле), некогда выделившиеся из языковой общности караханидского периода и в модифицированном виде дошедшие до нас, продолжают быть определяющими и заслуживают всестороннего изучения в сравнительно-историческом плане. По линии языкового преемства они находятся в генетическом родстве с уйгурским языком, составляя вместе с ним одну восточно-туркестанскую линию развития. В этом убеждают нас не только лингвистические данные. В новейших исследованиях антропологов подчеркивается несомненное участие уйгуров в этногенезе узбекского народа в качестве одного из существенных антропологических слагаемых [1].

Карлуко-чигиле-уйгурская языковая общность, впитавшая в себя часть огузских и кыпчакских элементов, явилась языковой подпочвой в истории становления основной массы узбекских говоров йекающего наречия [2]. Известную роль сыграли и иноязычные элементы, растворившиеся в этой языковой общности, оставив отпечаток и в языке, и в антропологическом типе.

2

К говорам, восходящим к карлуко-чигиле-уйгурской языковой общности, относится ташкентский, андижанский, наманганский, маргеланский, кокандский и другие городские говоры с территориально смежными и тяготеющими к ним сельскими говорами, кроме, разумеется, кыпчакских и огузских. В отношении сохранения специфических языковых черт наманганский говор занимает промежуточное положение между ташкентско-ферганским (например, андижанским) типом и уйгурским языком. Ряд признаков свидетельствует, что в тюркской основе самаркандско-бухарских говоров лежит языковой элемент, также восходящий к данной группе; это позволяет говорить о генетической близости друг к другу всех перечисленных выше говоров.

Генетическое родство в смысле сохранения языкового преемства в ташкентско-фергано-наманганской группе говоров прослеживается и в фонетике, и в морфологии, и в лексике. Одни признаки оказываются общими для всей группы в целом, а другие отмечаются только в отдельных говорах. Укажем на некоторые из них.

1. Постепенная утрата сингармонизма в его лингвально-сингармонистической части, о чем было упомянуто выше. Эта фонетическая черта свойственна всем перечис-

---

(1936, № 2, стр. 55) в отношении наименования Арслан-хана карлукского «сартактаем», неубедительна. Ср. В. В. Бартольд, История культурной жизни Туркестана, Л., 1927, стр. 80—81.

[1] См. Л. В. Ошанин, К проблеме этногенеза уйгуров..., в кн.: Л. В. Ошанин и В. И. Зезенкова, Вопросы этногенеза народов Средней Азии в свете данных антропологии, Ташкент, 1953.

[2] Ср. Н. А. Баскаков, К вопросу о классификации тюркских языков, ИАН ОЛЯ, 1952, вып. 2, стр. 128—130.

ленным говорам и уйгурскому языку в отличие от кыпчакских и огузских, сохраняющих контрастирующие пары *ы* и *и* в качестве принципиально-отличных фонем, нагруженных словоразличительными функциями.

В указанных говорах морфологические показатели с негубным гласным верхнего подъема имеют только один фонетический вариант, присоединяемый и к «передним», и к «задним» основам, например: ташк., анд., нам., кок. *ъчкъ* «внутренний» и *къшкъ* «зимний»[1].

Следовательно, верхний подъем представлен не четырьмя — *и, ы, ӱ, у* (как в кыпчакских, огузских говорах узбекского языка и сингармонистических тюркских языках—туркменском, казахском, киргизском, каракалпакском),а только тремя качественно отличными и количественно недифференцируемыми гласными фонемами — *ъ, ӱ, у*. Сказанное относится к андижанскому и наманганскому говорам и не распространяется на ташкентский тип, в котором процесс утраты сингармонизма пошел дальше и распространился на губные не только верхнего, но и верхне-среднего подъема. Губные гласные собственно переднего ряда встречаются только спорадически на правах комбинаторно-позиционных вариантов.

2. Типично тюркское заднерядное *а* в уйгурском языке и в наманганском говоре дало *а* > *ä* > *ъ*, в ташк., анд., марг—*ä* < *а* > *å*. Например: уйг. *ädäm* < *адам* // ташк., нам., анд. марг., кок. *åдäм* «человек»; уйг. *qäräp* / *qäräl* < *қарар* // ташк. *қåрåр*, анд. *қарар* «постановление»; уйг. *bälq* // *blq* < *бäлқ* < *балқ* / нам. *белқ*// *белқх* > *бълқ* // ташк., анд., марг. *бäлқ* «рыба»; уйг. *qäsäl* < *кäсäл* // ташк., марг., анд., кок. *кäсäл* «больной».

Дивергенция *ä* < *а* > *å* и появляющееся в связи с этим оканье на начальных этапах своего развития позиционно обусловлены, в чем убеждают нас примеры из многочисленных узбекских говоров, в том числе и из кыпчакских. Возникает оканье в различных позиционных условиях. Наиболее характерной позицией *а* > *å* является положение *а* в непосредственном или смежном соседстве с билабиальным *в*. Например, ферг. *сäвъ* > *сåвъ* «морковь», *бърäвдкъ* < *бърåвдкъ* «чей-то»; паркент. *лäб* > *лåв*, где мы находим довольно сильно лабализованное *å*, дающее рефлекс открытого *э*. Значительное количество примеров на *а* > *å* в рассматриваемой нами позиции мы находим в южнохорезмских говорах. Но в данном случае нас интересует не вопрос территориального распространения *å* по говорам узбекского языка, а сам факт появления *å* в определенных позиционных условиях и постепенное закрепление оканья. Наглядным примером *а* > *å* служит форма *барсамыз* в ташкентском звуковом оформлении: *бäрсäмз* > *бäрсäвуз* > *бäрсåуз* «если мы пойдем».

Переход *м* > *в* в данном (и в подобных ему примерах) вполне обычен. Вторичное *в* < *м* привело к качественному перерождению типично тюркского *а*, перешедшего в *å* в непосредственном соседстве с *в*. Дальнейшее развитие этой формы привело к падению *в*, но качество *å*, возникшего из *а*, не изменилось. Параллелью может служить такой пример из кыпчакских говоров узбекского языка: *кэлäжатыр* ∽ *кэлäйатыр* > *кэлäватыр* > *кэлåвäтыр* > *кэлäйтыр* «он в данный момент идет».

Развитие *а* > *о* > *å* в позиционной смежности с *в* (а также с *п, б, м*) наиболее наглядно прослеживается в уйгурском языке, находящемся, как отмечено выше, в генетическом родстве с рассматриваемой нами группой узбекских говоров (уйг. *бава* > *бова* < *баба* // ташк. *бовä* «дедушка»; уйг. *новвät* > *новät* < *навбат* // ташк. *нäвбäт* ∽ спорадически *новät* «очередь». Сюда же примыкают и случаи из уйгурского языка типа *топан* > *топонг* < *тапан* // ташк. *тåвäн* «пятка»). Богатый иллюстративный материал из уйгурского языка позволяет гораздо шире и глубже проследить развитие *å* < *а*, однако это специальная задача, решение которой невозможно в пределах данной статьи, касающейся общих, а не отдельных частных вопросов историко-фонетической эволюции. Для нас важен факт появления оканья в одинаковых позиционных условиях как в узбекских говорах, так и в уйгурском языке, что, конечно, не может быть случайным в истории их развития. Пока ограничимся перечнем наиболее характерных случаев, сохранив за собой право специально выступить по этому вопросу.

В уйгурских говорах (например, в кашгарском) переход *а* > *о* прослеживается не только в позиционной смежности с *в* (resp. *п, б, м*). Значительное количество примеров на *а* > *о* обнаруживаем среди двухсложных слов, во втором слоге которых имеется губной *у*: уйг. *хотун* / *хутун* < *хатун* // ташк. *хåтън* // самарк. *хотун* «женщина»; уйг. *совун* / *сопун* / *согун* < *савун* // ташк. *сäвун* «мыло». В примере *хотун* > *хутун* < *хатун* наблюдается: а) антиципация *а* > *о* и б) полная регрессив-

---

[1] В статье приняты следующие сокращения языков, диалектов и говоров: ташк. — ташкентский, анд. — андижанский, нам. — наманганский, кок. — кокандский, уйг. — уйгурский, марг. — маргеланский, ферг. — ферганский, паркент. — паркентский, карабул. — карабулакский, кыпчак. — кыпчакский, джек. — джекающий, самарк. — самаркандский, кашг. — кашгарский, уйчин. — уйчинский.

ная ассимиляция. В фонетическом отношении не лишены интереса и случаи типа: ташк., наманг. *жуәйп* < *жавәб* «ответ», *суәйл* < *савал* «вопрос».

Падение согласных и появление в связи с этим вторичных долгот также приводит к переходу *а* > *о*: уйг. *со:да* < *савда* «торговля», наманг. *бӓ:* «есть, имеется»; ср. в карабул. *то:қ* / *тауқ* < *тавуқ* «курица»; *со:қ* < *савуқ* «холодно, холодный»; *ҭо:п* < *қаун* < *қабып* «укусив»; *то:п* < *таун* < *табып* «найдя»[1].

Таким образом, есть основания предполагать, что оканье появилось также в результате развития *а* > *о*, о чем свидетельствуют примеры из уйгурского языка, в которых мы находим чередование *а* / *о* и *ӓ* / *ӧ*. Ташкентский же тип *ӓ* оказался возможным благодаря сокращению губной артикуляции при *о*.

а > *ӓ* в узбекских говорах может возникать в непосредственном соседстве с глубокозаднеязычными согласными: ташк. *ҚӓҚ* < *қаҚ* // уйг. *қаҚ* «сухой» (*алма қеҚъ* «сушеные яблоки»); ташк. *тӓрӓҚ* «расческа», *сӓнӓҚ* «счет». Ср. кыпчак. (джек.) *қылған* > *қылғӓн* «он сделал»; *қатын* > *Қӓтын* «женщина». В ташкентском говоре находим регулярное *ӓ* в аффиксах *-мӓҚ* и-*рӓҚ*: *келмӓҚ* «приходить», *ӓлмӓҚ* «брать», *ҚӓттӓрӓҚ* «больше», *ӓӓхшърӓҚ* «лучше» (см. ниже, п. 4).

Ташкентское оканье представляет значительный интерес для теоретического и практического узбекского языкознания в отличие от оканья в самаркандско-бухарских говорах, появление и характер которого вполне очевидны в силу самой специфики происхождения этих говоров. Своеобразное распространение *ӓ* и *ӓ* в различных словарных позициях в ташкентском говоре дает основание определить перспективу развития фонемы *ӓ* и наличие факторов внутриязыкового порядка, приведших к зарождению оканья, как в татарском и башкирском языках[2].

Заслуживает быть отмеченным чередование *ӓ* / *ӓ* в таких словах ташкентского говора: а) *сӓн* «число» ∽ *сӓнӓ* «считай», *тӓш* «камень» ∽ *тӓшлӓ* «бросай»; б) *вӓг* «ворона» ∽ *вӓгчӓ* «галка», *кӓр* «дело» ∽ *кӓрӓндӓ* «издольщик». Попутно заметим, что едва ли возможно сколько-нибудь убедительное объяснение причин появления чередования *ӓ* / *ӓ* в андижанском говоре в примерах *ӓт* / *ӓтъ* «лошадь» («его лошадь»), если не усмотреть здесь отголоска действия umlaut'a, характерного для уйгурского языка [ср., например, *ат* / *етъ* «лошадь» («его лошадь»)] и прослеживаемого в наманганском говоре.

Данные, подтверждающие мысль о том, что вопрос о возникновении оканья и дальнейшем его развитии в узбекских говорах оказывается более сложным, чем это предполагалось до сих пор, мы находим в одном самоучителе «сартовского» языка, отражавшего ташкентские произносительные нормы второй половины XIX в.[3] Ср. такие примеры: *самавор* (стр. 42, 43) < русск. *самовар*, *кавон* (стр. 18) < русск. *кабан*, *капкогы* (стр. 42) «крышка», *кара* (стр. 42) и *каро* (стр. 95) «черный», *булодур* (стр. 67) «будет», *килтуродуляр* (стр. 42) «принесут», *туродур* (стр. 3, 64, 15) и *турадур* (стр. 6, 8) «стоит», *курок* (стр. 57) «лопата», *вакт* (стр. 56, 243) и *вокт* (стр. 56) «время», *мой* (стр. 57) < русск. *май*, *топуб булодурму* (стр. 57) «можно ли найти?», *курсотинкъ* (стр. 66) «покажите», *сатмокликка яромэйдур* (стр. 99) «для продажи не годится», *сурагон* (стр. 243) «он спросил, спрашивавший» и т. п.

Анализ фактического материала убеждает нас в том, что дивергенция фонемы *а* (*ӓ* < *а* > *ӓ*), как и конвергенция *ы* и *и* в фонеме *ъ*, в затронутых нами узбекских говорах и в уйгурском языке представляет собою один из этапов историко-фонетической эволюции вокализма, подлинная природа которой может быть вскрыта путем тщательного изучения фонетических систем узбекского и уйгурского языков в историческом аспекте.

3. Делабиализация *у* > *ъ*, прослеживаемая в ташкентском, маргеланском, кокандском, андижанском говорах, отсутствует в уйгурском языке, где мы находим регулярное *у*, например: уйг. *хотун* / *хутун* < *хатун* // ташк., анд., марг. *хӓтън* // самарк. *хотун* «женщина».

Совпадение уйгурской формы *хотун* и самаркандской *хотун* не является случайным в силу обстоятельств, указанных выше, однако причины устойчивости далеко не одинаковы: отсутствие перехода *у* > *ъ* в самаркандском говоре объясняется действием таджикского вокализма, а в *хотун* / *хутун* уйгурского языка наличествуют факторы, являющиеся характерной его особенностью. Ср. еще сохранение губного гласного *у* в 3-м лице настояще-будущего времени: уйг. *альду* // самарк. *эладу* «он возьмет», уйг. *туръду* // самарк. *тураду* «он стоит».

---

[1] См. К. К. Юдахин, Некоторые особенности карабулакского говора, сб. «В. В. Бартольду. . .», Ташкент, 1927, стр. 406.

[2] См.: Н. К. Дмитриев, Грамматика башкирского языка, М. — Л., 1948, стр. 8—9; В. А. Богородицкий, Введение в татарское языкознание в связи с другими тюркскими языками, Казань, 1953, стр. 98.

[3] См. «Фразы на сартовском языке с русским переводом и транскрипцией», составил З. А. Алексеев, Ташкент, 1884. В примерах сохраняем транскрипцию автора (в тексте в скобках указываем страницы).

Делабиализация *у* > *ъ* в ташкентском говоре в именных основах рассматриваемого типа и в глагольных аффиксах произошла сравнительно недавно. Подтверждение этому мы находим в указанном самоучителе «сартовского» языка. Ср., например, *хатун* (стр. 268, 269), *тимур* (стр. 8, 322) // уйг. *тäму:*, *алтун* (стр. 171) // уйг. *алтун* > *олтун*, *сабун* (стр. 3), *итук* (стр. 7).

Общий делабиализационный процесс в современных узбекских говорах ташкентского типа прослеживается гораздо шире: переход *у* > *ъ* осуществляется не только в словах приведенного типа, но и в словах типа *кумур* (стр. 42), *утун* (стр. 44) > *комър* «уголь», *отън* «дрова», в первых слогах которых имеется губной *о* в интактной форме. Между тем, судя по данным цитированного нами самоучителя, губной сингармонизм распространялся не только на основы, но и на аффиксы, причем явно преобладали морфологические показатели с губными гласными, чего уже нет в современных узбекских говорах городского типа. Например: *бостурма* (стр. 37) «навес», *калубдур* (стр. 13) «он остался», *булубдур* (стр. 43) «он был», *алуб* (стр. 67) «взяв», *ярайдургонъ* (стр. 9) «годящийся», *атръ саладургонъ шиша* (стр. 3) «флакон, в который наливают духи».

Преимущественно с губным гласным употреблялись: а) вопросительная частица *му*: *борму* (стр. 19, 48, 49) «есть ли?», *бормукин* (стр. 13) «есть ли?», *юкмукин* (стр. 75) «нет ли?», *биролмэйсэнму* (стр. 91) «не сможешь ли ты дать?»; б) деепричастие совершенного вида на *-уб*: *боруб* (стр. 37) «пойдя», *топуб* (стр. 145) «найдя»; в) форма 1-го лица ед. числа прошедшего определенного: *сотыболдум* (стр. 96) «я купил», *соттум* (стр. 96) «я продал», *атдум* (стр. 228) «я выстрелил»; форма 1-го лица мн. числа в ташкентском говоре: *бäрдук* «мы ходили», *äлдук* «мы взяли». Ср. в уйгурском языке *алдуқ* при *алдым*; г) пожелательная форма *-сун*: *рухсат бирсун* (стр. 311) «пусть разрешит», *юрсун* (стр. 310) «пусть идет». Количество аналогичных примеров можно приумножить, но в этом мы не видим сейчас прямой необходимости.

4. Чередование *ч* / *ш*: ташк., марг., анд., наманг. *тъш* / *чъш* «зуб»; ташк. *ч* (*ъ*), *шла* // уйг. (кашг.) *ч* (*ъ*)*шлэ*: «зубы», ташк. *туштё* / *чуштё* > *чъштё* // уйг. *чüшты* «он сошел».

5. Сохранение в основах и аффиксах аусланутых *қ* ~ *к* / *ғ* ~ *г* в отличие от кыпчакских и огузских говоров, в которых этим исходным согласным соответствует ноль. Например: уйг. *тäрьғ* / *тäрьқ* «просо», *сäрьғ* «желтый», *уруғ* «род; семена»; *äчьғ* «открытый»; ташк. *қаттьғ* «твердый», *тарағ* «гребенка», *ортäғ* «товарищ», *къшла:лъғ äдäм* «сельский житель», *кäсäллэк* «болезнь»; наманг. *йоқ* / *йоғ* «нет», *тергг* «живой», *бäлäг* «другой, иной», *бър кüллüг* «однодневный», *бьлъғ* «рыба».

Конечные *ғ* / *қ* прослеживаются и в местоимениях: уйг. *қандағ* / *қандақ*, *андағ* / *андақ*, *шундағ* / *шундақ*, *бундақ* / *бундағ*. Ср. ташк. *кандагъ* (стр. 323), *шундагъ* (стр. 310).

Сохранение исходного *ғ* находим в памятниках древнетюркской письменности[1] — в орхонских надписях, в «Кутадгу билиг», в «Диване» Махмуда Кашгарского. По поводу оглушения *ғ* в данной позиции и перехода его в *қ* высказывалось предположение, что эта фонетическая черта, т. е. *ғ* > *қ*, могла принадлежать одному из старых диалектов, возможно, что она являлась характерным фонетическим признаком карлукского диалекта.

6. Чередование *қ* / *х* в различных позициях: уйг. *тақта* / *тахта* «доска», *тоқта* / *тохта* «стой», *тоқсан* / *тохсан* «девяносто»; *чъқтуқ* / *чъхтуқ* «мы вышли», *бақтуқ* / *бахтуқ* «мы смотрели»; наманг. *халхнъ гъчäдä* «в народе», *қурх* / *қурқ* «сорок», *вахт* / *вақт* «время».

7. Чередование *л* / *н*: уйг. *кöйнäк* / *кöннäк* / *кöллäк* / *конглäк* // ташк. *койнäк* / *койлäк* «рубаха».

8. Полная прогрессивная ассимиляция: ташк. *туазъ* < *тузнъ* «соль», *äшшъ* < *äшнъ* «плов», *темъррь* < *темьрнъ* «железо»; наманг. *қушшъ* < *қушнъ* «птицу», *гäппъ* < *гäпнъ* «разговор», *тäшшъ* < *тäшнъ* «камень».

9. Существенной фонетической чертой уйгурского языка является наличие так называемого umlaut'а, состоящего в том, что гласные нижнего подъема *а* / *ä* первых слогов под влиянием гласного верхнего подъема *ъ* второго слога переходят в звук, близкий по артикуляции к *е*, но не тождественный ему. Ср., например, *ат* «лошадь» > *етъ* «его лошадь». Эта специфическая особенность уйгурского языка отсутствует в ташкентском, маргеланском, андижанском говорах, но прослеживается в наманганском.

10. Наманганский говор и уйгурский язык характеризуются падением звуков и наличием стяженных форм, что наблюдается и в ташкентском, но выражено там менее резко. Ср., например, ташк., наманг. *äдäмлä* «люди», *келдьлä* «они пришли»,

---

[1] См. С. Е. Малов, Памятники древнетюркской письменности, М. — Л., 1951.

бъзä > *бзä* «мы», *сълä* > *слä* «вы»; ташк. *бäрувдъм* > *бäру:дъм* < *бäръп едъм* (наманг. *бäру: дъм* «я ходил»).

11. Все эти говоры — ташкентский, наманганский, андижанский, маргеланский, кокандский — в системе именного словоизменения имеют один притяжательно-винительный падеж с аффиксом *-нъ* (и фонетическими его вариантами), совмещающий в себе функции и притяжательного, и винительного падежей. По наличию фонетических вариантов аффикса указанного падежа говоры могут быть разделены на две подгруппы:

а) говоры, допускающие полную прогрессивную ассимиляцию начального согласного аффикса *-нъ* исходному согласному основы (кроме, разумеется, основ, оканчивающихся на гласный, при которых сохраняется аффикс *-нъ*). Сюда относятся ташкентский и наманганский с тяготеющими к ним сельскими говорами. Например, ташк. *тузъ* < *тузнъ* «соль», *тäммъ* < *тäмнъ* «крышу», *гäппъ* < *гäпнъ* «разговор», наманг. *äттъ* < *äтнъ* «лошадь», *тäллъ* < *тäлнъ* «тальник». Ср. вин. падеж: ташк., наманг. *äттъ сäттъ* «продал лошадь»; притяж. падеж: *äттъ бäшъ* «голова лошади»;

б) говоры, характеризующиеся наличием чередования *-н/-д/-т* в аффиксе притяжательно-винительного падежа, зависящего от исходного согласного основы. К ним относится андижанско-маргелано-кокандская подгруппа, примыкающая по данному признаку (чередованию аффиксальных *-н/-д/-т*) к кынчакским говорам узбекского языка. Ср., например, анд., марг., кок. *äтäсънъ кöрдъ* «видел его отца», *äшъ мäзäсъ* «вкус плова», *тäлдъ кестъ* «срезал тальник».

12. Вся рассматриваемая нами группа говоров имеет два морфологических показателя в форме настоящего времени данного момента:

а) формант *-вät* и фонетические его варианты: *-вät, -ут*; *-вät* — аффикс ташкентской формы и говоров некоторых окрестных селений (например, Паркента и др.), *-вät* — уйчинский вариант, *-ут* — наманганский, например, ташк *бäрвäтмäн* > *бäрвäммäн* «я (в данный момент) иду» и т. д.; наманг. *кълуттъмäн* «я (в данный момент) делаю» и т. д.; уйгурск. *кълъватъмäн* «я (в данный момент) делаю» и т. д.

Генетическая общность этих форм совершенно очевидна. Ташкентская и наманганская формы представляют собою дальнейшее фонетическое развитие формы *кълъватъман*. Убеждают нас в этом промежуточные варианты, существующие в различных говорах Ташкентской и Наманганской областей. Например, в паркентском говоре Ташкентской области находим *кълвäттъм* и *кълвäттъмäн*, выступающие на равных правах и с единой семантикой.

Таким образом, наманганский формант *-ут* восходит к аффиксу *-ват*, видоизменившемуся в силу действующих в данном говоре фонетических законов. Процесс эволюции шел в направлении *-ват* > *-вот* > *-от* > *-ут*, чему подтверждением служит наманганский промежуточный фонетический вариант *къломтъ*, сосуществующий с *кълуттъ* как его фонетическая разновидность [1].

Развитие аффикса *-ват* проходило не только по формуле *-ват* > *-вот* > *-от* > *-ут*, как в наманганском говоре, или по линии *-ват* > *-вот* > *-вät*, как в Ташкенте и в территориально соседних с ним кипчаках, но и в виде *-ват* > *-вät*, что отмечено в уйчинском говоре Наманганской области и объясняется действием umlaut'а, прослеживаемого в наманганских, а частично и в прочих говорах данного диалектного комплекса узбекского языка;

б) формант *-йäн*, который свойствен всем прочим городским говорам Ферганской долины — андижанскому, маргеланскому, кокандскому и другим, например: *кълйäнмäн* > *кълйäннäн* «я (в данный момент) делаю» и т. д.

К ферганской парадигме (кроме, разумеется, наманганского говора) примыкает и самаркандская форма с аффиксом *-эп*, восходящим к форманту *-йäп*, например: *кълэпмäн* «я (в данный момент) делаю» и т. д.

Фонема э в самаркандском аффиксе *-эп* отличается значительной устойчивостью. Между тем аффиксальный гласный *ä* в ташкентском аффиксе *-вät* и *ä* в ферганском *-йäп* обладают широким диапазоном по отдельным говорам: гласный *ä* в аффиксе *-вät* может стать почти передним (ср. уйчин. *-вät*), а передний гласный *ä* в ферганском *-йäп* значительно колеблется между типами *ä* и *å*, особенно в изначальной форме: *келä йатър* ~ *келä йäтър* ~ *кэлä йäтър* «он (в данный момент) идет». То же наблюдаем и в кынчакских говорах: *кэлä джатыр* ~ *келä джäтыр* ~ *келä джäтыр* // *келä йатыр* ~ *келä йäтыр* ~ *келä йäтыр*.

Устойчивость самаркандской фонемы э в аффиксе *-эп* находит свое объяснение в воздействии таджикского языка. Иной оказывается мотивировка переходов *å* < а > *ä* в прочих говорах узбекского языка.

Перечень особенностей городских говоров узбекского языка можно было бы продолжить и дать дифференцирующую характеристику диалектных особенностей каждого говора в отдельности, так как каждый из них, несмотря на наличие генетически

---

[1] О закономерности перехода *а* > *о* > *у* см. выше.

общих черт, имеет и свои узко диалектные показатели, изучение которых позволяет проследить историю образования и развития того или иного говора. В качестве примера можно указать на ташкентскую форму 1-го лица прошедшего определенного времени *-дъмъз* (< *-думуз*) вместо литературного *-дик*, зарегистрированную рядом письменных памятников. Ташк. *ăлдъмъз* // литерат. *олдик* «мы взяли», *бердъмъз / бердик* «мы дали», *ъчтъмъз / ичдик* «мы выпили» (ср. другие ташкентские варианты: *келду:*, *ăлду:*, *берду:*, *ъчту:* с долгим гласным вторичной формации в исходе формы, или *келдуэ̆*, *ăлдуэ̆*, *бердуэ̆*, *ъчтуэ̆*). В этимологическом отношении ташкентская форма *-дъмъз* является более древней, чем форма на *-дък* современного литературного узбекского языка[1]. Мы встречаем ее в памятнике в честь Кюль-Тегина: *сöзлäшдіміз-* «мы говорили», *біртіміз* «мы дали», *ітдіміз* «мы делали», *контуртымыз* «мы поселили»[2], в «Диване» Махмуда Кашгарского, у Ибн-Муханны[3], в «Шейбани-намэ» Мухаммеда Салиха.

Изучение ташкентско-ферганских говоров имеет большое теоретическое значение и при изучении истории узбекского языка, и для узбекской диалектологии. Не менее важную роль играют эти говоры и при решении актуальных вопросов прикладного узбекского языкознания, в первую очередь при решении насущных вопросов орфографии и орфоэпии.

В настоящее время мы вынуждены признать, что орфоэпические нормы литературного узбекского языка в значительной мере отражают произносительные особенности ташкентского говора. Направить развитие литературного узбекского произношения по иному пути уже нельзя, хотя и есть такие попытки со стороны отдельных лиц, насаждающих в некоторых издательствах местничество и орфографический разнобой. В качестве примера отражения ташкентского произношения в современной узбекской орфографии позволим себе сослаться на оканье.

Ташкентский тип оканья прослеживается и в отдельных словах, и в морфологических показателях.

1. В словах:

ташк. *ăнăр* // литерат. *анор* // анд. *ăнăр* «гранат (растение)»;
ташк. *х'ăвлъ* // литерат. *ховли* // анд. *хавлъ* // самарк. *хавлъ* «двор»;
ташк. *бăзăр* // литерат. *бозор* // анд. *бăзăр* // самарк. *базэр* «рынок»;
ташк. *сăқăл* // литерат. *соқол* // анд. *сăқал* // самарк. *саққол* «борода»;
ташк. *бăлä* // литерат. *бола* // анд., кок. *бăлä* // самарк. *бăлä* «ребенок»;
ташк. *шамăл* ~ *шăмăл* // литерат. *шамол* // наманг. *шăмăл* // анд. *шăмăл* // самарк. *шамэл* «ветер»;
ташк. *сарăй* // литерат. *сарой* // анд. *сăрай* «сарай»;
ташк. *ăт* // литерат. *от* // анд. *ăт* ~ *ăтъ* «лошадь»;
ташк. *ортăқ* ~ *ортăк* // литерат. *ўртоқ* // анд., марг. *ортақ* // самарк. *ортэқ* «товарищ».

2. В морфологических показателях:

ташк. *бăрмăқ* // литерат. *бормоқ* // анд., марг. *бăрмăқ* // самарк. *бармăқ* «идти»;
ташк. *қолмăқ* // литерат. *қилмоқ* // анд., марг. *қолмăқ* // самарк. *къмэқ* «делать»;
ташк. *ăзрăқ* // литерат. *озроқ* // марг., анд. *ăзрăқ* // самарк. *эзроқ* «меньше»;
ташк. *йăхшърăқ* // литерат. *яхшироқ* // анд., марг. *йăхшърăқ* «лучше».

Анализ фонетического материала убеждает нас в том, что литературный узбекский язык базируется на ферганских морфологических формах:

1) анд., марг., кок. *бăрдъқ* // литерат. *бордиқ* // ташк. *бăрдъмъз* ~ *бăрдуэ̆* «мы ходили»;

2) анд., марг., кок. *бăрăмъз* // литерат. *борамиз* // ташк. *бăрăмъз* ~ *бăрăуз* ~ *бăрăуэ̆* «мы пойдем»; анд., марг., кок. *бăрмăймъз* // литерат. *бормаймиз* // ташк. *бăрмăймъз* «мы не пойдем»;

3) анд., кок., марг. *бăрсăк* // литерат. *борсак* // ташк. *барсăмъз* ~ *бăрсăуз* ~ *бăрсăуэ̆* «если мы пойдем»;

---

[1] Ср. W. Radloff, Alttürkische Studien, V, «Известия Имп. Акад. наук», 1911, № 6, стр. 435.

[2] С. Е. Малов, Памятники древнетюркской письменности, М., 1951, стр. 46, 48. Транскрипция проф. С. Е. Малова.

[3] См. его же, Ибн-Муханна о турецком языке, «Записки Коллегии востоковедов», т. III, вып. 2, Л., 1928, стр. 223.

4) анд., марг., кок. *бāрйāпмāн* > *бāрйāппāн* // литерат. *боряпман* // самарк. *бэрэпмāн* // ташк. *бāрвāтман* > *бāрвāммāн* // наманг. *бāруттъмāн* «я (в данный момент) иду».

Нам кажется, что приведенных примеров уже достаточно для решения проблемы диалектной основы узбекского литературного языка. Между тем вокруг этого вопроса ведутся бесплодные дебаты, в которых наука совершенно не нуждается. Выводы, сделанные под давлением фактов, всегда оказываются более убедительными, чем различного рода домыслы. Несомненно, что ташкентский и ферганский городские говоры — это основа литературного узбекского языка.

В. В. Решетов

ЕЩЕ РАЗ О ДВУХ ПУТЯХ РАЗВИТИЯ СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

За последние 10—15 лет в нашей науке о языке получила широкое распространение так называемая теория двух путей развития сложного предложения, наиболее четко и, кажется, впервые сформулированная в посвященной этому вопросу статье А. П. Рифтина[1]. Теория эта, как известно, заключается в том, что в ходе исторического развития языка, помимо создания сложного гипотактичного предложения путем объединения ряда простых («первый путь»), возможно было возникновение его в рамках простого предложения путем преобразования содержавшихся в последнем оборотов с глагольными именами в придаточные предложения («второй путь»). В настоящее время эта теория излагается не только в исследовательских работах, в частности по русскому синтаксису[2], но и в учебной литературе[3].

Между тем столь широкое использование «теории двух путей» в том виде, в каком она изложена в статье А. П. Рифтина, и особенно безоговорочное приложение ее к истории синтаксического строя индоевропейской группы языков во многом является результатом недоразумения: использующие эту теорию исследователи как бы не обращают внимания на то, что статья А. П. Рифтина аргументирована главным образом шумерским и древнесемитским материалом, а в качестве параллелей даны некоторые факты из палеоазиатских, монгольских и дальневосточных языков; индоевропейского языкового материала в статье нет совсем, и правомерность своих выводов для языков этой группы автор никак не доказывает.

Кроме того, говоря о «втором пути», автор не различает случаев, в которых глагольные имена перерастают в сказуемые придаточных предложений, никак не меняя своей формы, и случаи, в которых обороты с глагольными именами заменяются придаточными с личным глаголом в сказуемом. Поэтому он обосновывает свою теорию как материалами, например, гиляцкого языка, в котором глагольные имена непосредственно играют роль сказуемых придаточных предложений, так и материалами древнесемитских языков, в которых нелично-глагольные обороты, по мнению автора, предшествовали образованию придаточных, а собственно придаточные предложения строятся только со спрягаемым глаголом[4]. Между тем дифференциация этих двух явлений совершенно необходима для решения вопроса о применимости указанной теории к индоевропейским языкам, так как в последних, как известно, глагольные имена непосредственно роли сказуемых в придаточных предложениях не играют, в связи с чем далеко не вся аргументация А. П. Рифтина оказывается для них действительной.

Проверка теории двух путей развития сложного предложения на основе индоевропейского языкового материала очень важна еще и в связи с тем, что А. П. Рифтин в своей статье применительно ко всем эпохам и всем языкам оперирует одними и теми же категориями — «предложение», «простое предложение», «сложное предложение». В зависимости от эпохи и от языка эти категории могут по-разному взаимодействовать и сочетаться друг с другом, но в работе А. П. Рифтина содержание их всегда остается одним и тем же. Между тем анализ языкового материала показывает, что сами понятия

---

[1] См. А. Рифтин, О двух путях развития сложного предложения в аккадском языке, сб. «Советское языкознание», т. III, Л., 1937.

[2] См., например, Н. С. Поспелов, О грамматической природе сложного предложения, сб. «Вопросы синтаксиса современного русского языка», М., 1950, стр. 327.

[3] См., например, Л. П. Якубинский, История древнерусского языка, М., 1953, стр. 268.

[4] См. А. Рифтин, указ. соч., стр. 66.

«предложение», «простое предложение», «сложное предложение» имеют применительно к древним индоевропейским языкам совершенно особое содержание, внутренне, качественно отличное от того, которое мы привыкли в них вкладывать, говоря о языках современных.

I. Основные особенности древнего индоевропейского предложения

1. Индоевропейское предложение характеризовалось несравненно большей, чем в современном языке, самостоятельностью его членов и преобладанием в отношениях между ними согласования, а главным образом аппозиции и примыкания, над управлением. Это предложение, бывшее предложением простым, не знало управления одних своих членов другими или уточнения знаменательных слов относящимися к ним служебными; все это ослабляло единство, централизацию и упорядоченность предложения. Именно такое состояние обнаруживается в старших памятниках ряда древних индоевропейских языков, дающих исходный материал, эволюцию которого нам в дальнейшем надо проследить. Чтобы представить себе этот начальный тип предложения, разберем одну фразу Гомера.

В «Илиаде» (VI, 375) рассказывается, что Гектор, вернувшись после совета в доме Приама к себе и не найдя Андромахи, «стал на пороге и так говорил прислужницам-женам» (μετὰ δὲ δμῳῇσιν ἔειπεν). В этой фразе глагольная форма ἔειπεν отличается от русского «говорил» тем, что является несравненно более автономной, замкнутой в себе единицей речи. Эта форма — не член правильной парадигмы в ряду других личных и временных форм, как русское «говорил», и не требует подлежащего так, как его требует русский глагол (не говоря уже о еще гораздо менее самостоятельном аналогичном глаголе в современных западноевропейских языках); «говорил» в обычных условиях не может стать высказыванием без указания на лицо, выполняющее действие, ἔειπεν же образует законченное высказывание и без такого указания.

Не менее автономной оказывается и форма δμῳῇσιν. Ее русский эквивалент «прислужницам-женам» представляет собой дополнение, падежная форма которого зависит от управляющего глагола и находится с этим глаголом в теснейшей синтаксической связи. Δμῳῇσιν же — падежная форма, объединяющая в себе дательное и местное значения, выражает не столько «объект», внешнюю точку приложения глагольного действия, сколько представляет собой указание на те обстоятельства, ту среду, в которой протекало действие глагола, и непосредственно от глагола никак не зависит[1]. Ясно, что в этих условиях синтаксическая связь между глаголом и существительным в греческом подлиннике является несравненно более свободной, чем в русском переводе.

Наконец, μετά — отнюдь не служебное слово, уточняющее знаменательные, каким оно может показаться на современный взгляд. Оно не является в строгом смысле слова ни предлогом, ни глагольной приставкой. Это — фразовое наречие, автономная форма, относящаяся ко всему предложению в целом и локализующая факты, в нем сообщенные, в пространстве[2].

Ряд фактов древнеиндийского, древнерусского, латинского и других языков показывает, что автономия слов и преобладание аппозитивных связей над управлением есть черта не только гомеровского, но и вообще древнего индоевропейского предложения. Еще А. А. Потебня показал, что для передачи самых разнообразных отношений, которые позже выражались подчиненными придаточными предложениями или гипотаксичными синтаксическими конструкциями, в древних языках широко применялись группы из двух аппозитивно поставленных имен, весьма свободно соединенных друг с другом. В приводимом Потебней ведическом предложении *punītane sōmam Índrāna*

---

[1] Это положение хорошо сформулировано А. В. Десницкой, писавшей, что природа древнейшего, в том числе и древнегреческого, глагола характеризуется тем, что «первичная непереходность не исключает сопряженности действия с определенным объектом; но характер этой сопряженности действия с объектом не представляет собой, однако, „переходности", предполагающей направленность действия на объект. Это скорее конкретизация значения глагольной основы с помощью той или иной именной основы» (разрядка моя.— *Г. К.*). И далее: «Первичная „непереходность"... допускала возможность определения, конкретизации выражаемого глагольной основой действия с помощью тех или иных именных основ, игравших первоначально обстоятельственно-определительную роль» (А. В. Десницкая, Из истории развития категории глагольной переходности, сб. «Памяти академика Льва Владимировича Щербы (1880—1944)», [Л.], 1951, стр. 139, 141).

[2] Ср. J. Damourette et E. Pichon, Dès mots à la pensée. Essai de grammaire de la langue française, t. I, [Paris, 1927], стр. 281—283.

pātavē (буквально: «готовьте сому Индре питью») стоящие рядом в дательном падеже слова *Índrāna* и *pātavē* выражают содержание упорядоченного, подчиненного главному, придаточного предложения (примерно: «...чтобы Индра мог ею напиться»), не будучи в то же время никак подчинены ни друг другу, ни остальным словам в предложении. Распространение этих так называемых «двойных падежей», широко представленных и в других древних языках, Потебня связывает именно с автономией слов в древнем простом предложении. «Гораздо легче и потому первообразнее,— пишет он,— поставить два одинаковых падежа для выражения одинаковой самостоятельности вещей, чем падеж с родительным или ...два падежа с различными предлогами для выражения определенных отношений между этими вещами»[1].

2. В пределах индоевропейского предложения отсутствовало четкое формальное разграничение предикативных и аппозитивных отношений.

В современном предложении с его строгой централизацией определительные отношения, устанавливаемые между наименованиями предмета и его качества, образующими единое предметное понятие, в корне противоположны отношениям предикативным, при установлении которых приводится в связь два различных понятия. В условиях автономии слов, характерной для индоевропейского предложения, эта противоположность должна была быть несравненно менее четкой. Увеличение независимости какого-либо слова, обозначающего признак, по отношению к другому слову, обозначающему носителя признака, естественно приводит к превращению первого из составной части данного единого понятия в самостоятельное понятие, свободно взаимодействующее с другим и его характеризующее, смещает его, другими словами, от атрибута к предикату. В свете сказанного приобретает особое значение отмечавшееся выше преобладание в древнем индоевропейском предложении аппозиции (приложения) над другими видами синтаксических связей. «Наиболее самостоятельный член предложения есть сказуемое, которое одно может обойтись без всех прочих членов. Поэтому под относительной самостоятельностью приложения следует понимать его большую предикативность сравнительно с собственным определением» (разрядка моя.— *Г. К.*)[2]. Проанализируем соответствующий пример.

В эпитафии Люция Сципиона, написанной архаическим латинским языком III века до н. э., есть фраза ***filius Barbati, consul, censor, aediilis hic fuit apud vos***, в которой явно имеется (см. выделенное) ряд однородных членов. Между тем нет возможности не воспринять их все как предикативы («он был среди вас консулом, цензором, эдилом, сыном Бородатого»— явно бессмысленно), ни понять их все как приложения: в предикативности слов *consul*, *censor*, *aedilis* все же трудно усомниться. Специфика этого предложения в том и заключается, что оно отражает синтаксические нормы, резко отличные от современных, но бывшие на ранней ступени развития индоевропейского предложения универсальными: в определенных случаях в одних и тех же членах предложения могли совмещаться и значения приложения к подлежащему и значения именной части сказуемого без определенной их дифференциации. Благодаря равноправию и автономии слов, входящих в предложение, не существует еще разницы между основным сообщением, высказанным о подлежащем,— «был консулом, цензором, эдилом» и второстепенным его уточнением — «сын Бородатого».

Сохранится это положение еще и в классической латыни в конструкции так называемого «второго именительного». Ср.: *Superioris anni munitiones integrae manebant* (Caes. B. G. 6, 32,5) «Сохранились нетронутые укрепления прошлого года», «Укрепления прошлого года сохранились нетронутыми?»; *Tarquinius dux belli legitur* (Liv. I, 54, 2) «Был избран военачальник Тарквиний», «Тарквиний был избран военачальником?» В практике чтения мы, разумеется, не сомневаемся в том, какой из этих вариантов выбрать; не возникало, очевидно, недоразумений в процессе общения и у римлян, но сама грамматическая форма, отражая особенности предшествующего этапа в развитии строя предложения, еще не выражает этого различия.

Древнерусское *избираша Кира царя* и т. п. древнегреческое κλέων ἡρέθη κατάσκοπος показывает, что описанное неразличение аппозиции и предиката характерно не только для латинского, но и для ряда других древних индоевропейских языков.

3. Индоевропейское предложение характеризовалось отсутствием четкого противопоставления субъектно-предикативных и аппозитивных групп в рамках предложения.

Эта особенность древнего предложения непосредственно вытекает из двух предыдущих: как из того, что предикативная характеристика субъекта не обособлена от второстепенной, в частности, от аппозитивной его характеристики, так и из той само-

---

[1] А. А. Потебня, Из записок по русской грамматике, т. III, Харьков, 1899, стр. 210.

[2] Там же, т. I — Введение, Воронеж, 1874, стр. 129.

стоятельности членов предложения, о которой говорилось выше. В качестве примера используем следующее место из Лаврентьевской летописи: *По размѣшеніи же языкъ богъ вѣтромъ великимъ разраши столпъ, и есть останок его промежю Асюра и Вавилона... и в лѣта многа хранимъ останокъ*[1]. В приведенном примере причастие *хранимъ* совмещает в себе черты и определения (в смысле: «остатки, сохраняющиеся много лет»; употребление бесчленных причастий в атрибутивной функции в летописях, как известно, не редкость), и сказуемого (в смысле «и много лет сохраняются эти остатки»). Таким образом, становится весьма затруднительным решить вопрос, является ли данное словосочетание аппозитивной синтаксической группой («и находятся эти остатки его между Ассирией и Вавилоном, остатки, сохраняющиеся в течение многих лет») или предложением («и находятся эти остатки его между Ассирией и Вавилоном, и много лет сохраняются эти остатки»). Союз *и*, стоящий перед интересующим нас выражением, *ничего для решения этого вопроса не дает*, так как в летописях, как известно, союзы широко употребляются эксплективно. Дело заключается даже не столько в трудности признания данного выражения синтаксической группой или особым предложением, сколько в отсутствии в самом древнем строе речи достаточно четких границ между этими двумя формами в том случае, когда они встречаются в составе одного предложения.

Эта особенность предложения не является чертой только древнерусского синтаксиса. Она широко представлена и в ряде других древних индоевропейских языков. Так, известна тенденция латинской фразы, особенно в устной и эмоциональной речи, распадаться на маленькие самостоятельные рядоположенные элементы, в которых атрибутивные и аппозитивные отношения часто нестилизованы от сказуемостных, а синтаксическая группа — от предложения. Рассмотрим, например, следующее предложение Цицерона: *Itaque ante diem tertium Ides Novembres, quum Sacra via descenderem, insecutus est me cum suis; clamor, lapides, fustes, gladii, haec improvisa omnia: discessimus in vestibulum Tettii Damionis* (Att. IV, 2, 3). «Так вот, когда я, в третий день перед ноябрьскими Идами спускался по Sacra via, он со своими людьми двинулся за мной; (поднялся) крик, (полетели) камни, (обнажились) мечи, (пошли в ход) палки, такое все неожиданное (все это так неожиданно?); мы отступили во двор Теттия Дамиона». Вряд ли можно с уверенностью сказать, представляет ли собой подчеркнутое выражение атрибутивную или предикативную группу. Такие примеры весьма нередки. Подобные явления отмечаются исследователями и в санскрите[2].

Мы видим, таким образом, что во многих древних индоевропейских языках различие между аппозитивной группой, т. е. второстепенным синтаксическим сочетанием в пределах данного простого предложения, и субъективно-предикативной группой, т. е. придаточным предложением, которое, входя в состав данного высказывания, делает его сложным целым, практически было в ряде случаев весьма слабо выражено. В связи с этим можно сделать нижеследующий вывод:

4. Индоевропейское предложение, оставаясь простым по форме, могло становиться эквивалентом сложного (прежде всего, за счет широкого использования оборотов с глагольными именами).

Выше уже указывалось, что для древнего предложения были характерны большая автономия членов, преобладание аппозитивных связей, сближенность аппозиции и предиката. Эти черты в своей совокупности приводили к тому, что, например, в славянских языках, те или иные слова, в частности причастия, стоявшие в аппозиции к подлежащему предложения, как бы уравнивались в правах с глагольным сказуемым и могли даже соединяться с ним союзом. Так, в Остромировом евангелии (Ио. XIX, 13) читаем: *Пилатъ... изведъ вонъ Иса и сѣде на сѫдищи*. Так же и в древнерусском: *Приискши Олегъ и рече им* (ПВЛ, стр. 41); *Изъяславъ же и Ростиславъ угадавша и разъехастася* (Ипат. лет., л. 44) и т. д.

В ряде случаев такие аппозитивные причастия могли иметь при себе свой субъект, отличный от подлежащего личного глагола, и образовывать в пределах данного простого предложения как бы еще одну субъектно-предикативную группу. Многочисленные примеры таких конструкций собраны А. А. Потебней. Ср.: *Андрей же то слышавъ и бысть образъ лица его потуплѣн* (Ипат. лет., л. 109); *И та вся створивъ азъ, рече Игорь, невостойно ми бѣшеть зѣлити* (там же, л. 131); *Асколдъ же и Диръ придоста и выскакав же вси прочии из лодья, и рече Олегъ Асколду и Дирови* (ПВЛ, стр. 16). Все три приведенные предложения — простые. Включение в их состав аппозитивных групп, представлявших собой в охарактеризованных выше условиях древнего синтаксиса построения, промежуточные между предложением и членом предложения, придает каждому из этих высказываний значение сложного целого.

---

[1] См. «Повесть временных лет», ч. 1, М. — Л., 1950, стр. 10 (в дальнейшем ссылки на это издание даются прямо в тексте в сокращенном виде — ПВЛ).

[2] Ср. K. Brugmann, Zur Geschichte der Nominalsuffixe *-as-*, *-jas-* und *-ras-*, «Zeitschrift für vergl. Sprachforschung», Bd. XXIV, 1879, стр. 36—37.

Нельзя считать случайным, что во всех приведенных примерах в аппозитивной функции выступает причастие. Именно причастия, как и нелично-глагольные формы, вообще объединявшие в себе черты имени и глагола, входя в подобные синтаксические группы, увеличивали их предикативное содержание, приближали их к предложению и потому использовались особенно охотно и широко там, где нужно было в форме простого предложения выразить содержание сложного целого. В ту эпоху, когда язык еще не располагал развитыми средствами для отделения второстепенной мысли от главной и для подчинения первой из них второй, именно этой способностью неличного глагола выражать содержание дополнительного сообщения в пределах простого еще предложения и объясняется неоднократно отмечавшееся исследователями преимущественное распространение неличных глагольных форм в древних языках в аппозитивной функции.

Простые предложения, которые при помощи нелично-глагольных аппозитивных групп становятся как бы формой сложного синтаксического целого, широко распространены не только в древнерусском, но и в других древних индоевропейских языках. Для древнегреческого примером могут служить хотя бы стихи 210—211 из III песни «Илиады»:

στάντων μὲν Μενέλαος ὑπείραχεν εὐρέας ὤμους
ἀμφω δ'ἑζομένω γεραρω τερος ἦεν Ὀδυσσεύς

«Стоя, плечами широкими царь Менелай отличался;
Сидя же вместе (буквально: оба же сидящие), почтеннее был Одиссей благородный».

Подчеркнутая аппозитивная группа настолько независима в синтаксическом отношении от всего остального предложения, что по смыслу вполне может быть воспринята как придаточное предложение. В греческом языке была возможность строить предложение без личного глагола, из одних имен, в связи с чем разница между такой группой и безглагольным вводным предложением переставала ощущаться.

В еще более ясном виде выступает эта черта синтаксической структуры древних индоевропейских языков в латинских памятниках. В «Анналах» Тацита (XI, 1) есть, например, такая фраза (речь идет о жене императора Клавдия — Мессалине):

Valerium Asiaticum, bis consulem, fuisse quondam adulterum eius [=*Poppaeae*] *credidit, pariterque hortis inhians, quos ille a Lucullo coeptos, insignia magnificientia extollebat, Suilium accusandis utrisque immitit*

«[Мессалина] решила, что дважды консул Валерий Азиатик был некогда любовником Поппеи; кроме того, она завидовала садам Азиатика, которые он, продолжая дело, начатое Лукуллом, украшал с невиданным великолепием; [по этим причинам она и] подсылает Суилия, чтобы он обвинил их обоих» (т. е. Азиатика и Поппею).

Это сложное предложение формально состоит из главного с двумя сказуемыми (*credidit immitit*) и придаточного относительного (*quos... extollebat*). По сути дела, однако, каждое из этих предложений выражает содержание сложного целого. В главном предложении сказано не только, что Мессалина думала что-то об Азиатике и послала куда-то Суилия, но также и то, что Азиатик, по ее мнению, был любовником Поппеи, что она сама завидовала садам Азиатика, что Суилий был подослан ею для того, чтобы он обвинил обоих (Азиатика и Поппею). В большинстве своем эти дополнительные предикации потребовали бы в современном языке лично-глагольного оформления, переросли бы в придаточные, и одно главное предложение Тацита стало бы целым сложным высказыванием. В латинском тексте этого не происходит именно потому, что, в соответствии с описанными выше нормами древнего синтаксиса, эти предикации не требуют лично-глагольного оформления, а выражаются именными формами, т. е. входят в состав одного данного предложения в качестве его второстепенных членов. То же самое происходит в приведенном примере и в придаточном предложении, где в форме одного предложения скрыто две коммуникации (Азиатик украшал сады, и сады эти были заложены Лукуллом), но только первая из них оформлена как сказуемое.

Все отмеченные до сих пор особенности древнего предложения, как мы видели, связаны друг с другом и как бы вытекают одна из другой. Именно в своей совокупности и взаимосвязи они придают древнему предложению ту совершенно особую структуру, которая резко отличает его от предложения современного.

5. Суммируя все указанные особенности древнего индоевропейского предложения, можно сказать, что в нем само сообщение не отделялось четко от деталей, его уточняющих; что в нем отсутствовало ясное выражение подчиненности этих деталей главному сообщению; что, следовательно, как это уже и отмечалось в научной литературе по различным другим поводам, древнее индоевропейское предложение характеризовалось отсутствием подлинного единства и централизации.

Весь приводившийся выше материал подтверждает, повидимому, справедливость этого взгляда. Ограничимся поэтому одним примером не столько для подтверждения, сколько для пояснения данной мысли

В Ипатьевской летописи (л. 251—251 об.) читаем: *Мьстиславу же вѣровавшю словесемь его и ч[ес]тью великою почтивъ его и Звенигородъ дасть ему*. В этом простом предложении содержится три формы, выражающие действие: *вѣровавшю, почтивъ и дасть*. Судя по их форме, они содержат информации разной степени важности и самостоятельности. Первая из них, причастие в дательном падеже, образует со словом *Мьстиславу* абсолютный оборот, т. е. эквивалент придаточного, и тем самым, казалось бы, явно не может быть главным сказуемым. Вторая глагольная форма — аппозитивное причастие, стоящее либо в именительном падеже, либо вышедшее из форм согласования,— тоже вряд ли может быть признана самостоятельным сказуемым, хотя, как указывалось выше причастия такого типа были в древнем языке несравненно ближе к спрягаемому глаголу, чем сейчас. Наконец, лично-глагольная форма *дасть* в наибольшей степени может быть принята за самостоятельное, главное, сказуемое. Установленная таким образом иерархия глагольных форм противоречит, однако, тому, что все они соединены союзами и образуют ряд однородных членов предложения. Не следует забывать наконец, что все эти формы относятся к одному субъекту, падеж которого (дательный) тоже заставляет сомневаться, имеем ли мы здесь дело с главным подлежащим. Представляется очевидным, что подобное построение отражает такую ступень развития предложения, на которой оно еще не располагало развитыми средствами отделения главного сообщения от комментариев к нему и подчинения последних первому.

Теперь, разобрав специфические черты древнего индоевропейского предложения, мы можем обратиться к проверке того, насколько справедливо усматривать в его дальнейшей эволюции «первый» и «второй» из намечаемых А. П. Рифтиным путей развития сложного предложения.

II. Паратаксис и гипотаксис

(«Первый путь развития сложного предложения»)

Происхождение современного сложного предложения с его развитой системой подчинительных средств из ряда простых, формально никак между собой не связанных высказываний, т. е. происхождение гипотаксиса из более древнего паратаксиса, в настоящее время может считаться доказанным. Эта теория подтверждена огромным фактическим материалом, принимается почти всеми исследователями, пишущими по вопросам сравнительного синтаксиса и исторического синтаксиса отдельных языков. Для А. П. Рифтина и следующих за ним ученых это как раз и есть «первый путь развития сложного предложения». При этом складывается впечатление, что создание гипотаксиса понимается прежде всего, а подчас и исключительно как механическое объединение ряда простых высказываний в одно сложное, что все дело сводится к выработке аппарата подчинения и к оформлению при помощи него тех же самых простых высказываний, которые прежде входили в паратактический ряд.

Между тем сопоставление древнего индоевропейского предложения со всеми его перечисленными выше характерными чертами с современным предложением, обнаруживающим определенное единообразие в пределах современных русского, французского, английского и других родственных языков, показывает, насколько односторонне представление о становлении гипотаксиса как о происшедшем некогда простом объединении древних независимых предложений. Части современного предложения, построенного на основе гипотаксиса,— это не старые простые предложения, объединенные системой подчинительных средств, это — синтаксические величины, внутренне, сами по себе глубоко отличные от охарактеризованных выше древних простых предложений. Это внутреннее отличие простого предложения, бывшего некогда составной частью древнего паратактического ряда, от предложения, являющегося составной частью современного гипотаксиса, касается прежде всего следующих двух моментов.

Во-первых, древнее предложение при включении его в паратаксис внутренне никак не менялось и не утрачивало характерных черт самостоятельного предложения. Напротив, в современном языке «составные части сложного предложения нельзя рассматривать как отдельные предложения, а только как взаимосвязанные и поэтому несамостоятельные элементы единого синтаксического построения»[1]. Этой стороне современного сложного предложения уделялось в последнее время много внимания в науке о языке, и вряд ли она требует специального развития и аргументации.

---

[1] Н. С. Поспелов, указ. соч., стр. 336.

Отличие древнего предложения — члена паратактического ряда — от современного предложения — члена гипотаксиса имеет, однако, и еще одну сторону, в меньшей степени привлекающую обычно внимание исследователей. В современном языке самостоятельные предложения и составные части гипотаксиса при всей разнице между ними имеют и ряд общих черт: и те и другие представляют собой субъектно-предикативные единицы, содержащие только одну коммуникацию, вокруг которой сгруппированы и которой подчинены все остальные элементы, входящие в такую единицу. И тем и другим незнакомы, или почти незнакомы, те разобранные выше черты, которые составляли специфику древнего простого предложения. И в тех и в других слова не представляют собой взаимонезависимых, автономных единиц, а объединяются при помощи различных синтаксических связей в определенные компактные словосочетания; и в тех и в других аппозитивные и определительные связи формально отграничены от связей предикативных и, соответственно, в предложении есть субъективно-предикативный центр, вокруг которого объединяются элементы, уточняющие основную мысль и подчиняющиеся ей. Короче говоря, современное предложение — как независимое, так и входящее в состав гипотаксиса, за редкими исключениями, представляет собой централизованную систему, взаимодействующие и взаимосвязанные части которой уточняют и иллюстрируют одну, в данной ситуации наиболее существенную, коммуникацию. Именно эта централизация и внутреннее единство отсутствовали, как мы видели, в древнем индоевропейском предложении, бывшем чаще всего клубком мало дифференцированных и неясно увязанных коммуникаций.

Переход от паратаксиса к гипотаксису и предполагал прежде всего придание предложению централизации и внутреннего единства. Не развившийся постепенно аппарат объединяющих и подчинительных средств, связующих ряд простых высказываний в одно сложное, обеспечил переход от паратаксиса к гипотаксису, а, наоборот, растущая потребность в отделении главного сообщения от второстепенных деталей и в подчинении последних первому обеспечила рост централизации и единства предложения, что проявилось, между прочим, в выработке аппарата подчинительных средств.

Сопоставление разобранного выше древнего индоевропейского предложения с современным (русским, французским и им подобным) показывает, что развитие от паратаксиса к гипотаксису вовсе не сводится к объединению простых высказываний в сложное. Оно заключалось в переходе от старого принципа автономии отдельных слов, синтаксических групп и целых предложений к новому строю предложения, проявлявшемуся прежде всего в приведении его членов в отношения взаимной зависимости и подчинения и лишь между прочим предполагавшего распространение этого принципа на паратактические ряды простых, мало друг с другом связанных предложений. Паратактичность — это общий характер древнего строя речи, реализующийся, в частности, в разобранных выше свойствах индоевропейского предложения. Гипотактичность — столь же общий принцип современной грамматической структуры (по крайней мере, в языках вроде русского, французского и других им родственных). Эволюция предложения в индоевропейских языках и заключалась в постепенном переходе от первого из этих принципов ко второму.

Мы видим, таким образом, что «первый путь развития сложного предложения», о котором говорит А. П. Рифтин, в индоевропейских языках действительно существует. Только заключается он совсем не в том, что те же простые предложения, которые прежде не соединялись друг с другом совсем или соединялись сочинительными связями, теперь приводятся в отношении подчинения, не в «соединении двух простых предложений на базе сочинения», из которого «вырастает в дальнейшем подчинение»[1]. Развитие от паратаксиса к гипотаксису заключается в переходе от предложения со слабой централизацией и единством к предложению, которое насквозь едино и централизовано и поэтому располагает аппаратом подчинительных связующих средств, объединяющих как слова внутри предложения, так и сами предложения в единое, подчас весьма сложное целое, в котором второстепенное отделено от главного и подчинено ему.

III. Нелично-глагольные обороты и предложение

(«Второй путь развития сложного предложения»)

Во вступительной части статьи уже указывалось, что в целом ряде неиндоевропейских языков обороты с нелично-глагольными именами могут непосредственно использоваться в качестве придаточных предложений. Такое положение наблюдается, например, в некоторых языках Севера нашей страны и в отдельных языках Кавказа[2]. Вполне естественно поэтому, что применительно к таким языкам можно говорить о развитии сложноподчиненного предложения «...изнутри простого предложения через обороты, упомянутые выше, которые в итоге также дают соединение двух предложе-

[1] А. П. Рифтин, указ. соч., стр. 66.

[2] Ср. А. А. Бокарев, Синтаксис аварского языка, М.— Л., 1949, стр. 69—80.

ний»[1], т. е. о «втором пути развития сложного предложения»[2]. Такого положения нет, насколько можно судить по изученным материалам, ни в одном индоевропейском языке. Здесь нелично-глагольные обороты были вытеснены, заменены придаточными с личным глаголом в сказуемом, а не переросли в них. Тем не менее значение аппозитивных оборотов с глагольными именами в развитии предложения огромно, только сторонники теории «двух путей» характеризуют это значение весьма неточно и видят его не совсем там, где оно находится.

Нелично-глагольные аппозитивные обороты в большинстве древних языков могли быть инфинитивными и причастными. Инфинитивные обороты с винительным или именительным падежами во всех древних и новых языках весьма далеки от самостоятельного предложения и настолько явно не перерастают в него, что рассмотрение их в этом плане мало что дает. Напротив, абсолютные причастные конструкции, с их многообразными синтаксическими функциями, с их способностью играть роль независимых предложений, фактически находящихся с другим, лично-глагольным предложением в отношениях сочинения, с их формальным совпадением в некоторых языках с независимым предложением скорее могли бы быть причислены к числу предложений, развивающихся по так называемому «второму пути» Между тем именно история абсолютных конструкций предельно ясно показывает, что нелично-глагольные обороты сыграли в индоевропейских языках роль не формы развития сложного предложения, а лишь определенного этапа в этом развитии.

Абсолютная причастная конструкция или начисто отсутствует, или встречается весьма редко в наиболее архаичных памятниках древних индоевропейских языков; ее употребительность возрастает и достигает максимума в классические периоды развития тех же языков. Так, на всю «Илиаду» приходится лишь 46 оборотов этого рода, на всю «Одиссею» — 32, тогда как в аттической прозе абсолютные генитивы встречаются буквально на каждом шагу. В «Русской Правде», в «Слове о полку Игореве» абсолютных оборотов нет совсем, а в Ипатьевской летописи, например, они встречаются до 11 раз на каждый печатный лист В так называемом «Постановлении сената о вакханалиях» 186 года до н. э абсолютных причастий нет, а в произведениях Цезаря, Тита Ливия, Тацита они отмечаются по 50—70 раз на каждый печатный лист. При этом растет не только употребительность данных оборотов; нормы их построения и использования в предложении становятся гораздо более четкими при переходе от архаических текстов к классическим Вслед за расцветом абсолютной конструкции начинается, однако, ее упадок, проявляющийся и в сокращении употребительности оборотов, и во внутреннем их разложении. Поздние латинские, ранние новогреческие тексты и памятники русского языка XVII—XVIII вв. свидетельствуют об этом. Лишь в наши дни в некоторых западноевропейских языках абсолютные обороты переживают как бы вторичный расцвет что связано, однако, с полным их внутренним переосмыслением и к нашей теме прямого отношения не имеет.

Аппозитивные группы других типов, в частности инфинитивные, переживают во многом сходный процесс развития: как и абсолютные обороты, они широко распространены в древних индоевропейских языках, затем переживают глубокий упадок или отмирают совсем и в новое время опять распространяются в некоторых языках уже на совсем иной основе.

Чем объясняется что нелично-глагольные аппозитивные обороты, на которых основан намечаемый А П. Рифтиным «второй путь развития сложного предложения», эволюционирует таким образом? Ответ на этот вопрос также следует искать в разбиравшихся выше особенностях древнего индоевропейского простого предложения. Мы видели что в этом предложении главное сообщение и субъектно-предикативные группы его оформляющие, не были четко отграничены от второстепенных деталей и аппозитивных групп. Становление централизованного предложения начинается с дифференциации главного и второстепенного сообщений и оформления способов выражения этой дифференциации.

Первоначальный этап этого процесса и связан с широким распространением аппозитивных оборотов с глагольными именами. Выше (см. раздел I, п. 4) мы видели, что эти обороты органически связаны с не централизованным характером старого предложения. Однако наряду с этим нелично-глагольные обороты представляют собой первичное средство к преодолению неупорядоченности древнего предложения. Формальные различия между личным глаголом, сочетающимся с субъектом в именительном падеже и дающим ему предельно полную предикативную характеристику, и глагольным именем, могущим сопрягаться также с субъектом в косвенных падежах и обладающим весьма ограниченными предикативными возможностями, были использованы для дифференциации главного сообщения (со сказуемым — личным глаголом) и второстепенного (с предикативным членом — глагольным именем). Расцвет отглагольных оборотов в древних языках и приходится на тот период, когда предложение е щ е настолько нецентрализовано, что может содержать в себе ряд субъектно-предикативных групп,

[1] А. П. Рифтин, указ. соч., стр. 66.
[2] Там же.

промежуточных между членом предложения и придаточным, и уже настолько сильно тяготеет к централизации, что стремится использовать структурные особенности этих групп для формальной дифференциации главного и второстепенного высказываний.

В процессе дальнейшего развития отглагольные обороты, теснейшим образом связанные с архаическим строем предложения, начинают разлагаться и переходят в простые члены предложения или заменяются придаточными предложениями. Подлинная централизация предложения успешно доводится до конца уже более совершенными средствами: группировкой лично-глагольных придаточных вокруг главного предложения и все усложняющейся системой союзов. Распространение оборотов с глагольными именами в их исконной только что описанной функции, таким образом, исторически резко ограничено. Эти обороты давали возможность выразить неравноправность двух сообщений, объединяемых в одном сложном высказывании; они показывали, какое из этих сообщений является главным, а какое—зависимым; но уточнить характер этой зависимости и стать полноценными современными придаточными эти обороты не могли.

Аппозитивные обороты с отглагольными именами, таким образом, связаны с определенным первоначальным этапом в становлении сложного централизованного предложения В дальнейшем они не развиваются в глагольные придаточные, а заменяются ими, что только и обеспечивает подлинную централизацию и единство предложения.

IV. Выводы

Все сказанное дает, повидимому, возможность сформулировать следующие основные выводы.

1. «Простое предложение» и «сложное предложение» — понятия соотносительные. Их противопоставление всецело оправдано для современного языка. Оно утрачивает свой смысл для индоевропейского языка-основы, в котором не было сложных предложений, а следовательно, не было и простых, в обычном современном понимании этих терминов. Древнее предложение обладало рядом особых черт, делавших противопоставление сложного и простого предложений недействительным.

2. Древнее индоевропейское предложение в корне отличалось от современного отсутствием в нем подлинного единства и централизации, что проявлялось в большой автономии слов, в преобладании аппозитивных связей над управлением, в отсутствии четких границ между аппозитивными и субъектно-предикативными группами и, в частности, в способности древнего простого предложения становиться при помощи аппозитивных групп, промежуточных между предложением и членом предложения, формой сложного высказывания.

3. Теория «двух путей развития сложного предложения», говорящая об объединении простых предложений в сложные, о возникновении сложных предложений изнутри простых, основана,— по крайней мере по отношению к индоевропейским языкам,— на перенесении в древность современного противопоставления сложного и простого предложений. Исследование специфических черт древнего индоевропейского предложения показывает, что следует пересмотреть традиционное понимание как «первого», так и «второго» путей развития сложного предложения.

4. Сущность перехода от паратаксиса к гипотаксису (так называемый «первый путь») заключается не в «соединении двух простых предложений на базе сочинения»[1], а в том, что мало централизованное предложение, состоящее из относительно мало связанных друг с другом слов и синтаксических групп, превращается в единое предложение, в котором второстепенные детали отделены от главного сообщения и подчинены ему. Выработка аппарата подчинительных средств, связующих ряд предложений в единое сложное целое, есть лишь одно из частных проявлений этого общего процесса.

5. Так называемый «второй путь развития сложного предложения» в индоевропейских языках не существует, так как обороты с глагольными именами в этих языках не становятся придаточными (которые всегда тяготеют к лично-глагольной форме), а заменяются ими. Роль оборотов с глагольными именами заключается в выражении ими определенного этапа в процессе централизации предложения: они выступают в древних индоевропейских языках как одна из начальных форм отделения главного сообщения от второстепенного и выражения их неравноправия; позднейшие фазы этого процесса связаны уже с лично-глагольными придаточными и с союзным подчинением.

Г. С. Кнабе

---

[1] См. А. Рифтин, указ. соч., стр. 66

К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ ГРАММАТИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ

(На материале русского языка)

Проблема взаимодействия и взаимоотношений между грамматическими категориями и частями речи не может быть освещена без ясного определения соответствующих лингвистических терминов.

В дискуссионной статье Н. С. Поспелова «Соотношение между грамматическими категориями и частями речи в современном русском языке»[1] вопрос о содержании главных для статьи терминов остался неосвещенным. А ведь известно, что единства понимания терминов «грамматическая категория», «грамматическое значение», «грамматическая форма» в нашей лингвистической литературе пока нет, что в какой-то мере связано и с разнобоем в понимании и применении термина «грамматика».

Вопреки имеющимся в науке совершенно ясным указаниям на то, что термин «грамматика» двузначен, он применяется многими авторами без надлежащего внимания к этой его особенности и потому сбивчиво и неясно. Это обстоятельство оказывается причиной нежелательного смешения представлений о грамматическом строе языка с представлениями о науке, этот строй изучающей. Так, например, Н. С. Поспелов в статье «Учение И. В. Сталина о грамматическом строе языка»[2] неоднократно допускает смешение двух значений термина «грамматика». Во втором абзаце раздела, озаглавленного «Грамматика как наука о грамматическом строе языка», определение грамматики как собрания правил об изменении слов и сочетании слов в предложении переносится на грамматику как науку, в то время как это определение должно быть отнесено к грамматике языка. В том же абзаце марксистское положение, согласно которому язык именно благодаря грамматике получает возможность облечь мысли в материальную языковую оболочку, дано в таком контексте, что становится совершенно неясно, относит ли автор статьи это положение к грамматике языка или к грамматике как науке.

Определение И. В. Сталиным отличительной черты грамматики отнесено в статье Н. С. Поспелова (в третьем абзаце указанного выше раздела) к грамматике как науке, в то время как оно, несомненно, должно быть отнесено к грамматике языка.

В результате смешения и неразличения двух значений термина «грамматика» Н. С. Поспелов допускает серьезные неточности. Главная из них заключается в том, что, говоря о методе науки, Н. С. Поспелов привлекает для подтверждения своей мысли цитату, определяющую отличительную особенность грамматического строя; тем самым между наукой и изучаемым ею объектом как бы ставится знак равенства; объективная абстракция, развивающаяся в грамматическом строе языка независимо от воли и желания отдельных людей, незаметно для автора и читателя подменяется абстракцией, возникающей в голове ученого-грамматиста при исследовании грамматических категорий языка.

Неразличение и смешение двух значений термина «грамматика» сказались в той же статье и на истолковании понятия грамматической категории: «...грамматические категории каждого языка должны устанавливаться в пределах того или иного языка путем абстрагирования от конкретного языкового материала, а не по принципам единой всеобщей грамматики»; «...грамматические категории представляют собою общие понятия грамматики, определяющие характер грамматического строя языка, которые находят свое выражение в изменении слов и в сочетании слов в предложениях. В анализе грамматического строя того или другого языка грамматические категории оказываются различными ступенями абстракции от частного и конкретного в словах и предложениях»[3]. Коль скоро грамматические категории должны устанавливаться в том или ином языке и коль скоро они оказываются различными ступенями абстракции в анализе грамматического строя, можно подумать, что они представляются Н. С. Поспелову научными понятиями, а не объективно присущими языку составными и необходимыми элементами его грамматического строя. Таким образом, и в этом случае налицо смешение различных по своей специфике и природе явлений: объекта научного исследования и отражения этого объекта в научных взглядах и теориях.

Читатель не найдет сколько-нибудь ясного различения и разграничения грамматики языка и грамматики как науки и в статье П. С. Кузнецова «Грамматика»[4]. Правда, эта статья начинается с упоминания о двух значениях термина «грамматика».

---

[1] ВЯ, 1953, № 6.

[2] Сб. «Вопросы языкознания в свете трудов И. В. Сталина», М., 1952.

[3] Н. С. Поспелов, Учение И. В. Сталина о грамматическом строе языка, стр. 111 и 112 (разрядка в цитатах моя.—*Б. Г.*).

[4] БСЭ², т. 12, стр. 423—430.

Однако в процессе дальнейшего изложения двузначность этого термина забывается и речь, повидимому, идет о грамматике как науке. Во всяком случае можно думать, что до второго абзаца второго столбца страницы 424 названной статьи излагаются сведения о науке. И поскольку нигде до этого не делается ни малейшего намека на то, что излагаемые сведения должны быть отнесены к грамматике языка, читатель вправе отнести их и, естественно, относит к грамматике как науке. А между тем выше в статье говорится о необходимости грамматики для языка, об отличительной черте грамматики, об обобщающем характере ее правил, т. е. о таких признаках, которые присущи грамматике языка, или, иначе, грамматическому строю.

Читатель-языковед остается в недоумении по поводу того, как же представляет себе П. С. Кузнецов различия и связи между грамматикой языка и грамматикой как наукой, а читатель-неязыковед невольно может приписать грамматике как науке не свойственную ей роль структурной стороны языка.

К сожалению, непоследовательность в применении термина «грамматика» в различных его значениях обнаруживается и в «Грамматике русского языка», выпущенной в свет Институтом языкознания АН СССР[1].

В § 2 этого труда (стр. 8) термины «грамматика» и «грамматический строй» взаимозамещаются, причем первый из них, как правило, употребляется для указания на грамматику как науку. Возникает та же самая неясность относительно признаков каждой из двух «грамматик». В книге допущено даже прямое смешение особенностей грамматического строя и науки о нем (см. тот же § 2).

Таким образом, в ряде языковедческих работ последнего времени обнаруживается неразличение двух значений термина «грамматика»: а) грамматический строй и б) наука о грамматическом строе. Это обстоятельство не может не искажать понимания действительного соотношения между объективно присущими языку грамматическими правилами, законами, категориями и их отражением в научных понятиях и формулах.

Грамматика языка представляет собою систему объективно действующих в языке правил, которым подчиняются изменения слов и сочетания их для построения предложений; эти правила развиваются по внутренним языковым законам и выявляются в системе присущих языку грамматических категорий. Именно они, эти объективно существующие в языке правила и нормы, придают языку стройный, осмысленный характер, именно в их распоряжение поступает словарный материал в процессе речевого общения; именно они являются результатом длительной абстрагирующей работы человеческого мышления. Так, мне кажется, следует понимать соответствующие положения марксистской науки о языке.

Грамматические правила и нормы, выявляющиеся в системе грамматических категорий, отражаются в понятиях грамматической науки, которая не может изменить процессы развития грамматического строя языка, но может все полнее и глубже познавать законы этого развития. Ясное и последовательное разграничение понятий о грамматике языка и грамматике как науке — одно из необходимых условий успешного разрешения различных грамматических проблем, в частности, проблемы грамматических категорий в их взаимосвязи и в их отношении к лексике.

*

Можно назвать несколько работ последнего времени, авторы которых излагают свое понимание грамматической категории[2]. В некоторых из этих работ намечается попытка пересмотреть принципиальное понимание сущности грамматических категорий, изложенное в трудах проф. А. М. Пешковского, акад. Л. В. Щербы, акад. В. В. Виноградова и принятое практикой научного исследования грамматического строя русского языка.

А. М. Пешковский следующим образом определял грамматическую («формальную», по его терминологии) категорию: «Формальная категория слов есть ряд форм, объединенный со стороны значения и имеющий, хотя бы в части составляющих его форм, собственную звуковую характеристику»[3]. Пешковскому удалось в этом определении син-

---

[1] «Грамматика русского языка», т. I — Фонетика и морфология, М., Изд-во АН СССР, 1952.

[2] См., например: «Грамматика русского языка», т. I — Фонетика и морфология, М., Изд-во АН СССР, 1952; «Современный русский язык. Морфология» (курс лекций), под ред. В. В. Виноградова, Изд-во Моск. ун-та, 1952; Р. А. Будагов, Очерки по языкознанию, М., Изд-во АН СССР, 1953; Н. С. Поспелов, Учение И. В. Сталина о грамматическом строе языка, сб. «Вопросы языкознания в свете трудов И. В. Сталина», Изд-во Моск. ун-та, 1952; П. С. Кузнецов, Грамматика [статья], БСЭ², т. 12.

[3] А. М. Пешковский, Русский синтаксис в научном освещении, 6-е изд., М., 1938, стр. 57.

тезировать взгляды на грамматическую категорию, высказанные А. А. Шахматовым и Ф. Ф. Фортунатовым, и преодолеть, как мне кажется, односторонность каждого из этих взглядов. Ведь в языке нет независимого от формально-грамматических признаков грамматического значения (или «понятия»), как нет в нем и независимых от грамматического значения слова его формально-грамматических признаков. Именно этот общепризнанный факт и нашел отражение в определении формальной категории предложенном А. М. Пешковским.

Л. В. Щерба различал в грамматических категориях содержание, значение и форму, внешние, формальные признаки категорий. «Существование всякой грамматической категории обуславливается тесной, неразрывной связью ее смысла и в с е х ее формальных признаков»[1]. Очевидно, что для Л. В. Щербы категория представлялась единством грамматического значения и его формально-морфологических признаков, хотя некоторые высказывания Л. В. Щербы и могут вызвать предположение о том, что он придерживался шахматовского взгляда на категорию как грамматическое понятие

В. В. Виноградов в книге «Русский язык» последовательно рассматривает грамматические категории как системы форм, объединенных единством значения и синтаксических функций[2]. На протяжении всей книги он анализирует различные грамматические категории современного русского языка, неизменно вскрывая в каждой из них единство значений и формальных признаков.

В некоторых грамматических работах последнего времени делается попытка возвратиться в понимании грамматических категорий к взглядам А. А. Шахматова. Грамматические категории нередко рассматриваются то как «общие, характерные для данного языка грамматические значения»[3], «значения обобщенного характера, *свойственные словам, но отвлеченные от конкретного значения этих слов*»[4], *то как* «грамматические понятия, находящие себе морфологическое или синтаксическое выражение»[5] как «общие понятия грамматики, определяющие характер грамматического строя языка, которые находят свое выражение в изменении слов и в сочетании слов в предложениях»[6], как «общие понятия грамматики, определяющие характер или тип строя языка и находящие свое выражение в изменении слов и в сочетании слов в предложениях»[7]. Эти и подобные определения сущности грамматических категорий не могут не вызвать к себе настороженного и критического отношения.

Давно узаконен в языкознании термин «грамматическое значение», соотносительный с термином «лексическое значение»; грамматическое значение всегда имеет обобщенный характер по отношению к лексическим значениям, хотя это и не исключает того факта, что лексические значения отдельных слов, в свою очередь, являются обобщениями по отношению к конкретно-чувственным образам действительности.

Поскольку наш язык звуковой, постольку любое значение слова, лексическое и грамматическое, выражено в звучащих единицах, любая смысловая часть слова оформлена материально, в звуках, т. е. является вместе с тем и материальной частью слова. Материальной формой выражения грамматических значений того или иного слова является вся совокупность его морфем: ведь ясно, что изолированный от остальных морфем слова формообразующий аффикс перестает быть аффиксом и выразителем грамматического значения; *ть, а, у, ы, ишь* — сами по себе не могут быть носителями грамматических значений. Однако не все морфемы того или иного слова необходимо связаны с определенным грамматическим значением. Так, в слове *пере-пал-к-а* первые три морфемы не имеют необходимой связи со значением женского рода и единственного числа, поэтому они не обязательны для выражения этих грамматических значений, вместо них в других словах могут оказаться иные морфемы и в ином количестве, например *рек-а, сестр-иц-а, на-дом-н-ик-а* и т. п Необходимой связью оказывается соединена с грамматическими значениями женского рода и единственного числа морфема *а, поэтому она обязательна для выражения этих значений* и не может быть заменена другими морфемами, по крайней мере в пределах большого круга слов. Вот такие именно морфемы, необходимой связью соединенные с тем или иным грамматическим значением, и являются одним из наиболее сильных типов формально-морфологических средств, выражающих различные грамматические значения.

Несмотря на то, что в самом языке грамматические значения слов и словосочетаний существуют в нерасторжимом единстве с формально-грамматическими средствами

[1] Л. В. Щ е р б а, О частях речи в русском языке, сб. «Русская речь», Новая серия, вып. II, Л., 1928, стр. 7.

[2] См. В. В. В и н о г р а д о в, Русский язык, М.— Л., 1947, стр. 38—39.

[3] См. Н. С. П о с п е л о в, Соотношение между грамматическими категориями и частями речи..., стр. 53.

[4] П. С. К у з н е ц о в, указ. статья, стр. 424.

[5] Р. А. Б у д а г о в, указ. соч., стр. 148.

[6] Н. С. П о с п е л о в, Учение И. В. Сталина о грамматическом строе языка, стр. 112.

[7] «Грамматика русского языка», т. I, стр. 9.

выражения этих значений, наука, в целях более полного и глубокого исследования языковых фактов, очень часто вынуждена бывает отвлекаться временно от реально существующего единства значений и их форм и рассматривать, в известных пределах, те и другие как бы существующими раздельно. Иными словами, грамматические значения и формально-грамматические средства их выражения оказываются в известной мере самостоятельными и различными объектами научного исследования. Однако наука нуждается не только в расчлененном осознании изучаемого объекта как состоящего из нескольких различных сторон — она не в меньшей мере нуждается в целостном отображении исследуемого объекта как сложного единства его различных сторон и проявлений. Реально существующее в языке единство грамматического значения и средств его формально-грамматического выражения есть один из важнейших объектов грамматического изучения. Это единство и называется грамматической категорией.

Грамматические категории могут быть основными, общими (части речи, члены предложения и т. д.) и сопутствующими основным, частными (вид, залог, наклонение; род, падеж, число и т. п.); степень грамматической абстракции, получившей закрепление в той или иной, общей или частной грамматической категории, разумеется, различна: различными оказываются и взаимосвязи отдельных общих и частных категорий друг с другом и с лексикой; однако все это не меняет принципиальной стороны дела любая грамматическая категория по языковой природе своей представляет собой единство грамматического значения и выражающих это значение формально-грамматических признаков.

Если же грамматические категории считать «общими грамматическими значениями» «общими понятиями грамматики», хотя бы и выраженными морфологически или синтаксически (кстати, как это понять? Ведь сами грамматические значения являются необходимой составной частью и морфологии, и синтаксиса), возникает немало противоречий и непреодолимых затруднений.

Остается совершенно непонятным в этом случае, зачем нужно параллельное употребление двух терминов — «грамматическое значение» и «грамматическая категория»: ведь грамматическое значение всегда имеет обобщенный характер и всегда «морфологически и синтаксически» выражено (а этими двумя основными признаками и обладает, по мнению некоторых исследователей, грамматическая категория).

Если согласиться с теми, кто рассматривает грамматические категории как «предельно общие грамматические значения», то пришлось бы отнести к числу категорий предметность, качественность, значение процесса и т. п., но мы должны были бы исключить из числа грамматических категорий вид, залог, число, степени сравнения, а также предлоги, союзы и т. п., поскольку они не выступают в частных по отношению к ним грамматических значениях.

Если признать грамматическими категориями «общие грамматические значения», «общие понятия грамматики» и т. д., то остается неудовлетворенной настоятельная потребность лингвистической науки в наименовании того единства грамматического значения и выражающих его формально-грамматических признаков, изучением которого языкознание и должно заниматься.

Кроме того, понимание грамматических категорий как «общих понятий грамматики» с неизбежностью ставит вопрос о том, отличаются ли эти «общие понятия» от грамматических значений и если отличаются, то чем именно; признание грамматическими категориями «общих понятий грамматики» не позволяет увидеть качественную разницу между грамматическими обобщениями, возникающими в процессе развития грамматического строя и имеющими всегда общенародный и объективный характер, и научными, логическими обобщениями (научными понятиями), которые несут на себе печать субъективного и нередко искаженного отражения действительности.

В признании грамматических категорий «общими грамматическими значениями», «общими понятиями грамматики» нетрудно увидеть то же самое смешение представлений о предмете—объекте научного исследования и отражений этого объекта в научных взглядах, примеры чего приводились выше. Действительно, термин «грамматическая категория» имеет два значения: а) реальное языковое единство грамматического значения и формально-грамматических средств его выражения; б) наиболее общее научное понятие, отражающее более или менее полно и точно реально существующие языковые грамматические категории. Так что совершенно необходимо отчетливо различать грамматические категории языка и грамматические категории науки; вторые являются лишь отображениями первых, а первые служат объектом отображения для вторых. Грамматика как наука, естественно, занимается изучением системы языковых грамматических категорий в процессе их исторического развития; что же касается содержания общих понятий грамматики как науки, то изучением развития этого содержания занимается, как известно, история грамматических учений.

Критикуемые здесь взгляды на грамматическую категорию свидетельствуют если не о смешении двух различных значений термина «грамматическая категория», то во всяком случае о невнимании к необходимости разграничения этих двух значений

*

В дискуссионной статье Н. С. Поспелова[1] грамматические категории рассматриваются как общие, характерные для данного языка грамматические значения и противопоставляются частям речи как лексико-грамматическим разрядам слов. Вследствие этого одним из ведущих в статье оказывается положение о том, что в частях речи реализуются грамматические категории.

Это положение, как и обоснование всей проблемы соотношения частей речи и грамматических категорий в статье Н. С. Поспелова даны, мне кажется, не вполне убедительно. В самом деле, ведь части речи суть не что иное, как предельно широкие морфологические (значит, грамматические) категории любого языка. В одну и ту же часть речи слова объединяются вследствие того, что в них развиваются однородные, или однотипные грамматические значения, получающие однородное, или однотипное, формально-грамматическое выражение.

Предельно общие, основные морфологические категории (части речи) реализуются в частных категориях (падеж, род, число — в именах; вид, наклонение, время — в глаголах и т. п.) Основные грамматические значения той или иной части речи (значение предметности, качества и свойства, процесса и т. п.), реализуясь в грамматических значениях сопутствующих категорий, видоизменяются и развиваются в единстве и взаимосвязи с развитием последних. Основные морфологические категории (части речи) обладают каждая специфичными по качеству и количеству сопутствующими категориями, и в этой специфике сопутствующих категорий выявляется специфика основной категории. Иными словами, наблюдается сложное взаимодействие общего и частного и в этой области языка.

Наличие одноименных грамматических категорий в различных частях речи есть не что иное как одно из выявлений и обнаружений внутренних связей и зависимостей между самими частями речи как основными морфологическими категориями. И поэтому языковеда интересует прежде всего не то, какими именно частными, сопутствующими грамматическими категориями связаны основные категории (части речи), а то, почему именно данные, а не другие части речи объединяются одними и теми же сопутствующими грамматическими категориями и какова специфика одноименных сопутствующих категорий в разных частях речи.

Думается, что проблема взаимосвязи и взаимодействия частей речи и сопутствующих им грамматических категорий в действительности глубже и сложнее, нежели она выглядит в статье Н. С. Поспелова. Если даже не выходить за пределы морфологии, то, повидимому, можно говорить о следующих типах взаимосвязи и взаимодействия грамматических категорий.

1. Связи между частями речи по общности или сходству основных грамматических значений. К этому типу следует отнести связи и взаимодействия между наречиями и деепричастиями; между именами прилагательными, именами числительными порядковыми, причастиями и местоимениями-прилагательными; между именами существительными и местоимениями-существительными и т. д.

2. Связи между частями речи по внутренней зависимости их основных грамматических значений. Примером этого типа зависимости может служить зависимость между именами существительными и именами прилагательными, глаголами и наречиями. Признак предмета зависит от самого предмета, признак процесса зависит от самого процесса; поэтому указанная связь между существительными и прилагательными, глаголами и наречиями с неизбежностью вытекает из специфики грамматического значения соответствующих частей речи.

3. Связи между частями речи по общности или сходству их частных грамматических категорий. Связью этого типа соединяются имена существительные, имена прилагательные, имена числительные, местоимения и причастия (общностью категории падежа); имена прилагательные качественные и наречия (общностью степеней сравнения); причастия, имена прилагательные, порядковые числительные (общностью категории рода) и т. д.

4. Зависимость между частями речи по способности создавать однотипные грамматические связи в словосочетании. Этот тип зависимости внутренне неоднороден: в нем выделяются такие связи между частями речи, как связь причастия и прилагательного (одинаково вступают в согласование с именами существительными), существительного и глагола (могут одинаково управлять существительными, одинаково присоединять к себе наречия: *выехать из города* и *выезд из города пуговица из перламутра* и *сделать из перламутра*, *кисть для бритья* и *купить для друга; чтение вслух* и *читать вслух*, *труд на себя*, и *работать на себя*, *разговор впустую* и *разговаривать впустую* и т. п.), наречия и деепричастия, деепричастия и существительного и. т. д.

---

[1] См. Н. С. Поспелов, Соотношение между грамматическими категориями и частями речи...

5. Связи между частными грамматическими категориями различных частей речи по общности или сходству грамматического значения этих категорий. Так, несомненна связь между категориями падежа, рода и числа в именах прилагательных и причастиях; эта связь опирается на сходство соответствующих грамматических значений и не распространяется на категорию падежа, числа и рода имен существительных.

6. Связи между частными грамматическими категориями различных частей речи по зависимости грамматического значения этих категорий. В качестве примера этого типа зависимости частных грамматических категорий можно назвать зависимость между категориями рода, числа, падежа имен существительных, с одной стороны, и имен прилагательных и причастий — с другой.

7. Связи между частными грамматическими категориями внутри одной и той же части речи. Здесь можно было бы указать на взаимодействие вида, залога и времени, времени и наклонения в глаголе, числа и рода в имени существительном, качественности-относительности и степеней сравнения в имени прилагательном и т. п.

Даже это беглое и далеко не полное перечисление типов грамматической связи и зависимости между различными грамматическими категориями говорит о том, насколько разнообразны и сложны взаимодействия в области грамматического строя. Картина еще более осложнится, если принять во внимание то обстоятельство, что различные типы связей и их разновидностей отнюдь не одинаковы по их генезису, характеру, степени отвлечения от лексики, глубине абстракции и другим признакам.

Так, например, очевидно, что далеко не все типы связей между грамматическими категориями отражают глубинные зависимости между ними: связи третьего, четвертого и остальных типов менее глубоки по сравнению со связями первого и второго типов и являются лишь своеобразным выявлением этих последних.

Можно указать и на то, что связь между именем существительным, именем прилагательным, местоимением, числительным и причастием, проявляющаяся в наличии у всех этих частей речи категории падежа, оказывается, по существу, лишь внешней, вторичной формой выявления более глубоких и прочных связей между частями речи. Понятно поэтому, что категория падежа оказывается своеобразной в каждой из этих пяти частей речи, и связи через эту категорию между существительными и прилагательными, прилагательными и причастиями, существительными и числительными, числительными и причастиями и т. д. также оказываются однородными лишь внешне, но не внутренне.

Категория падежа в именах существительных и местоимениях-существительных однородна и отражает отношение предмета к другим предметам, а также к процессам и качествам-свойствам. Обнаруживается несомненное грамматическое сходство основного значения существительных и местоимений-существительных, объясняемое, возможно, генетическим тождеством.

Та же самая категория падежа в именах существительных и именах прилагательных резко различна: ведь падеж прилагательного своим грамматическим значением отражает не отношение предмета к другому предмету (или процессу), а лишь связь признака с предметом, вступившим в то или иное отношение к другому предмету или процессу.

Таким образом, наличие в ряде частей речи общей для них одноименной грамматической категории вовсе еще не говорит об общности или сходстве грамматической природы соответствующих частей речи: оно может говорить и о прямо противоположном — о резких качественных различиях существенных, глубинных сторон таких частей речи, которые внешне объединены одной и той же по имени частной грамматической категорией.

Поэтому утверждение Н. С. Поспелова об объединяющей функции таких категорий, как падеж, род, число, время, справедливо лишь частично: оно верно применительно к наблюдению формальных показателей одноименной грамматической категории в разных частях речи, но оно неверно применительно к истолкованию внутренних связей между частными и общими грамматическими категориями. Внутренне, по языковой природе своей, такие категории, как падеж, род, число, время, не столько объединяют различные части речи, сколько выражают совершенно различные связи и взаимозависимости между ними. И, конечно, не в интересах науки не замечать глубокого внутреннего различия одноименных грамматических категорий в разных частях речи.

Если в грамматической категории видеть единство грамматического значения и формально-грамматических средств, то нельзя не замечать того, что категории падежа, рода, числа в имени существительном и в имени прилагательном — это совершенно различные категории, хотя и имеющие одно и то же имя в силу своей яркой и сильной связи в языке и речи. Категория рода в имени прилагательном и категория рода в глаголе — это, по существу, также различные категории, хотя и не лишенные известного сходства в своем отношении к категории рода в имени существительном. Категория времени в глаголе и категория времени в кратких прилагательных, конечно, также не представляют собой единой категории. Но, с другой стороны, категории падежа в име-

ни существительном и в местоимениях-существительных могут рассматриваться как нечто единое, и это их единство заключено прежде всего в общности их падежных значений. Точно так же категория падежа в именах прилагательных, причастиях и порядковых числительных действительно едина по своему грамматическому значению и выявляет одинаковое или, во всяком случае, сходное отношение соответствующих частей речи к действительности, друг к другу и к имени существительному.

Изучение внутренних качественных различий между грамматическими категориями, основными и сопутствующими, разноименными и одноименными, не менее необходимо для понимания действительных взаимосвязей между ними, чем наблюдение внешнего их объединения сходными формально-грамматическими признаками.

•

В статье Н. С. Поспелова, как и в некоторых других работах, опубликованных в последние годы, остро поставлена проблема различия в степени (или в ступени) абстракции, закрепленной различными грамматическими категориями. Эта проблема выдвигается насущными задачами изучения грамматического строя и законов его развития; ее решение способствовало бы более глубокому пониманию природы грамматических категорий, их взаимосвязи, их отношения к лексике и миру реальной действительности, их глубокого отличия от категорий логических, которые тоже представляют собой результат абстрагирующей деятельности мысли.

Первоочередными представляются следующие две задачи: исследование своеобразия типов грамматической абстракции, различающихся степенью и характером отвлечения от лексического материала, и изучение качественного отличия абстракций грамматических от абстракций логических.

Если правильно то, что грамматические значения суть всегда отвлечения, абстракции от значений лексических, закрепленные и выраженные в тех или иных формально-грамматических показателях, то, повидимому, о степени отвлеченности грамматических категорий можно судить лишь по тому, насколько сильно и насколько ярко обнаруживается их зависимость от лексического материала.

Принимая во внимание именно этот показатель степени грамматической абстракции, можно наметить следующие типы грамматического абстрагирования — в самом схематичном виде и применительно лишь к фактам русского языка:

1. Грамматические абстракции, сохраняющие очевидную зависимость от лексики. Они закрепляются за так называемыми лексико-грамматическими категориями — вещественности, отвлеченности, собирательности, возвратности, взаимности и др. Абстракции этого типа имеют очень ясную связь с действительностью и нередко непосредственно с ней соотносятся; аффиксы, выступающие в роли формальных показателей таких категорий, отчетливо выражают не только грамматическое, но и лексическое значение, которые здесь не противопоставлены сколько-нибудь отчетливо.

2. Грамматические абстракции, сохраняющие скрытую, но легко выявляемую связь с лексикой. Они закреплены за всеми самостоятельными частями речи и очень многими сопутствующими категориями. Их связь с действительностью очевидна, хотя, как правило, и не допускает прямого соотнесения; формальные показатели соответствующих категорий имеют грамматическое значение; лексические и грамматические значения отчетливо противостоят друг другу. Таковы абстракции, выражаемые категориями падежа, числа, вида, залога, времени и т. п.

3. Грамматические абстракции, частично или полностью утратившие выявляемую в современном языке связь с лексикой. Грамматические значения соответствующих категорий частично или полностью формализованы. Таковы абстракции, закрепленные категориями спряжения, типов склонения, глагольных классов, категорией рода[1].

4. Грамматические абстракции, частично или полностью поглотившие лексику, лексические значения слов. Противопоставление грамматических и лексических значений в соответствующих категориях оказывается слабым из-за неопределенности лексического значения. Соотнесенность с действительностью сохраняется и, как правило, достаточно ясно осознается. К числу таких категорий в современном русском языке относятся местоимения, предлоги, союзы, связки, частицы; тот же тип абстракции можно усматривать и в развитии различных аффиксов.

Таким образом, одни типы грамматической абстракции развиваются на основе сохраняющегося лексического содержания, другие — на основе поглощения его грамматическими значениями. По широте охвата лексического материала и глубине проникновения в его значения грамматические абстракции также неодинаковы. Различны они и по характеру соотнесенности с категориями действительного материального мира.

[1] Последняя лишь по какому-то недоразумению иногда рассматривается как имеющая заметную связь с действительностью: значения, отражающие половые различия, исторически никакого отношения к категории рода не имеют, за исключением разве того, что влились в родовые формы имени.

Определение степени абстрагированности тех или иных грамматических категорий от лексического материала требует большой работы по наблюдению и обобщению фактов. Оно требует и самого пристального внимания к проблеме отличий грамматической абстракции от абстракции логической. Ведь нельзя не учитывать того очевидного факта, что логическая абстракция осуществляется на базе лексического значения слова и выражается в нем; грамматическая же абстракция осуществляется на базе ряда или класса лексических значений и выражается в общности типовых формально-грамматических показателей в словах. И если логическая абстракция развивается в процессе познания действительности, то грамматическая абстракция развивается в процессе речевого общения; логическая абстракция представляет собой отвлечение от предметов и явлений действительности, а грамматическая абстракция — отвлечение от словесных лексических значений; в формировании логических абстракций очень заметна роль личности, хотя и здесь она не является ни определяющей, ни ведущей; в формировании грамматических абстракций роль личности никак не выражена, грамматика всегда была и остается результатом общенародной мыслительной деятельности.

Б. П. Головин

ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ НАД КАТЕГОРИЕЙ ЛИЦА В ПАМЯТНИКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА СТАРШЕЙ ПОРЫ

Вопрос об употреблении в определенных случаях формы родительного падежа в значении винительного падежа прямого дополнения (*вижу сына, жду Петра*) довольно часто привлекал к себе внимание исследователей.

Этим явлением интересовались специалисты по старославянскому языку, поскольку оно известно старославянским памятникам старшей поры. Историки русского языка неоднократно занимались вопросом об употреблении родительного падежа в значении винительного при изучении генезиса категории одушевленности, возникновение и оформление которой характерно для истории русского языка, поскольку здесь, как известно, складываются своеобразные закономерности ее существования.

При этом следует отметить, что в современных работах и учебных пособиях по истории русского языка в наибольшей степени распространено такое объяснение происхождения категории одушевленности, при котором предполагается, что замена винительного падежа формой родительного первоначально происходила у существительных, обозначающих «общественно полноправных», «свободных» лиц.

Положение о первоначальном развитии родительного-винительного у существительных, обозначающих лиц общественно полноправных, проникло и в программу по исторической грамматике русского языка. Все эти обстоятельства побуждают автора данной заметки еще раз обратиться к памятникам старшего периода русского языка и проследить употребление в них формы родительного падежа в значении винительного, а также и те случаи, где имеется сохранение формы винительного падежа, которая равна именительному у существительных, обозначающих категорию лица. Соответствующий материал, который в дальнейшем подвергается анализу, взят нами главным образом из таких трех памятников, как «Русская Правда» (краткая и пространная редакции), «Поучение Мономаха» и «Слово о полку Игореве»[1], причем из этих памятников полностью извлечены все примеры, относящиеся к изучаемому явлению. Для рассмотрения мы выделяем прежде всего материал, который характеризует употребление существительных, обозначающих лиц мужского рода в единственном числе.

1. Употребление в качестве прямого дополнения форм существительных, которые безусловно обозначают социально неполноправных лиц, т. е. таких, как *холоп, смерд, челядин, закуп* (наемный работник).

Из числа подобных существительных слово *холоп* представлено в «Русской Правде» и в форме винительного падежа равной родительному (три случая), и в форме винительного равной именительному падежу (шесть случаев):

> «Аже кто кренеть *чюжь холоп* не ведая, то первому господину *холоп* поняти...» (статья 118, стр. 733).

---

[1] «Правда русская». II — Комментарии, под ред. Б. Д. Грекова, М.— Л., 1947 (Ин-т истории АН СССР); «Поучение Мономаха» и «Письмо Мономаха Олегу Святославичу» — в кн.: А. С. Орлов, Владимир Мономах, М.— Л., Изд-во АН СССР, 1946; «Слово о полку Игореве», под ред. В. П. Адриановой-Перетц, М.— Л., *Изд-во АН СССР, 1950.*

«Аже кто переиметь *чюжь холоп* и дасть весть господину его, то имати ему переем гривна» (статья 113, стр. 718).

«А оже уведеть *чюжь холоп* любо робу, платити ему за обиду 12 гривне» (статья 29, стр. 189).

«Аже кто не ведая *чюжь холоп* усрячеть и...» (статья 115, стр. 724).

«А в холопе и в робе виры нетуть; по оже будеть без вины убиен, то *за холоп* урок платити или за робу, а князю 12 гривен продаже» (статья 89, стр. 606).

«...а дасть ему хлеба или укажеть ему путь, то платити ему *за холоп* 5 гривен...» (статья 112, стр. 716).

«А послушьства *на холопа* не складають, но оже не будеть свободнаго, то по нужи сложити *на* боярьска *тивуна*..., а в мале тяже по нужи възложити *на закупа*» (статья 66, стр. 542).

«Аже пустить *холопа* в торг, а одолжаеть, то выкупати его господину...» (статья 117, стр. 730).

«...а бежить в хором, а господин начнеть не дати его, то *холопа* поити да платить господин за нь...» (статья 17, стр. 112).

Форма старого винительного падежа у слова *холоп* сохраняется, как показывают приведенные примеры, в тех случаях, когда оно стоит с определяющим его словом, выраженным прилагательным *чужь* и с предлогом *за*, форма же родительного падежа в значении винительного представлена в трех приведенных случаях: а) при предлоге *на*, б) в положении непосредственно после глагольного сказуемого, в) при явной инверсии, в результате которой дополнение оказывается перед сказуемым.

Слово *закуп* встретилось в памятнике в трех случаях и только в форме родительного падежа:

«Продасть ли господин *закупа* обель, то наимиту свобода по всем кунах...» (статья 61, стр. 520).

«Аже господин переобидить *закупа*, а увидить купу его или отарицю, то то ему все воротити...» (статья 59, стр. 506).

«...а в мале тяже по нужи възложити *на закупа*» (статья 66, стр. 542).

В двух первых примерах только употреблением формы родительного падежа достигается грамматическое различие между словами *господин* (подлежащее) и *закуп* (дополнение). В третьем случае слово *закуп* в форме родительного падежа находится после предлога *на*.

Существительное *челядин* также употреблено в «Русской Правде» как в старой форме винительного падежа равной именительному, так и в форме родительного падежа в значении прямого объекта.

«...то изымати ему *свои челядин*...» (статья 11, стр. 87).

«...вдаи ты мне *свои челядин*...» (статья 16, стр. 110).

«Аще кто *челядин* поняти хощеть, познав свои...» (статья 16, стр. 110).

«Аще познаеть кто *челядин свои* украден, а поиметь и, то оному вести и по кунам до 3-го свода: поняти же *челядина* в челядин место...» (статья 38, стр. 381).

«...а где будеть конечнии тать, то опять воротять *челядина*, а свои поиметь и протор тому же платити...» (статья 38, стр. 381).

Форму винительного падежа равную именительному у этого существительного видим при определении, выраженном местоимением *свой*; сочетание с определяющим словом и здесь, очевидно, способствует сохранению старой формы винительного падежа. Форму родительного падежа видим опять-таки при сказуемом, выраженном глаголом.

Имеются в «Русской Правде» и два примера со словом *смерд*.

«Аще смерд мучить *смерда* без княжа слова, то 3 гривны продажи... аже огнищанина мучить, то 12 гривен продаже...» (статья 78, стр. 574).

«Или *смерд* умучать, а без княжа слова...» (статья 33, стр. 198).

В первом случае форма родительного падежа создает особое грамматическое оформление объекта в отличие от субъекта, тоже выраженного существитель-

ным *смерд*. Во втором случае это же слово в значении прямого дополнения стоит перед сказуемым и сохраняет форму винительного падежа равную именительному.

Таким образом, мы видим, что из двадцати встретившихся в памятнике случаев употребления существительных, обозначающих лиц социально неполноправных, девять имеют форму родительного падежа в значении винительного. При этом следует отметить наличие этой формы в случаях, когда употреблением ее достигается различие в грамматическом выражении объекта и субъекта, нередко к тому же *стоящих непосредственно рядом друг с другом*.

По отношению к остальным случаям употребления родительного падежа явно имеется возможность предположить, что в данном контексте на прямое дополнение *падало логическое* ударение.

2. Употребление в качестве прямого дополнения форм существительных, которые обозначают категорию лиц, принадлежащих к богатым и политически влиятельным *слоям общества*, т. е. таких, как *князь*, его родственники (*брат*, *сын* со значением «брат князя», «сын князя»), должностные лица, приближенные к князю, богатые купцы — *гости* и т. п.

Винительный равный именительному от существительного *князь* и от слов, обозначающих родственников князя, не встретился:

«Ту нѣмци и венедици, ту греци и морава поют славу Святъславлю, кають *князя Игоря*...» («Слово о полку Игореве», стр. 18).

«Игорь плъкы заворочаетъ: жаль бо ему мила *брата Всеволода*» (там же, стр. 16).

«Игорь ждетъ мила *брата Всеволода*» (там же, стр. 11).

«Съ тоя же Каялы Святоплъкъ повелѣ яти *отца* своего междю угорьскими иноходьци ко святѣй Софии къ Киеву» (там же, стр. 15—16).

«Послушах *сына* своего, написах ти грамоту...» («Письмо Мономаха Олегу...», стр. 156).

Существительные, обозначающие должностных лиц, отмечены в роли прямого дополнения как в форме родительного падежа (шесть случаев), так и в форме винительного (два случая):

«...Аще убьють *огнищанина* в обиду, то платити за нь 80 гривен убиици...» («Правда Русская», статья 19, стр. 132).

«...аже *огнищанина* мучить, то 12 гривен продаже...» (там же, статья 78, стр. 574).

«Аже убьют *огнищанина* у клети, или у коня, или у говяда... то убити в пса место...» (там же, статья 21, стр. 154).

«А иже убьют *огнищанина* в разбои...» (там же, статья 20, стр. 148).

«О убийстве. Аже кто убиеть *княжа мужа* в разбои...» (там же, статья 3, стр. 255).

«А *за тивун* за огнищныи и за конюшии, то 80 гривен...» (там же, статья 12, стр. 309).

«...но по нужи сложити *на боярьска тивуна*...» (там же, статья 66, стр. 542).

«Аже кто своего холопа сам досочиться в чьемь любо городе, а будеть посадник не ведал его, то, поведавше ему, пояти же ему *отрок* от него, и шедше увязати и...» (там же, статья 114, стр. 720).

«Куда же поидете, иде же станете — напойте, накормите убога и странна, и боле же чтите *гость*...» («Поучение Мономаха», стр. 138).

От существительного *тиун* старая форма винительного падежа представлена с предлогом *за*, а форма, совпадающая с родительным падежом, с предлогом *на*. Слова *отрок* и *гость* в значении прямого объекта отмечены лишь в форме винительного падежа равной именительному.

К числу существительных, обозначающих социально полноправных лиц, безусловно следует отнести существительное *муж* (в значении «свободный человек»). Из пяти примеров, встретившихся в наших памятниках, в четырех случаях это слово в значе-

нии прямого объекта употреблено в форме родительного падежа и в одном случае — в форме винительного, равной именительному:

«Аще ли ринеть мужь *мужа* любо от себе любо к собе...» («Правда Русская», статья 10, стр. 82).

«Убьеть мужь *мужа*, то мьстить брату брата...» (там же, статья 1, стр. 15).

«Аче попъхнеть мужь *мужа* любо к собе ли от собе...» (там же, статья 31, стр. 356).

«А се аже холоп ударить *свободна мужа*, а убежить в хором, а господин его не выдасть, то...» (там же, статья 65, стр. 535).

«Прислалъ ко мнѣ *мужь свой* и грамоту, река:...» («Письмо Мономаха Олегу...», стр. 156).

В трех случаях употребления родительного падежа объект и субъект выражены одним и тем же существительным и стоят рядом друг с другом. Прямое дополнение *мужа* снова отмечаем при местоимении *свой*.

При определении *свой* находится и прямое дополнение *соль* со значением «посол», отмеченное в единственном примере в форме винительного равного именительному:

«Да еже начнеши каятися богу, и мнѣ добро сердце створиши, пославъ *соль свой*...» (там же, стр. 160).

Приведенный фактический материал показывает, как нам кажется, что и существительные, обозначающие «социально полноправных лиц» (когда эти существительные употребляются в роли прямого дополнения), встречаются по памятникам далеко не только в форме родительного падежа, но и сохраняют форму винительного падежа равную именительному.

3. Употребление в качестве прямого дополнения существительных, которые должны быть признаны нейтральными с точки зрения социальной оценки, т. е. таких, например, как существительное *человек* в обобщенном значении.

В памятнике «Поучение Мономаха» названное существительное в качестве прямого дополнения представлено только в форме родительного падежа:

«И сему чюду дивуемъся, како от персти создавъ *человѣка* ...» («Поучение Мономаха», стр. 134).

«...ти бо мимоходячи прославять *человѣка* по всѣм землям любо добрым любо злымъ» (там же, стр. 138).

«...а не вдавайте силным погубити *человѣка*» (там же, стр. 136).

Существительное *муж* (в значении «супруг») представлено в форме винительного равной именительному при предлоге *за* и в форме равной родительному в положении непосредственной близости к глагольному сказуемому.

«Аже жена ворочеться седети, по мужи, а растеряеть добыток и пойдеть *за мужь*, то...» («Правда Русская», статья 101, стр. 668).

«...но отдадять ю *за мужь* братия, како си могуть» (там же, статья 95, стр. 648).

«...а мати им пойдеть *за мужь*...» (там же, статья 99, стр. 659).

«...зане нѣсть в ней ни зла ни добра, да бых обуимъ оплакалъ *мужа* ея и...» («Письмо Мономаха Олегу...», стр. 158).

Другие случаи употребления существительных, которые могут быть отнесены к группе нейтральной лексики, оказываются единичными в наших памятниках. Это такие существительные, как *послух* и *видок* (оба — со значением «свидетель»), *иночим* («отчим»), *тать*, *разбойник*, *мытарь*. Приведем примеры их употребления в качестве прямого дополнения.

«Искавше ли *послуха*, не налезуть, а истьця начнеть головою клепати, то ти им правду железо» («Правда Русская», статья 21, стр. 335).

«...аще ли не будеть на немь знамения, то привести ему *видок* слово противу слова» (там же, статья 29, стр. 350).

«Будеть ли потерял *своего иночима* что, а онех отця, а умреть, то възворотить брату...» (там же, статья 105, стр. 683).

«...якож блудницю и *разбойника* и *мытаря* помиловалъ еси, тако и нас грѣшных помилуй!» («Поучение Мономаха», стр. 136).

«Аже будеть росечена земля или знамение, им же ловлено, или сеть, то по верви искати *татя* ли платити продажю» («Правда Русская», статья 70, стр. 549).

«Аще убьють *татя* на своем дворе...» (там же, статья 38, стр. 216).

На основании приведенных примеров можно подчеркнуть употребление формы родительного падежа в значении прямого объекта непосредственно при глагольном сказуемом (за исключением слова *видок*) — положение, где, очевидно, на прямое дополнение падало логическое ударение.

Таким образом, следует прежде всего отметить, что употребление формы родительного падежа в значении прямого объекта имеет значительное распространение и в тех случаях, когда в качестве прямого дополнения выступают существительные, относящиеся к группе нейтральной лексики. На основании всех предшествующих рассуждений можно прийти к следующим выводам:

1. Нет основания считать, что форма родительного падежа в значении прямого объекта прежде всего появилась у существительных, обозначавших общественно активных лиц, в то время как существительные, обозначавшие социально неполноправных лиц, продолжали сохранять старую форму винительного падежа.

2. Форма родительного падежа в прямом дополнении у существительных последней группы начала появляться в самый ранний период древнерусского языка, в памятниках XI и XII веков (а не с конца XIII в., как обычно полагают). На это указывают многочисленные факты из «Русской Правды» (краткая и пространная редакции) и из «Поучения Мономаха».

3. Фактический материал наших памятников показывает, что форма родительного падежа в значении винительного наличествует не только у существительных, обозначающих социально полноправных лиц, но и у существительных, обозначающих социально неполноправных лиц.

4. Форма винительного падежа равная именительному наличествует у существительных, обозначающих как лиц социально неполноправных, так и лиц социально полноправных. Если бы во всех случаях у существительных, обозначающих социально неполноправных лиц, винительный падеж был равен именительному, а у социально полноправных лиц отсутствовали бы случаи употребления формы винительного падежа равной именительному, то предположение о развитии родительно-винительного прежде всего у лиц общественно полноправных было бы верным. Фактический же материал рассмотренных памятников не подтверждает существующей точки зрения.

5. Исходя из марксистского учения о языке, нельзя связывать появление формы родительного падежа в значении винительного и сохранение формы винительного падежа равной именительному в русском языке с социальной биографией народа — носителя этого языка. Общепринятая точка зрения о появлении родительного-винительного прежде всего у существительных, обозначающих лиц социально полноправных, не имеет под собой оснований и является по существу вульгарно-социологической.

6. Можно полагать, что последовательный процесс замены винительного падежа равного именительному родительным равным винительному у нарицательных существительных, обозначающих лиц с основой на *о*, происходил следующим образом: а) при таком построении фразы, когда субъект и объект находились по близости или смежности, в особенности при выражении того и другого одним и тем же существительным; б) при особом логическом выделении прямого объекта в предложении, в частности, при наличии инверсии в отношении порядка слов.

Возможно, что винительный падеж равный именительному продолжал сохраняться у этих существительных в том случае, когда существительные стояли с определяющим их словом, например, выраженным местоимением *свой* и прилагательным *чужь*. Из многих примеров с местоимением *свой* лишь в двух случаях прямое дополнение с этим определением стоит в форме родительного падежа.

В рассмотренных памятниках существительные, обозначающие лиц, в винительном падеже с предлогом *на* имеют форму родительного падежа, а с предлогом *за* сохраняют форму винительного падежа равную именительному.

Е. И. Кедайтене

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ТРУДЫ ВОЕННОГО ИН-ТА ИНОСТР. ЯЗЫКОВ

№№ 1—5. М., 1952—1954

№ 1 — 1952. 100 стр.; № 2—1953. 130 стр.

Спустя два года после языковедческой дискуссии был возобновлен выпуск «Трудов Военного института иностранных языков» (ВИИЯ). Подавляющее большинство статей, опубликованных в первых двух выпусках «Трудов», представляет собой краткое изложение диссертационных работ, защищенных в институте в период после языковедческой дискуссии. Этот факт свидетельствует о росте молодых языковедов института. Вместе с тем нельзя не отметить недостаточную научную продукцию его старых языковедческих кадров. Статьи первых двух выпусков посвящены исследованию английского, немецкого, датского, персидского, афганского, арабского, турецкого и японского языков. К сожалению, многочисленные языки, изучаемые в институте, представлены в рецензируемых томах далеко не равномерно. Так, около $^2/_3$ общего количества статей посвящено языкам германской группы, между тем как, например, статьи по многочисленным языкам романской группы, широко изучаемым в институте, полностью отсутствуют.

Тематика опубликованных статей довольно разнообразна: словарный состав языка (с уклоном в словообразование), грамматический строй (морфология и синтаксис). Значительно меньшее место уделено фонетике, что, однако, в какой-то мере возмещается фонетической тематикой статей третьего и четвертого выпусков, разработанных силами 1-го Московского государственного педагогического института иностранных языков, но выпущенных совместно с ВИИЯ. Вопросы истории конкретных языков ограничены в «Трудах» историческими экскурсами в связи с изучением современных языков. Кроме того, в «Трудах» нашла отражение имевшая место в ВИИЯ дискуссия, которая поставила весьма важный вопрос о партийности перевода. Представляется, что этот вопрос в общем разрешен верно. В остальном первый и второй выпуски посвящены лишь чисто лингвистическим проблемам. Методическая работа ВИИЯ и литературоведение в «Трудах» не отражены, хотя, как это явствует из редакционной статьи, в задачи рецензируемого издания входит освещение также и этих вопросов.

*

Первый выпуск «Трудов» начинается с интересной статьи канд. филол. наук Л. С. Бархударова «Служебные слова и их функции» (стр. 6—18), посвященной проблеме происхождения служебных слов и их места в системе языка. На материале преимущественно английского языка автор показывает, как из слов с конкретным значением в результате абстрагирования значения в определенных синтаксических конструкциях возникают служебные слова. При этом совершенно правильно подчеркивается, что абстрагирование значения — только одна сторона вопроса; не менее важен учет той роли, которую это слово играет в системе языка в целом, выяснение того, в каких конкретных синтаксических конструкциях оно выступает. Можно полностью согласиться с выводом автора, что рассматриваемые в статье единицы языка являются безусловно словами и «входят в систему частей речи, притом иногда в одну и ту же часть речи вместе со знаменательными словами» (стр. 14). В некотором противоречии с этим выводом, однако, находится утверждение, сделанное на стр. 11, согласно которому служебные слова, даже неполностью утратившие прежнее вещественное значение, «принадлежат, в первую очередь, сфере грамматики». Если служебные слова — безусловно слова, то они в первую очередь принадлежат словарному составу. В связи с этим и другими аналогичными утверждениями остается до конца неясным, в каком взаимоотношении находятся служебные слова и одинаково звучащие полнозначные слова (например: *grow* «становиться» и *grow* «расти»; *have* вспомогательный глагол и

have «иметь» и др.): нужно ли их считать словами-омонимами или теми же самыми словами? Отнесение служебных слов к сфере грамматики заставляет думать, что автор склоняется к первому решению вопроса, однако это противоречит фактам английского языка.

Нельзя согласиться с автором статьи также и в том, что в составных (аналитических) формах грамматическое значение целиком сосредоточено во вспомогательных глаголах. Так, на стр. 12 читаем: «в русских сочетаниях *я буду ходить, ты будешь ходить* и т. д. вспомогательный глагол *буду, будешь* передает грамматическое понятие будущего времени, относящееся к знаменательному слову *ходить*...». Думается, что будущее время передается здесь не вспомогательным глаголом, а сочетанием вспомогательного глагола с определенной формой знаменательного глагола. Это особенно ярко видно из сопоставления английских составных форм длительного вида и страдательного залога, где в отношении вспомогательных глаголов отсутствует какая бы то ни было разница, между тем как значение этих форм совершенно различно (ср. англ. *is taking* и *is taken*).

В целом статья написана хорошо и содержит много тонких и интересных наблюдений. Из неудачных формулировок автора следует отметить следующую, допущенную на стр. 14, согласно которой «одни и те же значения могут передаваться в одном случае полнозначными словами, в другом — служебными словами, в третьем — аффиксами, в четвертом — интонацией», причем «то, что в одном языке входит в сферу грамматики, в другом передается лексическими средствами». Бесспорно, что все указанные средства могут выражать одно и то же понятие, одну и ту же мысль об объективной действительности, но значение каждого средства в конкретном языке, а тем более в различных языках будет неодинаково. Следует отметить, что аналогичные формулировки имеются и в других статьях «Трудов» (ср., например, статью Н. В. Гейн, стр. 20).

Статья канд. филол. наук Н. В. Гейн «О категории вида в русском и немецком языках» (стр. 19—37) посвящена одному из очень трудных и запутанных вопросов немецкой филологии. На основании анализа большого фактического материала автор приходит к правильному выводу об отсутствии грамматической категории вида в немецком языке. Однако следует отметить, что само название статьи в связи с этим представляется неудачным, так как говорится о категории немецкого языка, в действительности в нем не существующей. Не вполне удачным представляется также и ход доказательства. Обращаясь к русскому языку, автор уточняет значения совершенного и несовершенного видов в русском, а затем указывает на отсутствие аналогичных значений в немецком. Однако отсутствие совершенного и несовершенного видов в конкретном языке еще не является доказательством того, что в этом языке вообще отсутствует категория вида. Категория вида может существовать на основе противопоставления иных категориальных форм, чем категориальные формы совершенного и несовершенного видов; ср. английскую категорию вида, выделяющуюся на основании противопоставления категориальных форм общего и длительного видов. Подобным же образом отсутствие шести русских падежей в немецком или английском языках еще не говорит об отсутствии в них категории падежа. В статье необходимо было показать, что в немецком языке отсутствуют какие бы то ни было значения видов в противопоставляющихся формах глагола.

При анализе русского материала автор допускает ряд неточностей: ср., например, отнесение *скажи* наряду со *сделал* к формам прошедшего времени. До конца остается неясным, считает ли автор словоформы совершенного и несовершенного видов формами одного и того же слова. Упоминутые словоформы именуются то вариантами, то видовыми дублетами. Неточности терминологического характера допущены и в отношении немецкого языка. Так, термин «неотделяемые приставки» предполагает неверное рассмотрение образований типа *aufstehen* в качестве слова с отделяемой приставкой, в отличие от которого слово типа *bestehen* называется глаголом с неотделяемой приставкой. Очень неудачным представляется и термин «континиузный» (стр. 22) в применении к английскому длительному виду. Большое внимание в статье уделяется проблеме внутренних законов, однако не вполне ясна точка зрения автора, согласно которой «вновь развившиеся явления м о г у т представлять собой проявление внутренних законов...» (стр. 37; разрядка моя.— *В. П.*): развивающиеся явления в языке и есть проявление внутренних законов.

В статье Д. А. Ш т е л и н г а «Предлоги английского языка в синтаксических группах с причастием II» (стр. 38—49) разбирается вопрос употребления английских предлогов *by* и *with* после причастия II. В результате тщательного и тонкого анализа автор приходит к выводу, что употребление предлогов в исследуемых им случаях обусловлено общим значением синтаксической группы в целом. Так, в статических описаниях (местности, предметов, человека, человеческого лица и т. д.) без выделения в них каких-либо отдельных предметов, черт требуется предлог *with*, в то время как предлог *by* используется в тех же статических описаниях, но уже с выделением того, что представляется говорящему более значительным. Немалый интерес представляет также

наблюдение автора, что употребление предлога *with* вместо предлога *by* характерно для причастий, глагольное значение в которых ослаблено. Тем большее недоумение вызывает в этой в целом интересной статье рассмотрение приставочных и бесприставочных глаголов (*mounted — surmounted, coloured — discoloured* и др.) как форм одного и того же слова. Непонятно, что Д. А. Штелинг понимает под «единым лексическим понятием» и как возможно выделять сложное слово лишь на основе семантики (стр. 44).

Статья доц. Л. С. Пейсикова «К характеристике основного словарного фонда персидского языка» (стр. 50—59) ставит целью применить учение об основном словарном фонде и словарном составе языка к мало изученному персидскому языку. В первом разделе статьи рассматривается вопрос о скрещивании персидского языка с арабским. Отмечая, что в результате скрещивания в персидский язык проникло большое количество арабских слов, которые составляют около 70% общего количества слов персидского языка, автор пытается доказать, что основной словарный фонд персидского языка сохранился в главных своих чертах. Однако это совершенно правильное положение в указанном разделе лишь декларируется, всесторонний и глубокий анализ материала отсутствует. В большинстве случаев автор ограничивается лишь общими утверждениями вроде того, что «арабские слова не сразу и не все входили в основной словарный фонд персидского языка» (стр. 53), иллюстрируя это случайными примерами. В этом отношении второй раздел статьи до некоторой степени дополняет первый. В этом разделе ставится задача показать устойчивость слов основного словарного фонда персидского языка на основе анализа истории слов, соответствующих русским словам *вода, земля, гора, лес, рыба, человек, ходить делать, производить, торговать*, которые, как известно, были названы И. В. Сталиным в качестве примеров общеупотребительных слов основного словарного фонда русского языка. Л. С. Пейсиков устанавливает, что из десяти рассматриваемых слов пять являются исконными, одно представляет собой более позднее новообразование, а четыре — заимствования. Однако дальше подобной констатации автор не идет. Раздел третий посвящен рассмотрению путей пополнения словарного состава персидского языка. Эта часть работы изложена не вполне четко. Автор считает, что, несмотря на преобладание иноязычного элемента в словарном составе персидского языка, заимствование иноязычной лексики все же можно отнести к второстепенному источнику пополнения персидского языка при условии четкого разграничения «накопления иноязычных слов» и «заимствования иноязычных слов в каждую данную эпоху» — разграничения, к сожалению, не обоснованного.

Следующая статья первого тома канд. филол. наук Н. А. Дворянкова — «Производные отыменные глаголы в современном афганском языке (пашто)» (стр. 60—71). Хотя я не берусь судить о качестве обширного фактического материала, приведенного в этой работе, я хочу высказать ряд замечаний по общим вопросам. В статье содержится требование четкого разграничения между словосочетанием, с одной стороны, и сложным, слитным и простым глаголом, с другой (стр. 61). Неизвестно, к какой общетеоретической концепции по данному вопросу присоединяется автор (в статье имеются всего две ссылки на работы по персидской филологии и совсем нет ссылок на последние работы советских языковедов, занимавшихся вопросом дифференциации словосочетания и сложного слова). Вследствие этого методика исследования вызывает целый ряд серьезных возражений. Прежде всего следует отметить, что в статье отсутствуют общие критерии разграничения словосочетания и сложного слова, в связи с чем не всегда бывает ясно, как автор пришел к тем или иным выводам. Во-вторых, вызывает сомнение, насколько правомерно отнесение целого ряда образований, разбираемых в работе, к сложным словам. Так, на стр. 66 подчеркивается, что сложные глаголы «составляют не только единый член предложения, но и единую часть речи», т. е. одно слово. Между тем в составе этого сложного глагола усматриваются вспомогательный глагол и основное слово, т. е. два слова. При этом вспомогательный глагол может менять свое место по отношению к основному слову, а основная часть согласовываться с другими членами предложения. Правда, в отношении сложных глаголов автор допускает, что порой его «составные части воспринимаются как отдельные слова со своими фонетическими и морфологическими признаками» (стр. 68—69), но встает вопрос, как вообще возможно говорить об одном слове и усматривать в его составе два слова? Совсем неясно, что имеет в виду автор, когда говорит о «смысловом оформлении» слова (стр. 60) и о «словах-понятиях» (стр. 61).

Статья А. А. Ковалева «К вопросу о временных формах арабского глагола» (стр. 72—85) разбирает одну из наиболее сложных и важных проблем арабской грамматики — вопрос о глагольных формах выражения времени в современном арабском литературном языке. Повидимому, справедливо критикуя концепцию Д. В. Семенова, согласно которой выделяемые в арабском языке две категориальные формы могут выражать любое из трех так называемых «объективных» времен: настоящее, будущее и прошедшее, автор приходит к выводу, что в современном арабском языке имеется весьма развитая система глагольных форм, специально предназначенных для выражения локализации действия во времени. Менее убедительно разработан в статье

вопрос соотношения категории времени и категории наклонения. Выделяя обе упомянутые категории как самостоятельные категории арабского глагола (стр. 77), А. А. Ковалев тем не менее усматривает случаи, когда «форма прошедшего времени утрачивает свое временное значение прошедшего времени и служит... для выражения условной модальности» (стр. 82), т. е. случаи, когда категориальная форма времени перестает противопоставляться другим временным категориальным формам, становясь категориальной формой наклонения. Представляется несомненным, что один и тот же ряд форм не может являться одновременно категориальной формой двух категорий. Одно из двух: или рассматриваемая категориальная форма во всех случаях сохраняет свое временное значение, или речь должна идти не о той же самой, а о другой (омонимичной) категориальной форме [ср. англ. (*he*) *worked* «работал» и (*he*) *worked* «работал бы»].

•

Второй выпуск «Трудов» открывается статьей канд. филол. наук Г. В. Колшанского «Суждение и предложение» (стр. 3—16). Исходя из тезиса о единстве языка и мышления, автор пытается доказать, что «всякое предложение передает суждение и всякое суждение отливается в форму предложения» (стр. 15). Отмечая начитанность автора и ряд интересных наблюдений над языковым материалом, нельзя не заметить, что при подобной широкой постановке вопроса, когда рассматривается совокупность всех типов предложений в любом языке, многое оказывается недостаточно убедительным и в большой мере спорным. Так, на стр. 15 автор усматривает в предложениях типа *Пожар!* выражение логического субъекта в форме именительного падежа слова *пожар*, мотивируя это тем, что в данном случае невозможно сказать *Пожару!*, т. е. употребить словоформу дательного падежа. Действительно, в данном предложении словоформа дательного падежа невозможна, но в других предложениях подобного типа возможно использование любой падежной формы слова, не только формы именительного падежа (*Огня! Лампу!* и т. д.). Какими языковыми средствами выражается здесь логический субъект? Выражается ли здесь логический субъект вообще? Ведь слово как таковое и фразовая интонация, согласно концепции автора, падают на долю выражения логического предиката. Вопросы эти так и остаются неясными. Весьма субъективную трактовку получают в статье и безличные предложения типа *Светает*, *Вечереет*, *Морозит*. По мнению Г. В. Колшанского, «логическая предикативность выражается» в этих предложениях «глагольной формой слова и определенной интонацией этого слова, а логический субъект выражается во флексии, синкретически передающей значение местоимения» (стр. 15). В предложениях же типа *Меня знобит* автор усматривает выражение логического субъекта уже не во флексии глагола, а в «косвенном падеже имени» (там же). В целом статья не производит впечатления научного исследования. Скорее можно говорить о предвзятой схеме, в которую Г. В. Колшанский любыми средствами пытается втиснуть языковые факты.

Едва ли также можно согласиться с автором в том, что предложение является «единицей языка» (стр. 9). Предложение представляет собой не единицу языка, а совокупность языковых единиц, конкретное речевое произведение, и как таковое оно является единицей речи, а не языка, хотя каждое языковое средство, употребленное в предложении (слова в конкретных формах, их расположение, определенный структурный образец, интонация и т. д.), несомненно, входит в язык на правах языковой единицы.

Вопросам пополнения словарного состава языка посвящена статья канд. филол. наук О. Н. Куклиной «Отражение в словарном составе современного немецкого языка демократических преобразований в Восточной Германии (по материалам немецкой демократической печати)» (стр. 17—34). На большом фактическом материале (этим разбираемая статья выгодно отличается от предыдущей) автор показывает, что обогащение словарного состава немецкого языка «происходит на основе взаимодействия устойчивого и изменчивого в языке, главным образом за счет его внутренних ресурсов, прежде всего на базе слов основного словарного фонда» (стр. 33—34). При этом основную массу новых слов составляют сложные слова, различные типы которых и рассматриваются в статье. Следует отметить, однако, что проблема сложного слова, повидимому, не вполне уяснена автором. Об этом свидетельствует сделанное на стр. 28 и повторенное на стр. 31 утверждение что в качестве первого компонента сложных слов могут выступать не только основы слов, но и части речи, т. е. самостоятельно оформленные слова. С другой стороны, никак нельзя согласиться с тем, что сложное слово в отличие от словосочетания будто бы характеризуется большей семантической нечленимостью (стр. 30 и 31). Сложное слово отличается от словосочетания своей цельнооформленностью, что же касается большей или меньшей семантической нечленимости, то она может быть в равной мере присуща обоим видам языковых образований. Кроме того, остается непонятным брошенное на стр. 28, но не подтвержденное фактическим материалом замечание об образовавшихся с 1945 по 1949 г. в немецком языке тридцати прилагательных и причастиях. Имеется ли в виду, что за указанный период было образовано некоторое количество недостаточных глаголов, представлен-

ных лишь одной формой причастия, или идет здесь речь о выпавшем из системы глагола и превратившемся в прилагательное причастии, т. е. уже не о причастии, а о прилагательном?

Статья канд. филол. наук А. С. Новаковича «О способах образования сложных слов в современном датском языке» (стр. 35—45) представляет большой научный интерес. Написанная на высоком теоретическом уровне и аргументированная большим фактическим материалом, указанная статья дает краткое описание системы образования сложных слов в современном датском языке. Можно полностью согласиться с автором статьи в том, что традиционная точка зрения, согласно которой широкое распространение сложных слов в германских языках связано со слабым развитием относительных прилагательных, является несостоятельной. Указывая на то, что «категория относительных прилагательных в современном датском языке обладает потенциальными возможностями своего дальнейшего развития», А. С. Новакович правильно замечает, что если «сравнительно слабое развитие относительных прилагательных... и широкое распространение сложных слов — взаимообусловленные явления», то «первое было бы правильнее считать не причиной, а следствием второго» (стр. 36).

Всего в современном датском языке автор намечает четыре основных способа образования сложных слов: 1) морфологический, 2) синтаксико-лексический, 3) синтаксико-морфологический и 4) способ образования сложных слов путем аффиксации и деафиксации, а также путем конверсии. Наиболее полно в статье освещен лишь первый способ образования сложных слов, и, наоборот, последним трем способам уделено сравнительно мало места. В связи с этим целый ряд важных проблем, в частности соотношение морфологического и синтаксико-лексического способов образования сложных слов, остается в статье не до конца выясненным. Недостаточное внимание уделено в статье и конверсии; по сути дела этот способ вообще не разбирается, а лишь иллюстрируется несколькими примерами.

Более частной проблеме словообразования — образованию слов в результате сплетения и одновременного действия двух способов словообразования—сложения и производства — посвящена статья канд. филол. наук С. С. Хидекель «О сложнопроизводных словах в современном английском языке» (стр. 46—64). В статье рассмотрен подробно один из типов сложнопроизводных слов — слова типа *blue-eyed*. Методика исследования и основные положения автора, подкрепленные большим фактическим материалом, представляются правильными. Совершенно недостаточно разобраны в работе случаи, когда в образованиях типа *darker-haired*, *lighter-skinned* оформление по сравнительной степени получает первый компонент, так что «образуется как бы двойное оформление, указывающее... на то, что в основе таких слов лежат свободные сочетания самостоятельных слов» (стр. 60). Что дает возможность выделять подобные образования как сложнопроизводные слова, несмотря на отсутствие цельнооформленности? Если автор считает, что цельнооформленность имеется и в подобного рода случаях, необходимо точно оговорить, в чем она проявляется. По существу С. С. Хидекель от этой проблемы просто отмахивается, сообщая, что «образования такого рода редки, и, как правило, степени сравнения сложнопроизводных прилагательных образуются аналитически» (стр. 57). Остается далее непонятным, почему основы *-eye-* в *blue-eyed* «с голубыми глазами» и *eye-* в глаголе *to eye* «рассматривать, окидывать взглядом» рассматриваются автором статьи как омонимы (стр. 56). Представляется несомненным, что основа в обоих случаях одна и та же, об омонимии же могла бы идти речь разве в том случае, если бы от сложного слова *blue-eyed* путем обратного образования (*back-formation*) был бы образован глагол *to eye*, который уже в качестве слова, а не основы был бы омонимичным упомянутому выше глаголу.

Канд. филол. наук В. Г. Чуваева в статье «Синтаксические функции причастных оборотов в современном немецком языке» (стр. 65—77) ставит перед собой задачу описания синтаксической функции причастных оборотов в современном немецком языке и установления некоторых правил употребления определенных типов причастий в различных видах оборотов. На основе анализа большого фактического материала В. Г. Чуваева приходит к выводу, что главной функцией причастных оборотов является функция так называемого «предикативного атрибута», который определяется «как полупредикативный (предикативно-атрибутивный) признак подлежащего или прямого дополнения, одновременно связанный со сказуемым предложения» (стр. 66). В зависимости от содержания связи со сказуемым автор различает следующие виды предикативно-атрибутивных причастных оборотов: обороты со значением характеристики образа действия и примыкающие к ним сравнительные обороты; обороты со значением сопровождающего обстоятельства; обороты с временным значением; обороты с причинным значением; обороты с условным значением; обороты с уступительным значением.

В этой работе использован большой фактический материал, так что дается в общем весьма полное описание исследуемых оборотов. Следует заметить, однако, что в статье слишком большое внимание уделяется семантике, в то время как структурные моменты учитываются недостаточно. Иллюстрируя конкретную функцию причастного оборота примерами, автор часто полагается на языковое чутье, не выделяя того,

что наталкивает на данное осмысление причастного оборота, какие структурные признаки предложения обусловливают определенное его восприятие.

В статье канд. филол. наук И. В. Головина «Глагольные временные формы изъявительного наклонения в современном японском языке» (стр. 78—97) ставится задача, как ее формулирует автор, описать значения и «употребления» глагольных временных форм лишь изъявительного наклонения, могущих выступать в заключительном сказуемом самостоятельного предложения (стр. 80—81). Автор приходит к заключению, что «в современном японском литературном языке имеются две основные временные формы изъявительного наклонения, в которых глагол может выступать в заключительном сказуемом самостоятельного предложения: форма на *у/ру*, обладающая прямым грамматическим временным значением настояще-будущего, и форма на *та/да*, обладающая прямым грамматическим временным значением прошедшего» (стр. 96). Следует здесь же отметить, что едва ли является правильным установление значения категориальных временных форм на основе исследования не всей совокупности форм, составляющих указанные категориальные формы, а лишь некоторой их части (форм изъявительного наклонения). В связи с этим остается неясным, в какой степени значение исследуемых в работе форм следует отнести за счет категории времени и в какой степени за счет категории наклонения.

Не представляется также понятным, как форма настояще-будущего времени на *у/ру* может представлять собой основу глагола (стр. 87) и насколько правомерным является выделение у японских глаголов двух корней — корня настояще-будущего времени (стр. 87) и корня прошедшего времени (стр. 91).

Статья Л. Старостова «Об ударении в турецком языке» (стр. 98—119) делает попытку вскрыть некоторые особенности турецкого ударения в сравнении с ударением в других языках, главным образом в русском. Л. Старостов устанавливает, что турецкое словесное ударение не входит в состав постоянной фонетической характеристики слова, поскольку оно определяется местом данного слова в предложении, что смыслоразличительная роль турецкого ударения определяется синтаксической структурой предложения, условиями фразовой фонетики, причем под влиянием фразового ударения знаменательные турецкие слова могут полностью утрачивать свое ударение и выступать в роли энклитик и проклитик.

*

Характеризуя рецензируемые тома «Трудов» в целом, представляется необходимым отметить, что значительная часть статей, написанных молодыми языковедами ВИИЯ, находится на уровне современной науки и представляет определенный научный интерес. Особенно интересными являются статьи Л. С. Бархударова и А. С. Новаковича. Однако между отдельными статьями «Трудов» отсутствует достаточная взаимоувязка. Так, например, проблема сложного слова, так или иначе ставящаяся в $^1/_3$ статей сборника, часто имеет в основе различие в методике исследования, а иногда (статья Н. А. Дворянкова) и в самих критериях отграничения сложного слова от словосочетания. Этот факт, повидимому, свидетельствует о недостаточно широком обсуждении указанной проблемы и соответствующих исследований среди лингвистов института. Кроме того, желательно увидеть на страницах «Трудов» исследования, посвященные большему количеству языков, которые полнее отразили бы специфику Военного института иностранных языков.

В. В. Пассек

*

№ 3—4. Вопросы интонации. Под ред. В. А. Артемова. — 1953. 271 стр.

Выпуск 3—4 «Трудов» заслуживает особого внимания как первый сборник статей, целиком посвященных вопросам интонации[1].

Сборник содержит семь статей. В пяти из них дается описание экспериментального изучения интонации в различных языках: «Интонационное членение простого повествовательного предложения в современном английском языке» (А. И. Калачев), «Интонационная организация повествовательной фразы во французском языке» (Т. Б. Ганцкая), «Интонация простого повествовательного предложения в немец-

[1] Как отмечено редколлегией, исследования проводились авторами сборника в лаборатории экспериментальной фонетики и психологии речи 1-го Московского государственного пединститута иностранных языков (руководитель лаборатории проф. В. А. Артемов). К тому же большая часть авторов — сотрудники или бывшие аспиранты 1 МГПИИЯ и лишь трое из семи — сотрудники ВИИЯ.

ком языке» (К. Б. Карпов), «Интонация вопросительного предложения в немецком языке» (В. С. Любопытнова), «Интонация ответа в русском языке» (В. С. Федосеева). Все пять статей написаны по материалам защищенных диссертаций. Каждая из них состоит из вводной части, в которой излагаются проблема интонации и методика эксперимента, и основной части, где даны результаты проведенных автором исследований. Введением к ним служит статья проф. В. А. Артемова «Об интонации» и отчасти статья доц. О. А. Норк «О фразовой интонации в немецком языке».

Статья В. А. Артемова «Об интонации» имеет три раздела: в первом разделе определяется понятие интонации; во втором говорится о том, как следует изучать интонацию; в последнем автор чрезвычайно кратко останавливается на вопросе обучения интонации, ограничиваясь лишь общими, мало конкретными пожеланиями.

Статья О. А. Норк «О фразовой интонации в немецком языке» освещает главным образом один из важнейших компонентов интонации — фразовое ударение и результаты последних исследований интонации в немецком языке.

Поскольку это первый в советской лингвистической литературе сборник, посвященный целиком экспериментальному исследованию интонации, перед читателем возникают следующие вопросы: 1) что такое интонация? 2) как интонация может быть изучена экспериментально? 3) какие результаты дало экспериментальное изучение интонации?

Рассмотрим, как сборник отвечает на эти вопросы.

I

Что такое интонация?

До сих пор в советской лингвистической литературе нет единого определения понятия интонации, нет его и в статьях сборника.

1. О. А. Норк права, утверждая, что «интонация — такой же неотъемлемый элемент звуковой речи, как и сами звуки — фонемы» (стр. 36), и далее: «Интонация каждого данного языка складывается в результате хода развития языка в целом и имеет свои особенности, отличающие ее от интонации других языков» (стр. 37).

Однако на вопрос, к какому разделу языкознания следует отнести интонацию, авторы сборника дают разные ответы.

О. А. Норк относит интонацию «в область фонетики» (стр. 38), А. И. Калачев, напротив, считает интонацию частью грамматики (стр. 97). К. Б. Карпов предлагает раздел фонетики, изучающий интонацию, назвать «фонетикой синтаксической» (стр. 131).

2. Из высказываний авторов (О. А. Норк, стр. 36; К. Б. Карпов, стр. 132—133; В. С. Любопытнова, стр. 189—190; Т. Б. Ганцкая, стр. 109—112) следует, что интонация — совокупность звуковых средств, организующих устную речь. Одни авторы включают в число этих средств только ударение, мелодику, темп, длительность слогов и паузы (Т. Б. Ганцкая), другие добавляют к ним тембр (К. Б. Карпов), третьи — диапазон общего мелодического уровня фразы и «степень связности и раздельности слогов в сочетании с распределением ударения» (В. С. Любопытнова).

В. А. Артемов, считая определение интонации как своеобразного единства «изменяющихся во времени и расчленяющихся во времени движений высоты тона, громкости и тембра» односторонним и тем самым неверным, предлагает рассматривать ее как языковое явление, «посредством которого, на основе лексического состава и грамматического строя речи, осуществляется уточнение мыслей и выражение эмоционально-волевых отношений в процессе общения» (стр. 4). В заключение своих общетеоретических рассуждений В. А. Артемов вместо определения интонации приводит перечень «обобщений» (стр. 7—8), которые, на наш взгляд, не «обобщают», а лишь затемняют вопрос.

3. Почти все авторы дают в статьях определение тех или иных компонентов интонации. Наиболее последовательно это сделано у Т. Б. Ганцкой: «Ударение — это выделение слога в слове или слова в интонационной единице» (стр. 109); «Мелодикой называется движение высоты основного тона» (стр. 111); «Под темпом разумеем скорость произнесения отрезка речи в единицу времени, измеряемую средней длительностью слога» (стр. 112); «Пауза — это момент фактического или воспринимаемого молчания» (стр. 113).

4. Функцию интонации авторы статей определяют следующим образом: В. А. Артемов считает, что интонации «принадлежит функция уточнения тех синтаксических отношений, которые устанавливаются в предложении между его лексическими единицами и вытекают из задач и условий общения» (стр. 6); О. А. Норк кратко констатирует, что «интонация выполняет в языке синтаксические функции» (стр. 36); А. И. Калачев отмечает только, что «интонация располагает рядом средств, применяемых для членения предложения» (стр. 54); Т. Б. Ганцкая пишет, что «интонация выступает в языке как основной способ выражения коммуникативного типа фразы..., ее эмоцио-

нально-волевой окраски и является главнейшим средством членения речи на смысловые единицы различных ступеней — на фразы и синтагмы» (стр. 111); К. Б. Карпов видит в ней «функцию оформления синтагматического членения фразы» (стр. 133); В. С. Любопытнова отмечает двоякую функцию интонации: интонация, с одной стороны, «определяет коммуникативный тип фразы...; сюда же присоединяется эмоционально-волевая окраска фразы. С другой стороны, интонация связывает и членит фразу на смысловые группы» (стр. 189—190).

5. Поскольку физическая основа интонации проявляется также и в звуках (ср. высотные и тембральные изменения), то необходимо разграничить и их функции. Это очень четко делает О. А. Норк, отграничивая звуковые явления в слове от звуковых явлений в предложении. Этим подчеркивается, что интонация, «являясь элементом связной речи, элементом предложения, обладает способностью непосредственно передавать синтаксические значения, выражающие не только логику мысли, но и эмоционально-волевые отношения» (стр. 36).

К. Б. Карпов, развивая то же положение, предлагает: «В отличие от интонации как одного из грамматических средств оформления предложения (фразы), звуковые явления, протекающие на материале отдельной неинтонационной единицы языка (слово, слог, звук)... назвать акценто-мелодикой» (стр. 132).

6. Определение физиологической стороны ударения мы находим у Т. Б. Ганцкой: «Артикулярно-динамическое ударение выражается в усилении напряженности произношения, в замедленности артикуляции и большей ее полноте и тщательности» (стр. 110).

Отмечая, что функции фразового ударения, смысловая и организующая, «в известном плане... сходны с функциями ударения в слове», О. А. Норк весьма четко разграничивает ударение как элемент слова и как элемент фразы: «...между функциями фразового ударения и ударения словного различий больше, нежели сходств, и обусловлены эти различия различием функций тех языковых единиц, в которых они выступают: сло́ва как строительного материала языка и предложения как основной единицы общения» (стр. 39).

О функции ударения в предложении пишет А. И. Калачев (стр. 63). Он отмечает две функции ударения в предложении: 1) организация слов в пределах одной синтагмы (подчинение слов, составляющих синтагму, одному наиболее сильноударному слову) и 2) организация синтагм внутри предложения.

Нам представляется, что последнюю функцию выполняет не ударение, а мелодия. Именно мелодия, характерная для данного типа предложения, объединяет составляющие его синтагмы в одно целое.

Все вышеприведенные высказывания вносят ясность в понимание интонации и имеют большое практическое значение.

7. Многие авторы сборника ищут соотношения между ударением и логическим предикатом. Необходимость этого кажется нам очень спорной. Можно, пожалуй, согласиться с К. Б. Карповым (стр. 132), что интонация оформляет предикативные отношения, но остается сомнительным положение о том, что для выделения логического предиката служит особое логическое ударение. Во-первых, логический предикат далеко не всегда умещается в одном слове, а во-вторых, предикативность оформляется, повидимому, всеми интонационными средствами.

Не поиски ли интонационного выражения логического предиката, выраженного словосочетанием, привели К. Б. Карпова к многовершинным и сложным синтагмам? Интонационная характеристика их осталась нам неясной; неоправданным кажется нам и введение особого «логического» ударения для логического предиката.

8. В лингвистической литературе встречаются самые различные классификации видов фразового ударения. По наиболее распространенным классификациям, суммированным в статье О. А. Норк, различаются ударения грамматическое, логическое, эмфатическое и ритмическое (стр. 40—41). Под ритмическим ударением понимается характерное для многих языков, в частности для немецкого языка, появление или усиление ударения на безударных или слабоударных элементах слова или фразы в целях достижения закономерного чередования ударных и безударных слогов. Под грамматическим понимается тот вид ударения, «когда синтаксическая значимость членов предложения выражена соответствием порядка слов и распределения акцентного веса»(стр. 41). Логическим ударением выделяются слова, имеющие «наибольшую смысловую значимость во фразе, независимо от их места и синтаксической функции» (стр. 42).

Мы считаем неудачным закрепление термина «логическое ударение» за одним из видов фразового ударения в противоположность грамматическому и ритмическому, так как любое ударение, а не только логическое, выделяет слова, «имеющие наибольшую смысловую значимость во фразе». Именно поэтому всякое ударение в фразе — смысловое; за ним и следовало бы закрепить общее название «логического». Вот почему закрепление этого термина, как это делает К. Б. Карпов, за ударением, якобы выделяющим логический предикат, кажется нам также необоснованным.

Следовало бы различать не логическое и грамматическое ударение, а два вида

логического ударения[1]: одно зависит от синтаксического строя предложения — мы предлагаем назвать его типовым (в других классификациях — грамматическое), другое от синтаксического строя предложения не зависит—в нашем определении нетиповое (в других классификациях — логическое). Нетиповое ударение всегда связано с наличием противопоставления в фразе или в контексте. Такого же взгляда придерживается, повидимому, и В. С. Любопытнова. Она пишет: «Выделение ударением какого-либо из членов предложения обусловлено во всех приведенных примерах противопоставлением понятия, выраженного данным словом, какому-либо другому понятию. Это противопоставление вытекает из развития мысли в определенной ситуации общения. Этот тип ударения мы называем „противопоставительным" или „ситуационным"» (стр. 229).

О. А. Норк, в основном верно критикуя Есперсена, считает ограничением «многогранной действительности» тот факт, что Есперсен объясняет выделение ударением того или иного элемента фразы наличием противопоставления понятия, выраженного этим элементом, другому понятию. По нашему мнению, такое ограничение неизбежно, поскольку без него многогранность действительности вообще не поддавалась бы изучению. Здесь речь идет о типизации, которая охватывает огромное количество подтипов.

В. С. Любопытнова называет обычное для русского эмоционально неокрашенного предложения с вопросительным местоимением ударение на глагольном сказуемом (или значимой части составного сказуемого) грамматическим или традиционным (стр. 229). Термины «грамматическое» и «традиционное» ударение, на наш взгляд, смешивать не следует. О грамматическом ударении (в нашей терминологии — типовом) было сказано выше. Что же касается традиционного ударения, то оно относится не к видам фразового ударения, а к ударению в слове и словосочетании.

Слово, сохраняя свойственное ему традиционное словное ударение, может восприниматься во фразе, где ударение образует систему, как совсем безударное, поскольку словное ударение как бы растворяется во фразовом. Этого нельзя, однако, сказать о традиционном ударении словосочетаний — оно преобладает над фразовым: если понятие, на которое падает фразовое ударение, выражено словосочетанием, то фразовое ударение подчинится традиционному ударению словосочетания. Точно так же спорным кажется нам и понятие особого «эмфатического» ударения, если не сводить вопрос только к усилению громкости. Думается, что для выражения эмфазы используются также все средства интонации, но, возможно, в особых, характерных для эмфазы соотношениях.

Из сказанного видно, что авторы всех статей занимаются более или менее последовательно определением интонации и ее компонентов, а также и функцией интонации в целом и каждого компонента в отдельности. Поскольку в лаборатории не мог не выработаться единый взгляд на эти вопросы, его и следовало бы изложить в вводной статье. Тем самым сборник оказался бы свободным от ненужных повторений; кроме того, это и в дальнейшем избавило бы исследователей от необходимости включать в свои работы данную проблему.

Остановимся, кстати, на одном высказывании В. А. Артемова, которое, как нам кажется, может привести к недоразумению. В. А. Артемов пишет о методе, найденном И. П. Павловым для изучения деятельности коры больших полушарий — способе образования условных рефлексов: «Так, животному свойственно, по законам его нервной деятельности, выделять слюну при виде пищи, вводимой в полость рта. Павлов использовал это слюноотделение как показатель деятельности коры в тех условиях, когда еще до подачи пищи животному дается какой-либо сигнал, который для животного становится сигналом появления пищи. Такую связь между пищей и условием ее подачи мог образовать только мозг животного. Внешним, доступным непосредственному наблюдению и измерению, показателем этого процесса в деятельности мозга служит также слюноотделение, но теперь не как безусловная, а как условная реакция организма.

Тем самым И. П. Павлов нашел метод опосредствованного наблюдения за деятельностью коры больших полушарий мозга по процессу и продукту этой деятельности.

Процессом речевой деятельности человека служит артикуляция, а продуктом артикуляции — звуковой эффект, в частности интонация. Следовательно (разрядка наша.—*Авторы*), физиологическое изучение интонации, в развитие павловского метода, должно состоять в наблюдении за артикуляцией и в соответствующем физиологическом анализе звукового эффекта интонации» (стр. 12).

Мы нисколько не отрицаем возможности физиологического изучения интонации по методу И. П. Павлова. Однако, если Павлов опосредствованно наблюдал за процессом деятельности коры больших полушарий у животных по продукту этой деятельности — слюноотделению, то следует ли из этого, что тот же метод безоговорочно при-

---

[1] См. статью рецензентов «К вопросу об интонации немецкой фразы» («Ин. яз. в шк.», 1953, № 6).

годен и для изучения интонации, которая, как известно, не относится к физиологическим отправлениям организма.

Нам представляется неправильным замалчивание здесь того, что р е ч ь, во-первых, является продуктом сложнейшей нервно-психической деятельности человека как члена коллектива, средством общения людей друг с другом и, во-вторых, относится ко второй сигнальной системе, которой нет у животных. Поэтому, думается нам, вне момента общения, взаимопонимания, взаимовоздействия, т. е. без учета общественных отношений людей друг с другом, интонацию как звуковую сторону р е ч и никак изучать нельзя.

II

Способы экспериментального изучения интонации

1. Для экспериментального изучения интонации имеется технически совершенная аппаратура, описанная В. А. Артемовым (стр. 14—17). Звучащая речь, как мы узнаем из этого описания, записывается на магнитофон и на электроакустический кимограф.

Магнитофон позволяет прослушать записанную речь любое количество раз. Тем самым магнитофонная запись служит: 1) для контролирования правильности речи (поскольку запись на электроакустический кимограф может проходить либо одновременно с записью на магнитофон, либо производиться с уже имеющейся магнитофонной записи) и 2) для слухового анализа речи.

Запись на электроакустический кимограф дает так называемую кимограмму, состоящую из трех дорожек, линий или кривых. Описание этих кривых и их изображение дается в статьях В. А. Артемова и Т. Б. Ганцкой, а частично и у других.

Нижняя кривая позволяет определить длительность предложения и его частей с точностью до 0,001 сек. Средняя кривая — звуковая, верхняя — кривая интенсивности. Звуковая кривая позволяет прочесть записанное (о чем подробно см. в статье Т. Б. Ганцкой, стр. 115—117) и с помощью кривой интенсивности отграничить звуки друг от друга, а с помощью кривой времени вычислить высоту основного тона (В. А. Артемов, стр. 21—22; Т. Б. Ганцкая, стр. 115—117).

2. Изображение звуков на звуковой кривой описано и Т. Б. Ганцкой (стр. 115—116), но правильный вывод отсюда сделала только В. С. Федосеева: «Экспериментальная практика показала, что не все начальные звуки могут дать точное представление о высоте исходного тона. Наличие же глухих согласных в середине слова, и отсюда слабо выраженная в записи кривая их звучания, помогает более четкому членению графической кривой на мелодические отрезки отдельных слогов и звуков» (стр. 248).

Весьма странным и попросту необоснованным является разграничение К. Б. Карповым глухих согласных друг от друга и глухого от последующего, так называемого полузвонкого [*th*] (стр. 149, рис. 5), [*ϱt*] (стр. 150, рис. 6), [*td*] (стр. 151, рис. 8), [*st*] (стр. 164, рис. 17) и др. Никаких данных для такого разграничения нет. Полное же недоумение вызывают слова Т. Б. Ганцкой: «В отдельных случаях разграничение звуков удавалось лишь на основании слухового сопоставления с магнитофонной записью» (стр. 116). Длительность отдельного звука в связной речи в крайне редких случаях превышает 0,2 сек. Ценность кимографической записи заключается как раз в том, что она позволяет определить длительность звука в пределах тысячных долей секунды, что не идет ни в какое сравнение с возможностями слухового восприятия. Как же может грамотный экспериментатор говорить о том, что отграничивать звуки на кимограмме в отдельных случаях ему помогал слух?

3. Что представляет собой кривая интенсивности? «Ее отклонение от прямой, находящейся под ней, указывает на изменения интенсивности во времени. Поэтому по изменению этой линии во времени мы можем судить об относительной величине интенсивности как об амплитуде, измеряя ее в линейных единицах» (В. А. Артемов, стр. 15).

При обработке электроакустической записи можно установить, помимо длительности звуков и высоты основного тона, «интенсивность звуков — на основании отклонения линии интенсивности от нейтральной линии» (А. И. Калачев, стр. 59).

Остается неясным, что дает установленная таким способом интенсивность звуков. А. И. Калачев говорит об этом следующее: «Последовательные изменения интенсивности звуков еще не определяют последовательности в изменении ударности этих звуков» (стр. 59), и далее: «Это объясняется тем, что, как известно из физики и психологии, громкость звука, будучи особенностью восприятия речи, физически своим основанием имеет не просто интенсивность (амплитуду) звуковой волны, а интенсивность, соотнесенную к числу герц и длительности звука речи. Кроме того, громкость определяется явлениями контраста звуков в потоке речи. Громкость звука речи зависит также от собственной интенсивности отдельных звуков речи, в том числе и гласных. Взаимодействие всех этих физических и психологических компонентов громкости настолько сложно, что звук наиболее интенсивный в данной синтагме может быть неударным, и наоборот» (стр. 59—60; сноска).

У В. А. Артемова читаем: «Нельзя смешивать интенсивность и громкость звука. Громкость является одним из ощущаемых качеств звука, а интенсивность есть физическое свойство звука» (стр. 20), и ниже: «В процессе слуховых ощущений имеются своеобразные взаимоотношения между физической интенсивностью звука и его громкостью»(стр. 21).

Громкость может зависеть: а) от интенсивности, б) от высоты звука, в) от длительности звука, г) от соседства со звуком меньшей амплитуды, д) от природных качеств самого звука и е) от смысловой нагрузки слова, в которое входит звук. Между интенсивностью и ударением нет прямо пропорциональных отношений (В. А. Артемов, стр. 21—22; А. И. Калачев, стр. 61).

Из сказанного видно, что значение кривой интенсивности до сих пор точно не установлено.

4. Итак, электроакустическая запись позволяет объективно установить, во-первых, длительность отдельных компонентов звучащей речи, в том числе и пауз, а тем самым и темп и, во-вторых, мелодию. Ударение же, тембр и прочее можно установить только на слух.

Хотя отдельные авторы (А. И. Калачев, стр. 59; К. Б. Карпов, стр. 141) и говорят о том, что ударение — один из важнейших компонентов интонации — определяется на слух, в сборнике нет четкого разграничения, что̀ именно изучается субъективным (т. е. на слух), а что̀ объективным методом. Поэтому явно ощущается некоторая переоценка объективных возможностей современной аппаратуры. Так, например, В. А. Артемов утверждает, что все изложенное в его статье «обосновано экспериментально» (стр. 3), тогда как большая часть его статьи — более или менее удачные рассуждения в общетеоретическом плане. Точно так же неосуществимо при современном состоянии аппаратуры и предложение О. А. Норк решить вопрос «о характере ритмических тенденций в распределении акцентного веса как в слове, так и во фразе» экспериментальным путем (стр. 4).

5. В сборнике мало сказано и о соотношении между слуховым наблюдением и объективным анализом. Только В. С. Федосеева указывает, что объективные исследования «дают возможность сделать более полные и более объективные выводы, не только не противоречащие выводам, полученным на основании простых слуховых наблюдений, но, наоборот, подкрепляющие их и пополняющие» (стр. 247—248).

Очевидно, соотношение субъективного и объективного методов еще не уточнено. И также очевидно, что слуховой анализ играет очень большую роль при изучении интонации: это подтверждается, например, интересными выводами, к которым пришла В. С. Любопытнова, сравнивая интонацию вопросительных предложений в немецком и русском языках на основании слуховых наблюдений русских предложений. О предпочтительности определения пауз на слух говорит Т. Б. Ганцкая (стр. 116).

6. Обработка кривых и методика эксперимента одинаковы у всех исследователей, и описываются они более или менее подробно. Нанесенные на графики результаты исследования приводятся каждым автором в достаточном количестве.

Несмотря на то, что, как указывает В. А. Артемов, «категорически недопустим перевод числа колебаний (герц) в музыкальные тоны», поскольку «перевод в музыкальные тоны скрыл бы от исследователя фактические физические величины числа колебаний» (стр. 17), во многих статьях (например, Т. Б. Ганцкой, стр. 126; В. С. Любопытновой, стр. 197) мелодические интервалы обозначены музыкальными тонами. Подобное обозначение, если и не скрывает числа колебаний (оно указано всеми авторами), то безусловно бесцельно: для лингвиста знание музыкальной терминологии вовсе не обязательно.

7. Исследуемый материал в общем не вызывает возражений. Безусловно правильно и то, что для избежания различных толкований он наговаривается дикторами в контексте. Однако довольно часто встречающиеся расхождения в интонационном оформлении фразы заставляют исследователя предполагать, что дикторы дали при произнесении различные эмоционально-волевые оттенки. Так, например, различные интонационные варианты вопроса *Wann kommt er?* (стр. 195—196) В. С. Любопытнова объясняет тем, что один диктор произнес его с оттенком заинтересованности, другой— с оттенком испуга. Повидимому, контекст можно было толковать различно. Такие же примеры находим и в других работах. Между тем установление интонационного оформления каждого из подобных «эмоционально-волевых оттенков» очень важно при изучении интонации.

Нам представляется наиболее обоснованным выбор материала А. И. Калачевым, так как политические доклады и выступления на определенную тему ограничивают число возможных вариантов толкования текста и, следовательно, исключают необходимость догадываться о намерении диктора. При другом принципе подбора материала нам представляется совершенно необходимым, чтобы трактовка текста была заранее точно установлена и проработана с дикторами. Это даст возможность исследователю определить характерный для данной трактовки вариант интонации.

Заслуживает внимания подход В. С. Федосеевой к подбору материала. Она учитывает физическую сторону звучания: количество слогов, распределение ударения, удобные для разграничения звуков сочетания. Это чрезвычайно ценно, поскольку выводы строятся на чтении кривых, а различие между кривыми зависит также от таких причин, как «физические особенности произнесения различного фонемного состава» (В. С. Федосеева, стр. 251).

Нам хотелось бы предложить еще раз тщательно проверить и обсудить принципы подбора материала для дальнейших исследований.

8. Все авторы упоминают о том, что для каждого из дикторов исследуемый язык являлся родным. Нам хотелось бы добавить, что необходимо различать еще и людей, в совершенстве владеющих язык, и людей, в совершенстве владеющих техникой речи. Так, например, немцу-актеру членение *Er wachte/vor Schmerz/auf* (К. Б. Карпов, стр. 173) покажется совершенно невозможным.

9. Роль и значение аудитора указаны В. А. Артемовым (стр. 23, пп. 1—7). Поскольку, однако, восприятие интонации является «ее субъективным образом» (стр. 23), то индивидуальное «предварительное обдумывание» (стр. 193) текста одним диктором кажется нам недостаточным: необходима совместная подготовка материала всеми дикторами и одним-двумя аудиторами, контролирующими соответствие произнесения задаче общения, которая точно и четко поставлена перед дикторами и аудиторами-контролерами либо самим исследователем, либо специальным «режиссером».

Слова акад. В. В. Виноградова о том, что членение синтагмы всецело зависит от содержания, применимы ко всей интонации в целом. Следовательно, «вкладываемое содержание, намерение говорящего» должно быть отправным пунктом исследования. Это дает возможность установить столь необходимые при обучении интонации иностранного языка интонационные типы, ту «минимальную опорную интонацию», из которой исходит в своем анализе В. С. Федосеева (стр. 253—254).

Лабораторией экспериментальной фонетики и психологии речи проделана, как видно из сказанного, большая работа по проведению экспериментального анализа интонации. Тем не менее, не все вопросы методики эксперимента продуманы до конца. Поэтому следовало бы издать методический сборник по экспериментальному изучению интонации.

В таком сборнике могли бы найти место следующие вопросы: 1) аппаратура (подробное описание); 2) изображение звучащей речи на кривых; 3) звукосочетания, удобные для анализа: а) для отграничения звуков, б) для вычисления движения высоты основного тона, в) для установления пауз и т. п.; 4) линия интенсивности; 5) методика составления графиков и таблиц; 6) методика проведения эксперимента; 7) подготовка диктора и аудитора; значение и роль аудитора в эксперименте; 8) соотношение объективных и субъективных выводов в эксперименте.

Почетную задачу подготовки и выпуска такого сборника должна взять на себя лаборатория экспериментальной фонетики и психологии речи во главе с ее руководителем проф. В. А. Артемовым.

III

Результаты экспериментального изучения интонации

Результаты исследований, приводимые в статьях сборника, как уже упоминалось выше, чрезвычайно интересны и в теоретическом, и в практическом отношении.

1. Во всех работах подчеркивается тесная связь между интонационным оформлением предложения, его синтаксическим строем и содержанием.

2. Перечислены и точно определены интонационные средства, и совершенно справедливо указано, что специфическую интонационную окраску речи придает не различие самих интонационных средств в каждом отдельном языке, а характерное для каждого языка различие в их применении (Т. Б. Ганцкая, стр. 102).

3. Выводы некоторых работ (А. И. Калачева, Т. Б. Ганцкой и К. Б. Карпова) дают возможность установить целый ряд сходств и расхождений в интонационном оформлении повествовательного предложения в английском, французском и немецком языках.

4. Всесторонне освещен в сборнике вопрос о синтагматическом членении предложения. Результаты исследований сходятся на том, что «членение предложения на синтагмы вытекает непосредственно из трактовки содержания предложения в данном контексте» (К. Б. Карпов, стр. 134). Граница между синтагмами в огромном большинстве случаев совпадает с границами между членами предложения, но внутри синтагмы может быть и несколько членов предложения (Т. Б. Ганцкая, стр. 106). Нарушением этой закономерности является, например, сложное сказуемое в немецком языке, разъединяемое в силу нормы рамочной конструкции (К. Б. Карпов, стр. 170). Границы синтагмы не постоянны, а подвижны внутри предложения (А. И. Калачев, стр. 99).

5. Подробно исследованы и описаны интонационные средства членения речи (А. И. Калачев, стр. 98—99).

6. Установлен характер интонационного оформления ритмической группы во французском языке и ее сходство с «фонетическим словом» русского языка (Т. Б. Ганцкая, стр. 108—109).

7. Изложены интересные наблюдения отдельных авторов над темповыми изменениями конечных и начальных слогов синтагм (см. статьи А. И. Калачева, Т. Б. Ганцкой, К. Б. Карпова, В. С. Любопытновой).

8. Указывается на тесную связь между ударением и мелодией в интонационном оформлении предложения (В. С. Федосеева, стр. 245—247).

9. Даются интересные результаты сравнения русской и немецкой интонации; так, например, в статье О. А. Норк (стр. 51) указывается, что «один и тот же интонационный вариант используется в русском и немецком языках для передачи разных коммуникативных оттенков в смысловом значении фразы» (см. также статью В. С. Любопытновой).

10. Исследования полностью подтверждают так называемый «принцип замены» А. М. Пешковского. Интонация «выступает особенно ярко там, где лексические и грамматические средства оказываются не в состоянии выразить те или иные отношения» (В. С. Любопытнова, стр. 230).

В сборнике имеется большое количество опечаток. Несмотря на наличие названных недостатков, сборник в целом — нужная и ценная книга. Авторы сборника не только поставили, но и осветили ряд проблем интонации и дали конкретные выводы по интонационному оформлению повествовательных и вопросительных предложений в отдельных языках.

Появление сборника позволяет наметить путь дальнейшего экспериментального исследования интонации.

Е. И. Мурашева, Р. М. Уроева

*

№ 5—1954. 128 стр.

Выпуск открывается статьей Л. С. Бархударова «Связочные глаголы в английском языке» (стр. 3—24). Автор исходит из положения акад. В. В. Виноградова о том, что лексические значения служебных слов тождественны с грамматическими[1]. С этой позиции Л. С. Бархударову удается хорошо охарактеризовать сущность английских связочных глаголов и уточнить их классификацию.

Автор подвергает обоснованной чистке список связочных глаголов, оставляя из 60 глаголов, приводимых Кермом (Curme) в 3-й части его «Грамматики английского языка», всего 28. В связи с наличием или отсутствием более конкретного вещественного значения Л. С. Бархударов выделяет полусвязочные глаголы, которые в противоположность связочным в узком смысле могут выступать и в самостоятельном употреблении, например модальный глагол *to appear* «являться». В зависимости от грамматического значения автор разделяет все связочные глаголы на две группы: видовые и модальные. Видовые в свою очередь делятся на три подгруппы: 1) глаголы бытия, например *to be* «быть»; 2) глаголы становления, например *to become* «стать, сделаться» и 3) глаголы «оставания», например *to remain* «оставаться». В дальнейшем автор анализирует синонимику каждой подгруппы и указывает круг употребления отдельных связочных глаголов.

Хотя в статье постоянно идет речь о семантике, но ни один пример не переводится на русский язык. Это несколько снижает учебную ценность статьи, ограничивая круг ее читателей англистами, в то время как по содержанию она интересна и для студентов-филологов других специальностей.

В своей работе «О значении и употреблении модальных глаголов в немецком языке» (стр. 25—41) Т. В. Борисова на тщательно подобранных примерах убедительно показывает двоякое грамматическое значение модальных глаголов. Эти глаголы могут указывать на отношение к действию как субъекта действия, так и субъекта высказывания, т. е. говорящего. Вторая функция совпадает с функцией наклонений и часто дублируется формами наклонений. Статья представляется тем более полезной и интересной, что этот двоякий аспект изучения немецких модальных глаголов в литературе почти не освещался.

Автору представляется спорным модальность глагола *kann* «могу; умею» в предложениях типа *Er kann gut schwimmen* «Он умеет хорошо плавать». Конечно, здесь уже не только модальное значение возможности, а еще и более вещественное значение навыков. Но ведь такое значение создается исключительно контекстом и особенно значением глагола, употребляемого вслед за *kann* в инфинитиве. Навыки нужны, чтобы

[1] См. В. В. Виноградов, Русский язык, М.—Л., 1947, стр. 30.

м о ч ь плавать, шить, стирать, но их не нужно, чтобы лечь, сесть, встать. При одних глаголах *können* и значит «уметь», а при других только «мочь».

Французское предложение *Je l'ai vu cet homme* «Я видел этого мужчину» (буквально: «Я его видел, этого мужчину») состоит из двух частей: глагольной *Je l'ai vu* «Я его видел» и именной *cet homme* «этого мужчину». Только указанное построение позволяет сделать логическое ударение на глаголе, так как во французском языке оно возможно лишь в конце синтагмы или предложения. Вместе с тем обособляется дополнение *cet homme* с заменой его в глагольной части проклитическим объектным местоимением *le* (*l'*). Этот тип предложения и рассматривает В. Г. Г а к в статье «Расчлененные предложения во французском языке» (стр. 42—53).

Автор последовательно анализирует синтаксическую и интонационную структуру этих предложений и останавливается, к сожалению слишком кратко, на сложном вопросе о том, какой же именно член предложения семантически подчеркивается в той или другой расчлененной конструкции. После краткой сводки взаимосвязи рассмотренных сторон с точки зрения строя французского языка автор указывает на отличие расчлененных предложений от предложений с плеонастическим употреблением личных местоимений типа: *Pierre il est parti* (буквально) «Пьер он ушел», в которых нет ни расчленения, ни выделения. Статья заканчивается оценкой расчлененных предложений во французском языке как явления разговорного стиля, имеющего будущее, поскольку оно развивается в соответствии со всеми характерными особенностями французского языка.

Автор на стр. 43 заявляет, что расчлененные предложения специфичны только для французского языка и выступают в других лишь эпизодически. Далее же оказывается (стр. 54), что это явление mutatis mutandis распространено и в других романских языках. Повидимому, однако, указанное явление имеет значение во всех языках, где есть безударные местоимения, твердый порядок слов и интонационный строй, препятствующий выделению отдельных членов предложения без его перестройки. Так, например, расчлененные предложения очень распространены в арабском литературном языке, и особенно в классическом, где силовое ударение играло гораздо меньшую роль, чем количественное.

Сущность исследования П. И. К у з н е ц о в а «Личные аффиксы в турецком языке» (стр. 57—72), построенного на материалах его же диссертации «Условный период турецкого языка», очень несложна. Личные аффиксы турецкого языка, которые оформляют спряжение глаголов и имен, делятся на две группы, каждая из которых употребляется со своей группой времен. Общепризнано, что первая группа *-im*, *-sin*, *-dir* и т. д. происходит из личных местоимений. Вторую группу: *-m*, *-n*, *-k* и т. д. многие тюркологи возводят к аффиксам принадлежности, как называют в тюркских языках генитивные лично-местоименные суффиксы, обозначающие принадлежность оформляемого этими суффиксами имени первому, второму или третьему лицу и переводимые на русский язык притяжательными местоимениями. П. И. Кузнецов, основываясь на показаниях памятников древнетюркской письменности и турецкой диалектологии, убедительно доказывает, что личные аффиксы второй группы восходят к аффиксам первой группы. Очень правдоподобна реконструируемая автором фонетическая трансформация. К сожалению, автор ничего не сказал о самом трудном: откуда пошел аффикс первого лица второй группы *-k*. Мы считаем, что автор доказал в своей статье и отсутствие в личных аффиксах первой группы грамматического значения времени, что значительно упрощает объяснение отдельных моментов сложной системы времен турецкого глагола. Таким образом, статья представляет ценность в теоретическом и в педагогическом отношениях.

Мы должны подробнее остановиться на статье Е. Б. Р о й з е н б л и т «К вопросу об аналитической форме слова во французском языке» (стр. 73—88), так как считаем серьезной ошибкой редакции, в состав которой входит и автор статьи, то, что она допустила опубликование работы в ее настоящем виде.

Прежде всего автор не ясно представляет себе границы своей темы и по-разному формулирует ее в разных местах статьи. Мы уже дали формулировку темы в заглавии, где она очерчена довольно широко. Но, видимо, этих широких границ автору недостаточно. На стр. 87 указано, что в этой статье автор останавливается на обосновании выделения каждой аналитико-морфологической формы в морфологической системе романских языков. Думаем, что только так можно понять следующий абзац в указанном месте статьи: «В связи с задачей статьи мы остановились не на описании употребления к а ж д о й аналитико-морфологической формы, а на о б о с н о в а н и и в ы д е л е н и я э т о й ф о р м ы из числа других грамматических форм, как на специфической черте морфологической системы р о м а н с к и х языков» (разрядка моя.— *В. С.*).

Беря на себя такую задачу, автор явно переоценивает свои силы. Впрочем на стр. 75 автор заявляет, что в данной статье он делает лишь «попытку высказать некоторые соображения об аналитической форме слова во французском языке». Это уже скромно до неясности. На самом же деле, автор рассматривает сочетание артикль плюс существительное как одну из аналитических форм французской морфологии. И пра-

вильно статью было бы назвать «Конструкция артикль плюс существительное во французском языке».

Прежде всего автор старается доказать, что артикль не есть аффикс, а «аффикс», по ошибочной терминологии автора, означает словоизменительный префикс, как видно из всего изложения и особенно из того, что для автора являются синонимами «аффикс» и «препозитивная флексия» (стр. 75). О том, что префиксы могут быть и словообразовательными, автор забывает. Но он забывает и то, что недостаточно еще не быть префиксом, чтобы стать элементом аналитико-морфологической формы. Для этого еще нужно нести морфологическую функцию. Но про морфологическую функцию артикля автор говорит лишь мимоходом в конце стр. 77. Он не считает нужным доказывать ни того, что артикль действительно выражает род и число существительного, ни того, что определенность существительного является морфологической категорией. Странным образом автор обходит и вопрос об отношении определенного артикля к безударным объектным местоимениям третьего лица.

Таким образом, автор вовсе не доказал того, что конструкция артикль плюс существительное является во французском языке аналитико-морфологической формой.

Однако главным недостатком статьи являются многочисленные терминологические, стилистические и пунктуационные лапсусы, доказывающие, что она не прошла необходимой редакционной правки. Мы уже говорили об ошибочном употреблении автором термина «аффикс». На стр. 84 трижды употреблен термин «адъективация» вместо «адвербиализация». Автор обнаруживает пристрастие к новым терминам. Так, он зачем-то употребляет безграмотное слово «коррелирует» вместо всем понятного «соотносится». Вместо слов «исключить», «выделить» он употребляет только «вычленить». Для обозначения слияния предлогов с артиклем (*du, des, au, aux*, того, что французы называют article contracté, Е. Б. Ройзенблит создает термин «энклитические формы артикля» (стр. 76—77) и «энклиза» (стр. 79). Это означает незнание автором того, что термин «энклитический» уже давно существует, но употребляется совсем в другом смысле.

О неряшливости стиля и подачи примеров может дать представление следующее примечание (второе) на стр. 84: «См. [вместо „ср.(авни)“.— *В. С.*] употребление наречий для выражения признака (надо „признака существительного“. Никакого знака препинания нет.— *В. С.*) *J'avais si peur*, (запятая.— *В. С.*) *Elle m'a même rendu très service...*» Приводимые здесь примеры, особенно второй, звучат так непривычно, что нужно было указать, откуда они взяты и при каких обстоятельствах были употреблены.

Если статью Е. Б. Ройзенблит не следовало помещать в сборник без серьезной переработки из-за большого количества ошибок, то статью Г. Ш. Шарбатова «Об относительной подвижности ударения в современном арабском литературном языке» (стр. 89—95) не следовало помещать еще и вследствие ее ничтожной научной ценности, хотя последняя и прикрывается наукообразными справками из истории науки, не имеющими отношения к вопросу.

Само заглавие статьи мало соответствует содержанию. В самом деле, раз нет абсолютной подвижности ударения, то нелепо говорить и об относительной его подвижности. Напрасно Г. Ш. Шарбатов упрекает арабистов в том, что из их поля зрения «до сих пор выпадали характерные для арабского языка случаи переноса и относительной подвижности ударения» (стр. 89). Все эти случаи предусматриваются общими правилами об ударении в арабском языке, которые, кстати, совпадают с правилами латинского ударения. В двусложных словах ударение падает на первый слог, в многосложных — на второй от конца, если он закрытый или содержит долгий гласный, а в противном случае — на третий от конца. Разумеется, что всякое прибавление нового слога к концу слова при склонении или спряжении изменяет слоговую структуру слова, и ударение переносится. Но, может быть, общие правила не касаются «сочетаний слов со слитными местоимениями»? И это не так, потому что слитные местоимения рассматриваются в арабских грамматиках как часть слова, вследствие чего слова со слитными местоимениями и не требуют особых правил. Г. Ш. Шарбатов переименовал слитные местоимения в энклитики и решил, что раз про энклитики в правилах не упоминается, значит их и не учитывают в грамматических работах.

Упрекая арабистов в отсутствии разработанной акцентологии арабского литературного языка, автор почему-то забывает о тех переменах, которые внесло в устную форму арабской литературной речи радиовещание. Во-первых, на литературном языке в арабских странах разговаривают между собой только интеллигенты и притом на отвлеченные темы, тогда как бытовой разговор ведется на местных диалектах. Кроме того, на литературном языке произносятся всякого рода официальные выступления. Однако в связи с распространением радиовещания литературную речь самых различных жанров слышат и арабские массы. Во-вторых, в более высоких литературных жанрах, как и в классическом языке, количественное ударение преобладает над силовым, и, напротив, при передаче коротких сообщений с их более короткими и чеканными предложениями преобладает силовое ударение. Это обязывает исследователя самым внимательным образом учитывать жанровые особенности произношения. Известно

также, что силовое ударение само по себе в арабском языке не может изменить значения слов. Но при отступлении количественного ударения не исключена возможность приобретения смыслоразличительной роли и силовым ударением. Обо всем этом говорить гораздо проще теперь, чем тридцать лет тому назад, когда и круг наблюдения мог быть гораздо уже, да и самые явления не созрели в своей типичности. Автор объясняет недостатки работ по ударению в арабском литературном языке идеализмом западноевропейских ученых, которые, мол, не учитывают коммуникативной роли речи. Кстати, последняя по времени появления иностранная работа по фонетике арабского языка, приводимая Г. Ш. Шарбатовым, датирована 1925 г. [1] С тех пор прошло почти 30 лет, и прямым долгом автора статьи было узнать, что сделано за это время заграницей по интересующему нас вопросу.

Покойный Н. С. Каменский заметил, что слова со слитными местоимениями имеют в современном арабском литературном языке особенности, не укладывающиеся в общие правила, и некоторые из таких особенностей указал в своих трудах. Г. Ш. Шарбатов, противореча себе, вынужден признать работы Н. С. Каменского удовлетворительными, но считает, что никто не остановился подробно на вопросе о подвижности ударения (стр. 91). Однако не остановился на нем и Г. Ш. Шарбатов. Он ограничился лишь рассмотрением случаев присоединения к словам односложного слитного местоимения третьего лица мужского рода единственного числа. К сожалению, и те немногие наблюдения, которые сделал Г. Ш. Шарбатов, лишены научной ценности, так как он не сумел или не счел нужным удовлетворительно охарактеризовать тот материал, которым он пользовался для своих примеров. Приводя примеры, он не говорит ни о литературном жанре текста, ни об особенностях произношения диктора, в частности о соблюдении им долгот. В одном лишь случае автор упомянул, что перенос ударения прослеживался во всех наблюдениях.

В статье много опечаток, в двух случаях для хамзы применен тот же знак, что и для айна.

Автор статьи «К вопросу о стилях японского литературного языка» (стр. 96—111) П. И. Шеманаев поставил своей задачей охарактеризовать систему стилей японского литературного языка второй половины XIX в., когда оформлялся новый литературный язык. Он исходит из классификации японского критика Икута Нагаэ, который на основе взаимоотношения в каждом стиле элементов китайской лексики и своеобразно преломленной китайской грамматики, с одной стороны, и элементов японского разговорного и книжного языка, с другой, устанавливает шесть стилей. В конце статьи автор кратко характеризует процесс трансформации стиля «единства разговорного и письменного языка» (гэмбун' иттитай) в новый литературный язык. Нельзя признать удачным применяемый автором, и притом без объяснения, термин «многоплавность»: «многоплавность литературного языка» (стр. 109).

Научно-техническое оформление сборника пестро. Большее или меньшее количество опечаток зависит, повидимому, от автора; их больше всего в статьях Е. Б. Ройзенблит и Г. Ш. Шарбатова. Примеры из западноевропейских, турецкого и японского языков даны в оригинальном написании, а арабские в транскрипции. Следовало бы транскрибировать и японские примеры. Переводы примеров дают только пишущие о восточных языках; мы считаем, что их надо давать всюду.

Сборник заключается разделом «Защита диссертаций». Дается толково аннотированный перечень 26 диссертаций, защищавшихся в ВИИЯ в 1953 г. Из двадцати шести диссертаций четыре посвящены методическим вопросам (одна из них — общей методике иностранных языков), а остальные двадцать две — лингвистическим темам. Внушает опасение совершенное отсутствие тем по морфологии и фонетике: пятнадцать лингвистических диссертаций посвящены вопросам синтаксиса, а остальные семь — лексике, фразеологии и словообразованию. Распределение по языкам такое: 8 — английский, 4 — немецкий, 2 — венгерский. На следующие одиннадцать языков приходится по одной диссертации: арабский, древневерхненемецкий, итальянский, корейский, персидский, турецкий, урду, французский, финский, шведский и японский. Числу диссертаций по восточным языкам должен позавидовать Институт востоковедения АН СССР: их шесть за один год. Ценность раздела «Защита диссертаций» не подлежит сомнению.

В. П. Старинин

---

[1] W. H. T. Gairdner, The phonetics of Arabic..., London, 1925.(Г. Ш. Шарбатов года и места издания не назвал.)

М. Д. Степанова. **Словообразование современного немецкого языка.** М., Изд-во лит-ры на иностр. языках, 1953. 376 стр.

Работа М. Д. Степановой — первая изданная в СССР книга, специально посвященная словообразованию современного немецкого языка. Автор стремится не только возможно более полно охватить все входящие в данную тему вопросы, но и осветить смежные проблемы, иногда даже относящиеся к другим областям языкознания. Так, во введении рассматривается, например, проблема словарного состава и основного словарного фонда в общелексикологическом плане, а рассмотрению словообразования каждой части речи немецкого языка предшествует грамматическая характеристика данной части речи, как это обычно делается в работах по грамматике. В книге описываются все основные (продуктивные и непродуктивные) способы словообразования и словообразовательные типы современного немецкого языка; в ряде случаев описание современного состояния сопровождается историческими экскурсами. Языковой материал берется автором не только из работ по немецкому словообразованию и из словарей, но и извлекается непосредственно из классической и современной немецкой литературы. В качестве примеров словообразовательных типов приводятся не только слова, утвердившиеся в словарном составе немецкого языка, но также и слова, создаваемые различными писателями по имеющимся в языке словообразовательным моделям, что дает возможность судить о продуктивности того или иного словообразовательного типа.

В вводной части книги освещаются преимущественно общелексикологические вопросы. В первой (основной) части дается общая характеристика словообразования современного немецкого языка, а часть вторая посвящена описанию словообразования частей речи в этом языке. В конце работы приводится краткое заключение, содержащее «общий обзор словообразовательных тенденций в системе частей речи современного немецкого языка».

Вполне понятно, что в связи с многообразием разбираемых в книге проблем автору приходилось преодолевать значительные трудности. Это, естественно, и нашло свое отражение не только в некоторой неравномерности изложения разных вопросов и в дискуссионности отдельных выдвигаемых автором положений, но и в ряде других недостатков, никак не связанных с дискуссионностью каких-либо вопросов или с неразработанностью тех или иных проблем. Эти недостатки следует указать как автору, так и читателям, которые будут пользоваться данной книгой.

Слово определяется М. Д. Степановой как «единство значения, звучания и морфологической структуры» (стр. 9), и согласно данному определению в первую очередь рассматривается вопрос о значении слова. При этом совершенно правильно отмечается, что нельзя отождествлять значение слова и заключенное в слове понятие (по выражению автора, «понятие и значение слова не покрывают друг друга», стр. 10); однако, в каком взаимоотношении находятся значение слова и выражаемое им понятие, остается неясным, потому что значение слова и понятие никак не разграничиваются и сколько-нибудь ясно и точно не определяются. Так, на стр. 10 различные значения многозначного слова отождествляются с «различными оттенками понятия», а на стр. 12—13 дается следующее определение значения слова: «Под значением слова ... следует понимать выражение понятия, т. е. исторически закрепленное за данным звуковым комплексом обозначение предмета или явления действительности со всеми привносимыми в конкретном высказывании дополнительными оттенками» (разрядка моя — *К. Л.*).

Эти определения показывают, что автор—в противоречие своему положению о нетождественности понятия и значения слова — в действительности не разграничивает значение слова и выражаемое словом понятие, т. е. вещи, хотя и тесно связанные друг с другом, но все же различные.

Ясно также, что автор не разграничивает значение и употребление слова, значение и обозначение словом того или иного предмета или явления. Все это ведет к дальнейшим ошибкам, которые выявляются в подходе автора к значению разбираемых им слов. Так, например, на стр. 33 *Grünschnabel* рассматривается как «полустилистический, полуидеографический синоним» к *Knabe* (см. также стр. 38), а на стр. 39 в том же плане трактуются *Feuerräder* и *glänzende Augen*, с чем никак нельзя согласиться. *Grünschnabel* «молокосос», «неопытный в жизненных делах человек» (буквально: «зеленоклюв», т. е. «желторотый, неоперившийся птенец») по своему значению никак не может быть ни идеографическим (или полуидеографическим), ни стилистическим (или полустилистическим) синонимом к *Knabe* «мальчик», поскольку *Grünschnabel* не только имеет совсем другое значение, но и выражает иное понятие, чем *Knabe*. То же обстоятельство, что слово *Grünschnabel* чаще употребляется по отношению к мальчику, к юноше, чем к человеку взрослому (хотя и это может иметь место), совсем другое дело.

Аналогичная ошибка делается и относительно пары *Feuerräder — glänzende Augen* (стр. 39). Если писатель Зудерман блестящие, сверкающие глаза называет «огненными

колесами» (*Feuerräder*), то это еще не значит, что *Feuerräder* («огненные колеса») и *glänzende Augen* («блестящие глаза») синонимы, как полагает автор.

От вопроса о значении слова автор переходит к рассмотрению звуковой стороны слова. Положительным моментом здесь является то, что дается (хотя и очень краткая) характеристика основных фонетических особенностей слова в немецком языке. Но, к сожалению, не рассматривается вопрос о связи звучания со значением, а только лишь отмечается факт, что понятие отражает реальную действительность, а звучание ее не отражает. Делается это без какой бы то ни было детализации и без ссылок на соответствующие работы, хотя данная проблема в нашей литературе ставилась разными лингвистами, как рассматривался и тесно соприкасающийся с этой проблемой вопрос о различной специфике производных и непроизводных основ[1] — вопрос, который автором вообще обходится.

Характеризуя слово с морфологической стороны (стр. 16—18), М. Д. Степанова рассматривает специфику словообразующих аффиксов по сравнению с корневыми морфемами, говорит также и о различиях между словообразующими аффиксами, с одной стороны, и формообразующими аффиксами и флексиями, с другой. Но при этом, к сожалению, упоминается лишь о различиях между корневой морфемой и словообразующими формантами, но ничего не говорится о разграничении основы слова и слова, как не рассматривается и проблема взаимоотношения слова и форм слова. Вопрос о взаимоотношении словообразования и формообразования как специальная проблема также не ставится.

Все это неблагоприятно отражается в различных разделах книги, где часто смешиваются слово и основа слова, слово и его формы. Так, на стр. 16 говорится, что «слово может состоять из одной корневой морфемы». На стр. 46 указывается на то, что «два слова или две основы соединились в одну новую основу», на стр. 51 указывается, что «суффикс прилагательного *-ig* присоединяется к различным словам» (разрядка везде моя.— *К. Л.*).

На стр. 46 об инфинитиве говорится и как о глагольной форме, и как о слове, а именно: «Наконец, слово, не изменяя своей словообразовательной формы, может перейти в другой грамматический класс слов и получить новое грамматическое оформление, т. е., в конечном счете, другую морфологическую характеристику (ср.: *das Fliegen* — склоняемое существительное, образованное из инфинитива *fliegen*, т. е. неспрягаемой формы глагола)» (разрядка всюду моя.— *К. Л.*). Данная формулировка не является случайной, так как на стр. 58 инфинитив рассматривается как корневое слово, поскольку о субстантивированном инфинитиве (*das Leben*) говорится как о производном слове особого типа, образованном от корневого слова. Примеры можно было бы умножить.

В § 6 вводной части правильно указывается на односторонность определений слова у зарубежных и некоторых отечественных лингвистов. Но следовало бы также сказать, кем из наших ученых такой односторонний подход к слову отвергался. Крупным недостатком здесь (как и в ряде других разделов книги, о чем см. ниже) является отсутствие ссылок на соответствующие работы русских дореволюционных и современных советских ученых; в данном параграфе упоминается (да и то лишь в критическом плане) один Ф. Ф. Фортунатов (стр. 19). Между тем ссылки (особенно ссылки, показывающие принципиальные различия в подходе к тем или иным лингвистическим проблемам отечественных и зарубежных ученых) необходимы в любой книге, а тем более в «монографическом исследовании», как характеризует книгу М. Д. Степановой издательство (стр. 3).

В вводной части (как видно из вышеизложенного) не разбирается ряд вопросов, имеющих непосредственное отношение к словообразованию, и вместе с тем эта часть книги содержит и много лишнего материала. Так, в главе II говорится о частях речи безотносительно к словообразованию; в главе III рассматривается вопрос о взаимоотношении слова и словосочетания вне связи с проблемой разграничения сложного слова и словосочетания[2]; в главе IV вопрос о словарном составе и основном словарном фонде рассматривается, в основном, как общелексикологическая проблема. Все эти вопросы необходимо было затронуть в книге, но рассматривать их надо было именно применительно к ее теме — словообразованию современного немецкого языка.

Положительным моментом является то, что в книге специально освещается вопрос о взаимодействии между словообразованием, изменением значения и заимствованием

---

[1] См.: Г. О. Винокур, Заметки по русскому словообразованию, ИАН ОЛЯ, 1946, вып. 4, стр. 316; А. И. Смирницкий, Некоторые замечания о принципах морфологического анализа основ, «Доклады и сообщения филол. фак-та [МГУ]», вып. V, 1948. Ср. в этом отношении работу Н. М. Шанского «Основы словообразовательного анализа» (М., 1953, стр. 17—30).

[2] Делается это к тому же (так же как и во многих других случаях) при совершенно недостаточном использовании имеющейся литературы.

(см. главу III первой части работы, стр. 85—91). Эта тема излагается, однако, недостаточно четко и весьма поверхностно — не только без использования, но и без упоминания о соответствующих работах, в частности об исследованиях А. А. Потебни и М. М. Покровского, посвященных проблеме семантического развития производных слов. Нельзя также говорить о метафоре и метонимии как о какой-то особенности именно сложных слов (стр. 87), как нельзя считать вторые компоненты сложных слов типа *Birnbaum* «как бы не нужными» только потому, что «грушевое дерево» можно назвать также и просто «грушей» (см. там же).

В этой же первой части (гл. I) рассматривается и вопрос о месте словообразования среди других лингвистических дисциплин. Следовало бы уже в введении сказать несколько слов о словообразовании как об определенной сфере языка и о словообразовании как о лингвистической дисциплине. Словообразование рассматривается М. Д. Степановой как самостоятельный раздел языкознания (стр. 54). Данный взгляд приводится автором без ссылок на соответствующие работы. В книге в связи с вопросом о месте словообразования в науке о языке упоминается (см. стр. 48) работа акад. В. В. Виноградова «Русский язык» и даются ссылки на академическую грамматику русского языка[1] и на курс лекций по современному русскому языку в издании МГУ[2] (см. стр. 49), но ничего не говорится о статьях В. В. Виноградова, вышедших после лингвистической дискуссии, где специально ставится вопрос о месте словообразования[3]. Благодаря этому создается впечатление, что подход М. Д. Степановой к словообразованию как к самостоятельной языковедческой дисциплине не опирается ни на какие предшествующие ее книге работы.

Зарубежная лингвистическая литература использована в книге также недостаточно. Рассматриваются только взгляды представителей младограмматической школы и их последователей. Новые реакционные концепции буржуазных лингвистов-структуралистов в области проблемы формы слова критическому рассмотрению не подвергаются. Вообще в книге привлекаются, в основном, лишь старые общие работы по немецкому словообразованию. Из новых книг используется только книга В. Генцена[4]. Из работ по отдельным вопросам словообразования привлекается только работа Л. Тоблера, изданная в 1868 году[5].

В книге рассматриваются все характерные для современного немецкого языка способы словообразования и словообразовательные типы, с одной стороны, и особенности словообразования каждой части речи в этом языке, с другой. Затрагивается широкий круг вопросов, но многое в трактовке этих вопросов вызывает серьезные возражения.

Прежде всего, никак нельзя согласиться с мнением М. Д. Степановой, что наряду с аффиксацией и словосложением в немецком языке существует еще и такой промежуточный между тем и другим способ словообразования, как «полуаффиксация» (см. стр. 77—79, 86 и др.). Дело здесь не только и не столько в термине (хотя и термин является крайне неудачным), сколько в самом существе дела. «Полуаффиксация» выдвигается М. Д. Степановой как особый, не принадлежащий ни к словосложению, ни к аффиксации способ словообразования. Следовательно, «полуаффиксы» («полусуффиксы» и «полупрефиксы»), как логически вытекает из этого положения, приходится рассматривать как словообразовательные форманты, не принадлежащие ни к основам, ни к аффиксам. Образованиями с «полуаффиксами» («полусуффиксами») автор считает, например, такие существительные, как *Seemann* «моряк», *Kaufmann* «купец», *Waschfrau* «прачка», *Flugzeug* «самолет», *Werkzeug* «инструмент», *Erholungsheim* «дом отдыха», *Kulturhaus* «дом культуры», или такие прилагательные, как *arbeitslos* «безработный», *teilnahmslos* «безучастный», *geheimnisvoll* «таинственный», *wasserreich* «многоводный», «богатый водой» и т. п.

Вторые компоненты этих сложных слов автор причисляет, исходя из их семантики, к «полусуффиксам» на том основании, что они, выступая в целом ряде однородных по своему общему значению сложных слов (ср. *Seemann*, *Kaufmann*, *Obstmann*, *Zeitungsmann*), обнаруживают по сравнению с соответствующими им словами признаки «семантического побледнения»[6]. Совершенно очевидно, что такой (ведущий свое начало еще с прошлого века) подход к этому вопросу является в корне неправильным. Нельзя

---

[1] «Грамматика русского языка», т. I, М., Изд-во АН СССР, 1952.

[2] «Современный русский язык. Морфология». (Курс лекций), под ред. В. В. Виноградова, [М.], 1952.

[3] См., в частности, В. В. Виноградов, Словообразование в его отношении к грамматике и лексикологии, сб. «Вопросы теории и истории языка в свете трудов И. В. Сталина по языкознанию», М., 1952.

[4] W. Henzen, Deutsche Wortbildung, Halle/Saale, 1947.

[5] См. L. Tobler, Über die Wortzusammensetzung nebst einem Anhang über die verstärkenden Zusammensetzungen, Berlin, 1868, стр. 232.

[6] Ср. W. Wilmanns, Deutsche Grammatik, 2-e Abteil.— Worthildung, Straßburg, 1896, стр. 6.

подходить к тем или иным языковым образованиям и их компонентам только с семантической точки зрения, без учета их структурных особенностей. Ведь в таком случае пришлось бы, например, фразеологические единицы просто считать словами.

Анализ слов с так называемыми «полусуффиксами» ясно показывает, что это — отличающиеся определенными особенностями сложные слова, а вторые их компоненты — основы, приближающиеся до известной степени по своей функции к суффиксам. Ведь если в семантике таких сложных слов, как *Arbeitsmann*, *Waschfrau* или *Buschwerk*, и есть нечто общее с аффиксальными образованиями — такими, как соответственно *Arbeiter*, *Wäscherin* или *Gebüsch* [поскольку *-mann* и *-frau*, как и *-er* или *-(er)in*, указывают на лицо мужского и соответственно женского пола, а *-werk*, как и *ge-* имеет собирательное значение], то все же между аффиксальными образованиями и сложными словами, которые образованы при посредстве основ, в какой-то мере приближающихся по своему характеру к аффиксам, имеются существенные различия: 1) аффиксы, в частности суффиксы *-er*, *-(er)in* или префикс *ge-*, не соотносятся ни с какими словами, вторые же компоненты сложных слов, такие, как *-mann*, *-frau* или *-werk*, соотносятся со словами *der Mann*, *die Frau*, *das Werk*, не только не обнаруживая полного разрыва с ними в семантическом плане, но и сохраняя особенности грамматического оформления, характерные для этих слов. Так, сложные слова со вторыми компонентами *-mann*, *-frau*, *-werk* принадлежат к тому же роду и к тому же типу склонения, что и слова *Mann*, *Frau*, *Werk*. Ср. *der Arbeitsmann — des Arbeitsmanns* и *der Mann—des Mann(e)s*; *die Waschfrau — der Waschfrau* и *die Frau — der Frau*; *das Buschwerk — des Buschwerks* и *das Werk — des Werk(e)s*; 2) так называемые «полусуффиксы» сочетаются с основами именно тех частей речи, с которыми вступают в сочетания соответствующие «полусуффиксам» слова. Это особенно ясно показывают прилагательные с «полусуффиксами», так как эти «полусуффиксы», как правило, сочетаются только с основами существительных (как соответствующие им прилагательные сочетаются с существительными); ср. *hoffnungsvoll* и *voll Hoffnung*; *wasserreich* и *reich an Wasser* и т. д; 3) «полуаффиксы» (в данном случае «полусуффиксы») имеют гораздо более конкретное (характерное для основ) значение, чем аналогичные им действительные «суффиксы»; ср. *taktvoll* (*voll Takt*) и *taktisch* и т. п.; 4) слова с «полусуффиксами» в целом ряде случаев содержат так называемые соединительные элементы, что, как известно, характерно для сложных слов; ср. *Arbeitsmann* и *Arbeitspause*, *Arbeitszeit* и т. п.

Сказанное действительно также и по отношению к так называемым «полупрефиксам» с той только разницей, что здесь еще меньше оснований (чем в случаях с «полусуффиксами») выводить слова с компонентами этого рода за пределы словосложения, поскольку даже подлинные префиксы, не соотносящиеся ни с какими словами (такие, как, например, *un-* или *ver-*), обнаруживают в своей специфике известное сходство с первыми компонентами сложных слов. Недаром префиксация некоторыми учеными (представителями младограмматической школы и их последователями) ошибочно вообще причисляется к словосложению. Ведь если в слове *Mordsskandal* «ужасный (буквально: «убийственный») скандал» считать основу *Mord-* «полупрефиксом», опираясь лишь на ее усилительную функцию (см. стр. 154) и совершенно обходя структурные особенности сложного слова, то тогда пришлось бы признать «полупрефиксом» и русское прилагательное *убийственный*, поскольку оно также выступает в усилительном значении (ср. *убийственная жара* и т. п.). Мы не можем этого сделать, потому что принимаем во внимание структурные особенности, отличающие словосочетание от слова. Не можем мы также признать и компонент сложного слова «полуаффиксом», так как сложное слово имеет свои особенности строения, отличающие его от слова производного. Таких же частей слова, которые не были бы ни основами, ни аффиксами, в языке вообще не существует.

Глаголы с наречными частицами типа *aufstehen* (обычно по традиции ошибочно именуемые «глаголами с отделяемыми приставками или префиксами») М. Д. Степанова рассматривает как глаголы с «полупрефиксами» (стр. 279). Между тем эти глаголы ни как глаголы с полупрефиксами, ни как глаголы с префиксами рассматривать, конечно, нельзя, так как в личных формах в самостоятельном предложении наречная частица не предшествует глаголу, но следует за ним (ср. *aufstehen — steht auf — stand auf — aufgestanden*), а по своим структурным особенностям (раздельнооформленность и возможность дистантного положения компонентов — *Er steht im Sommer immer sehr früh auf*) данные глаголы представляют собой совершенно особый тип. Таким образом, выдвигаемое М. Д. Степановой положение о якобы существующем в языке «полуаффиксальном» словообразовательном типе опровергается фактами самого языка.

Трактовка глаголов с наречными частицами с особенной наглядностью показывает, что вместо углубленного изучения морфологических особенностей совершенно различных по своему строению языковых единиц (таких, как сложные имена типа *Arbeitsmann*, *hoffnungsvoll*, *Mordsskandal*, *hochfein*, с одной стороны, и глаголы с наречными частицами, с другой), М. Д. Степанова просто обходит связанные с таким изучением весьма сложные проблемы, характеризуя самые разнородные единицы языка в равной мере как образования при помощи «полуаффиксации». Естественно, что это приво-

дит только к путанице, не сдвигая сложнейшие языковедческие проблемы с той мертвой точки, на которой они остановились в зарубежной науке еще в конце прошлого столетия, когда, например, В. Вильманс, по отношению к немецким глаголам типа *aufstehen* говорил о «разъединимых сложных словах» (обозначая их как «*trennbare Composita*»)[1] или применял к этим образованиям термин «полусложные слова» (*Halbcomposita*)[2], т. е. такой же ничего не объясняющий «половинчатый» термин, как и «полуаффиксы».

Серьезные возражения вызывает также и подход автора к некоторым словообразовательным типам производных слов. Так, для немецкого существительного никак нельзя говорить о фонетико-морфологическом типе словообразования [о типе, подобном русскому *рвань* (от основы прилагательного *рваный*) или *глушь* (от основы *глухой*)], о типе, к которому М. Д. Степанова относит такие существительные, как *der Trieb* (от основы глагола *treiben*), неправомерно противопоставляя их существительным *der Ruf* (от основы *rufen*) или *der Kauf* (от основы *kaufen*) (см. стр. 61—62 и стр. 96—100).

К фонетико-морфологическому типу можно в современном немецком языке отнести только так называемые каузативные глаголы, такие, как *setzen* (к *sitzen*), *legen* (к *liegen*), поскольку фонетические особенности у этих «слабых» глаголов, образованных от основ так называемых «сильных» глаголов, связаны с определенными морфологическими особенностями данных слов. Однако и в отношении таких (каузативных) глаголов, как *setzen*, можно говорить о фонетико-морфологическом типе только для современного языка, принимая во внимание их настоящее взаимоотношение с соответствующими сильными глаголами. Ведь эта непродуктивная для современного немецкого языка словообразовательная модель возникла не как фонетико-морфологический, но как морфологический (суффиксальный) тип словообразования, а когда она приняла облик именно фонетико-морфологического типа, то перестала быть продуктивной, оставаясь еще некоторое время живой.

Что же касается бессуффиксального образования отглагольных существительных, таких, как *Trieb*, *Band*, *Gang* (производных от основ сильных глаголов) (стр. 62), то ни о каком фонетико-морфологическом способе словообразования здесь не может быть и речи. Почему надо считать, что, например, *Trieb* образовано от *treiben* («путем изменения корня» (т. е. гласного корня), а *Ruf* от *rufen* — «без изменения корня»? (см. стр. 100). Ведь если у *Trieb* коренной гласный не совпадает с гласным основы настоящего времени глагола (ср. *treiben—trieb—getrieben*), то у *Ruf* коренной гласный не совпадает с гласным основы прошедшего времени (претерита) (ср. *rufen—rief—gerufen*). Оба глагола — как *treiben*, так и *rufen* — имеют в своем составе формы с тем же коренным гласным, что и соответствующие отглагольные существительные, поэтому оба существительных (*Trieb* и *Ruf*) следует считать образованными по конверсии[3], т. е. таким же способом, как и существительные *Kauf* или *Besuch*, производные от основ так называемых «слабых» глаголов (глаголов, не имеющих чередования гласных). Несколько иное положение наблюдается в словах типа *Zug* и *Wurf*. Исторически эти слова также образованы по конверсии (ср. древнемецкие глаголы *ziohan—zôh—zugum—gizogan*; *werfan—warf—wurfum—giworfan*), в системе же современного языка мы должны их рассматривать как образованные путем изменения гласного. Но производные существительные типа *Zug*, *Wurf* и в современном языке нельзя относить к фонетико-морфологическому типу словообразования, поскольку фонетические особенности данных слов не указывают ни на какие морфологические особенности, которые отличали бы эти образования от таких слов, как *Trieb*, *Ruf*, с одной стороны, или *Kauf*, *Besuch*, с другой. А ведь именно в этом и заключается специфика фонетико-морфологического типа словообразования, представленного в русском языке словами типа *рвань*, в которых палатализованный конечный согласный основы указывает на определенный класс слов и на соответствующий тип склонения. В немецком же языке и *Trieb*, и *Ruf*, и *Zug*, и *Kauf*, и *Besuch* —существительные мужского рода, так называемого сильного склонения.

Неверно (под влиянием положений В. Генцена[4]) объясняется в книге специфика отыменных префиксальных глаголов типа *beflügeln* «окрылять» (от основы *Flügel* «крыло») и *erblinden* «ослепнуть» (от *blind* «слепой»). Считая такие слова, как *besprechen* «обсуждать» (от *sprechen* «говорить»), префиксальными глаголами, М. Д. Степанова полагает, что случаи типа *beflügeln* или *erblinden* — не просто отыменные префиксальные образования, но что они являются особым (смешанным) типом производных глаголов, «образованных посредством взаимодействия вербализации именных основ и префиксации...» (стр. 279), для чего нет никакого основания. То, что эти глаголы образо-

---

[1] См. W. Wilmanns, указ. соч., стр. 122.

[2] См. там же.

[3] См. А. И. Смирницкий, Так называемая конверсия и чередование звуков в английском языке, «Ин. яз. в шк.», 1953, № 5; ср. его же, По поводу конверсии в английском языке, там же, 1954, № 3.

[4] См. W. Henzen, указ. соч., стр. 238—241.

ваны от основ именных частей речи — существительных или прилагательных — еще не дает права говорить здесь о каком-то особом типе. Ведь такие отглагольные существительные, как, например, *Geheul* (стр. 151), автор (и совершенно правильно) считает просто префиксальными образованиями, а не словами, «образованными посредством взаимодействия субстантивации глагольных основ и префиксации» (как надо было бы объяснять эти образования, если последовательно применять принцип, выдвинутый по отношению к отыменным глаголам типа *beflügeln*).

В книге подробно (насколько это позволяет ее сравнительно небольшой объем) и с приведением довольно большого числа примеров описываются разные типы именного словосложения, в том числе и так называемый определительный тип — один из самых продуктивных типов словообразования в современном немецком языке.

В книге справедливо отмечается, что если определенный тип сложного слова и возник из словосочетания, то многие принадлежащие сюда слова затем были образованы непосредственно по утвердившейся в языке модели (стр. 69). Дается также и общая критика взглядов Г. Пауля, не проводившего необходимого разграничения между сложным словом и словосочетанием. Однако, кроме того, необходимо было бы еще подчеркнуть, в чем реально заключается различие во взаимоотношении компонентов в том и другом случае. Нужно было на соответствующих примерах показать, что к компонентам сложного слова никак нельзя подходить в том же плане, в каком подходят к компонентам словосочетания. Это ясно видно хотя бы из того, что грамматическое оформление второго компонента выступает в сложном слове как оформление всего слова в целом, а неоформленность первого компонента не дает права подходить к нему с тем же критерием, с которым мы подходим к любому компоненту словосочетания. В книге мы такого анализа не находим.

Различие между определительным сложным словом и соответствующим словосочетанием недостаточно выявляется автором, так как даже в специально посвященном сопоставлению сложного существительного и соответствующего словосочетания параграфе (§ 83, стр. 121—124) вопрос этот рассматривается, в основном, в плане семантическом, с точки зрения понятий, выражаемых компонентами сложного существительного и всем словом в целом. Различие в строении между сложным словом и словосочетанием оставляется при этом в стороне. Да и сама семантика сложного слова рассматривается недостаточно углубленно, так как не дается сколько-нибудь детального анализа взаимоотношения компонентов сложного слова по сравнению с компонентами словосочетания и недостаточно учитывается специфика, связанная с цельнооформленностью сложного слова.

Формулировки, заключающие этот параграф, отличаются большой расплывчатостью и неопределенностью. Никакого ясного представления о специфике сложного слова по сравнению со словосочетанием не дает указание на то, что сложные слова с основой существительного в качестве первого компонента «весьма разнообразны по своей семантике и по степени близости к словосочетанию» (стр. 124). Ничего не дает для выяснения особенностей сложного слова и следующая завершающая параграф формулировка: «Специально следует отметить такие случаи, когда сложное существительное, обозначающее в полне определенное понятие (.) (разрядка моя.— *К. Л.*), даже условно не может быть заменено определенным словосочетанием вследствие неясности его смысловой структуры, например: *Blumenladen*, *Windmühle*, *Wohltätigkeitsfest*, *Staatsexamen*, *Mondscheinsonate*, *Frühlingskleid*, *Flüchtverdacht* и т. п.» (стр. 124). Эта формулировка ничего не объясняет, так как сама требует пояснения, вызывая у читателя ряд вопросов, в частности такой основной вопрос: «В чем же заключается специфика сложных слов этого типа?».

Автор недостаточно учитывает также, что так называемое «раскрытие» значения сложного слова посредством словосочетания (там, где это возможно) не передает особенностей семантического строения сложного слова. Так, в значении слов *Schreibfeder*, *Gießkanne*, *Trinkbecher*, которые «раскрываются» автором посредством словосочетаний *Feder zum Schreiben*, *Kanne zum Gießen* (?), *Becher zum Trinken*, совершенно отсутствует то значение цели, которое имеется в соответствующем приводимом автором словосочетании (стр. 127).

Никакого активного или пассивного значения (в противоречие с утверждению М. Д. Степановой) не имеет также определитель в таких сложных словах, как *Flickschneider* или *Füllfeder*. Эти сложные слова вовсе не равнозначны приводимым в книге словосочетаниям *der flickende Schneider* или *die zu füllende Feder* (что признается в общем и самим автором) (см. стр. 128). Ведь активное или пассивное значение связано с оформлением входящих в данные словосочетания отдельных слов, оформлением, которое в цельнооформленном сложном слове отсутствует.

При определении значения сложного слова М. Д. Степанова часто исходит не из этого значения как такового, но из употребления данного слова, причем определенное влияние на семантическое толкование того или иного слова иногда оказывает и перевод на русский язык. Это, в частности, обнаруживает толкование выдержки из романа А. Зегерс «Мертвые остаются молодыми»: «*Klemms eigener Chauffeur sollte*

unterdes das Gefangenenauto übernehmen... а шофер Клемма поведет машину, в которой везли пленного... *Das Gefangenenauto* — машина, в которой везли пленного (перевод точно передает содержание данного сложного слова)» (стр. 135).

С такой интерпретацией значения сложного слова *Gefangenenauto* никак нельзя согласиться. Хотя действительно *Gefangenenauto* может быть понято в данном контексте как «машина, в которой везли пленного», но это слово как таковое данного содержания не выражает, так как, во-первых, оно не показывает, идет ли речь об одном пленном или о нескольких, находятся ли пленные (или пленный) в этой машине или она только предназначена для пленных, и т. п. Первый компонент этого (цельнооформленного) сложного слова — основа, в которой отсутствует грамматическое оформление, характерное для слова, поэтому сложное слово и не выражает тех отношений, которые могут быть выражены словосочетанием или придаточной частью предложения [машина для пленного (для пленных), машина с пленным (с пленными), машина, в которой везли пленного (пленных)]. Кроме того, перевод на другой язык вообще не является каким бы то ни было доказательством. Аналогичное объяснение дается и второму примеру на той же странице (*Offiziersauto* «машина с офицерами»). Приведенные выше замечания показывают, что автор напрасно здесь говорит о сложных словах, «заменяющих словосочетания» (стр. 135).

При рассмотрении определительных существительных, где первый или второй компоненты или же оба компонента являются сложными, допущен ряд ошибок (в примерах). Как можно, например, говорить о словосочетаниях по отношению к первым компонентам таких сложных слов, как *Altweibersommer* (ср. соответствующее словосочетание — *alte Weiber*), *Rote-Kreuz-Schwester* (соответствующее словосочетание *Rotes Kreuz*), *Einkuhbauer* (соответствующее словосочетание *eine Kuh*, где *eine* — числительное)? (см. стр. 140). Ведь первый компонент сложных слов *Altweibersommer*, *Einkuhbauer* явно представляет собой не застывшее словосочетание с сохранением грамматической формы входящих в него компонентов, но сложную основу. А в *Rote-Kreuz-Schwester* (представляющем собой особый случай) основа *rot*-выступает в оформлении, «согласуемом» не с *Kreuz*, но со *Schwester* (ср. *Rotes Kreuz* и *rote Schwester*).

Не совсем понятна трактовка так называемых «сращений» (т. е. сложнопроизводных слов) и сложносокращенных слов, а также и место, отводимое им в книге (см. стр. 192—201). Эти два типа, по своей специфике (как на это указывает автор на стр. 77) тесно связанные со словосложением, в книге почему-то отделены от сложных слов аффиксальными образованиями (см. стр. 147—152, 158—182) [которые также логичнее было бы рассматривать тотчас после безаффиксных образований (см. стр. 96—99), а не в отрыве от них, как это сделано в книге].

Никак нельзя согласиться, что «сращение» «превращает словосочетание, не изменяя формы последнего, в единую словообразующую основу» (стр. 79). Для этого достаточно сравнить такие, например, «сращения», как *blauäugig* или *rotbäckig*, с соответствующими словосочетаниями *blaue Augen* (*blaues Auge*) и *rote Backen* (*rote Backe*). Никак нельзя также считать, что в *Kopfnicken* «опущен» предлог *mit* (имеющийся в словосочетании *mit dem Kopf nicken*) (стр. 192). Ведь сложное (в данном случае сложнопроизводное) слово имеет свою специфику, отличную от словосочетания.

Такие формулировки и место в книге, отводимое «сращениям», создают неясность в отношении специфики этих образований. Следовало бы не только яснее (путем детального анализа нескольких примеров) показать особенности данного типа словообразования, но и прямо указать, что это комбинированный способ, при помощи которого создаются сложнопроизводные слова.

Автор правильно разграничивает «сращения» (т. е. сложнопроизводные слова) типа *Eisbrecher* (где основы *Eis-* и *brech-* соединяются в одно слово при посредстве суффиксации) от обычных производных слов, образованных от сложных основ, как *Eisenbahner* (от основы *Eisenbahn*). Однако это проводится недостаточно последовательно, потому что в разряд «сращений» включается не только *Fremdsprachler*, которое скорее следует рассматривать как образованное от сложной основы *Fremdsprache*, но и *Fremdsprachlerin*, явно образованное от (производной) основы *Fremdsprachler* по типу *Lehrer* — *Lehrerin*, *Künstler* — *Künstlerin* и т. п. (см. стр. 192 и 193). *Willkomsessen* (см. стр. 196) также является не «сращением», но сложным словом, образованным из основ (*der*) *Willkomm* и (*das*) *Essen* (ср. аналогичные «неполносложные» слова *Willkommsgruß*, *Willkommstrunk*).

Сложносокращенные слова, как *DDR* (*Deutsche Demokratische Republik*) или *SED* (*Sozialistische Einheitspartei Deutschlands*), нельзя (а тем более без всякого объяснения) трактовать как «структурно новый тип корневых существительных» (см. стр. 198), так как по своей специфике они резко отличаются от корневых (на что как будто указывает и сам автор, обозначая эти слова как сложносокращенные).

Книга М. Д. Степановой специально посвящена словообразованию, т. е. такому

разделу языкознания, для которого проблема морфологического и семантического строения слова является центральной. Между тем эта проблема — как показывает приведенный материал — трактуется автором не только противоречиво и неясно, но в ряде случаев и ошибочно; весьма серьезным упущением является то, что недостаточно используются и показываются достижения отечественной (русской дореволюционной и советской) науки в области данной проблемы. Все это, естественно, ограничивает возможности использования книги как учебного пособия.

К. А. Левковская

НОВАЯ ПОПЫТКА ОСВЕЩЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ СЛАВЯН *

В первом издании своей книги о восточнославянских племенах (М., 1948) П. Н. Третьяков, говоря о происхождении славян и набросав широкую картину их древнейших поселений, опирался на исследования советских ученых, но исходил прежде всего из данных археологии и истории и лишь в незначительной степени привлекал данные языкознания. Кроме такой односторонности, его описание было зависимым от господствовавшей в то время в советской науке теории Н. Я. Марра. Следование этой теории сковывало рассуждения автора и привело его к довольно сумбурным выводам, которые противоречили показаниям собранного им вещественного материала. Совершенно не были использованы результаты исследований польских и чешских ученых (за исключением Л. Нидерле). Освободившись от влияния псевдомарксистских концепций Марра, опровергнутых историческими работами И. В. Сталина в 1950 г., и основательно изучив труды зарубежных ученых о происхождении славян, П. Н. Третьяков предпринял в прошлом году второе издание своей книги, первая часть которой посвящена интересующей нас проблеме этногенеза славян. Здесь дана совершенно новая и чрезвычайно ценная разработка этого важнейшего для истории славянской культуры вопроса. Но и в настоящем виде работа страдает некоторой односторонностью освещения указанной проблемы. Эта односторонность обусловлена опять-таки слишком слабым привлечением данных языкознания. Без последних невозможно разрешение сложных вопросов, которые неизбежно возникают при попытках отождествления культурных массивов, установленных археологией, с этническими общностями, говорящими на определенных языках. Однако П. Н. Третьяков сделал большой шаг вперед в том отношении, что во втором издании книги, в отличие от первого, он, будучи свободен от оков марризма, безоговорочно встал на почву общепринятых положений сравнительно-исторического языкознания, когда выводил общий для славян язык— праславянский («общеславянский», по его терминологии) из определенной группы индоевропейских диалектов, на которых говорили племена бывшей территории Средней и Восточной Европы на протяжении III—II тысячелетий до н. э. Наряду с этим период тесной балтийско-славянской языковой общности он признает переходным между индоевропейской эпохой и эпохой славянской общности. Этот период в советской науке до сих пор вообще не учитывался. Оценивая результаты работы П. Н. Третьякова с языковедческой точки зрения, мы должны обратить особое внимание на понимание автором указанных моментов языкового развития славян и их предков, а также на то, как он связывает материал языкознания с данными археологии, относящимися к развитию материальной культуры соответствующих этнических комплексов.

За исходный пункт этногенетических процессов, которые в конце концов привели к возникновению этническо-языкового славянского комплекса, автор, опираясь на археологические исследования, принимает нижеследующую схему расселения племен, занимавших территории Средней и Восточной Европы в III тысячелетии до н. э. Он выделяет четыре основные племенные группировки: 1. Среднеевропейские племена, занимавшие территории бассейнов Одры, Вислы, Буга и верхнего Днестра с Волынью и Подолией, но не доходившие до среднего течения Днепра и его правобережных притоков. 2. Племена, культура которых в археологии носит название трипольской; их поселения тянулись от среднего Днепра к югу, доходя до устьев Днестра и Дуная, и охватывали по восточной стороне Карпатской дуги бассейн нижнего Дуная. 3. Степные племена, заселявшие причерноморские земли в бассейнах нижнего Днепра, Дона, нижней и средней Волги. 4. Группа племен, занимавшая область всей Северо-Восточной Европы, которая тянулась от Урала через бассейн верхней Волги, верхнего Днепра, Зап. Двины и Немана, вдоль побережья Балтийского моря, заходя за нижнюю Одру. Данная группа смешивалась на нижнем течении Вислы и Одры с народностью

---

* См. П. Н. Третьяков, Восточнославянские племена, М., Изд-во АН СССР, 1953.

среднеевропейского типа (ср. карту на стр. 20 рецензируемой книги). Эта последняя группа племен рыбацко-охотничьей культуры, как верно подчеркивает П. Н. Третьяков, является основой, на которой со временем вырос этническо-языковой угро-финский массив.

В третьей группе степных скотоводческих племен и в первой группе средне- и восточноевропейских земледельческо-скотоводческих племен автор видит уже на рубеже III и II тысячелетий до н. э. носителей древних индоевропейских языков. При этом степной культурный комплекс, исторически связанный с судьбами обитателей переднеазиатских степей и восточного побережья Средиземного моря, он относит (хотя ясно этого и не формулирует) к восточной ветви индоевропейских языков, а средне- и восточноевропейские племена первой группы считает предками остальных индоевропейских народов: фракийцев, дакийцев, иллирийцев, славян, германцев, балтов и других. При этом автор совершенно правильно отбрасывает защищавшуюся ранее В. В. Хвойкой точку зрения, согласно которой предками славян были причерноморские и приднепровские племена трипольской культуры. Он согласен с В. В. Хвойкой только в одном: что местонахождение прародины славян следует искать не в бассейнах Вислы и прибалтийских землях, что нередко допускали прежде, а в бассейне среднего Днепра. Однако П. Н. Третьяков делает оговорку, что предками славян нужно считать не трипольские племена, из которых со временем образовался фракийский племенной комплекс, а племена более северные, уже в начале III тысячелетия до н. э. заселявшие лесные пространства между средним Днепром и Одрою. Это недостаточно ясное и даже не свободное от противоречий положение автор освещает более подробно при рассмотрении следующей фазы развития этническо-языковых отношений Средней и Восточной Европы. Эти отношения оформились в течение II тысячелетия до н. э. в связи с захватом указанных территорий новыми культурными комплексами, известными в археологии под названием племен культуры «шнуровой керамики».

Внешние формы проявления этого комплекса настолько отличались от форм культуры племен предшествующего периода, что в археологической науке до сих пор преобладала точка зрения, согласно которой распространение «шнуровой керамики»— результат экспансии племен, ее носителей, на территории, ранее заселенные другими племенами с иными формами культуры.

П. Н. Третьяков, не приводя более развернутых доказательств, считает подобную точку зрения проявлением «метафизических взглядов на исторический процесс», характерных для буржуазных археологов, и полагает, что здесь речь идет лишь о внутренних изменениях в особенностях культуры тех же самых племен, которые с давних пор заселяли соответствующие территории. Эти изменения происходили в связи с вступлением племен в новую фазу развития, состоявшую в расширении скотоводческой системы хозяйства и ограничении земледелия при одновременном распространении на рубеже II тысячелетия употребления первых металлов (меди и бронзы). Вывод этот — в целом слишком общий — не кажется нам достаточно убедительным: сама замена земледельческо-скотоводческого хозяйства на преобладающее скотоводческое не могла произойти вдруг, в результате какого-то «взрыва» или «скачка» (как это себе представлял Марр и его сторонники), а требовала, вне всякого сомнения, длительного переходного периода, во время которого старые формы культуры не могли бы так относительно быстро уступить место новым формам, как это в действительности произошло в эпоху господства на территории Средней и Восточной Европы комплекса «шнуровой керамики», который на протяжении двух-трех последних веков неолитического периода смог подчинить себе почти все древнейшие культурные массивы.

Трудно также достаточно убедительно объяснить, какой могла быть связь между новыми формами сосудов, украшенных отпечатком шнура, или распространением обычая погребения мертвецов в скорченном положении и изменением хозяйственных отношений в сторону преобладания скотоводческой системы хозяйства над более древней земледельческо-скотоводческой. Нам кажется, что значительно легче будет объяснить относительно быстрое распространение новых форм культуры на таких больших пространствах, вернувшись к старому предположению, что распространение это было следствием экспансии определенных этнических элементов, которые принесли с собой формы культуры с занимаемых ими ранее узких пространств на более широкие. Подобная гипотеза, конечно, не вытекает из какого-то «метафизического понимания исторического процесса» и ни в чем не противоречит материалистическому мировоззрению, как не противоречит ему высказанное П. Н. Третьяковым несколько ниже (стр. 34) совершенно правильное предположение о переселении скотоводческих племен из среднего Поднепровья и Повисленья в области бассейна верхнего Днепра и Волги, а также восточного побережья Балтийского моря.

Ясно, что, допуская возможность столь широкой экспансии этнических элементов, которые были носителями культуры «шнуровой керамики», мы не можем предполагать полного вытеснения ими более древнего населения завоеванных территорий. Согласно правильной точке зрения П. Н. Третьякова (ср. стр. 27—28), тут можно говорить лишь о проникновении объединений, состоящих из небольших племен, которые, меняя

свои становища, оседали среди племен, являвшихся давними обитателями данных территорий. Лишь постепенно сливаясь с последними, эти племена прививали им некоторые особенности своей культуры, перенимая в то же время определенные черты местной культуры. Таким образом, на пространствах, охваченных экспансией культуры «шнуровой керамики», возникли значительные группировки, которые различались между собой определенными чертами культуры, зависящими от более древней культурно-племенной основы, но были связаны общими особенностями, принесенными племенами «шнуровой керамики». И. Костшевский различал на территории. Польши шесть таких локальных разновидностей культуры «шнуровой керамики»[1].

Но данный факт нельзя считать, как это делает П. Н. Третьяков (см. стр. 32—33), доказательством образования элементов культуры «шнуровой керамики» в результате хозяйственных изменений на территории древнейших племенных объединений и аргументом против этнической экспансии этих элементов. В конце концов сам автор, не замечая того, приводит важное положение, противоречащее его выводам: он подчеркивает (стр.33) тот факт, что скотоводческая культура (т. е. в этом случае — шнуровая) не охватила всей территории древнейших земледельческо-скотоводческих племен Средней и Восточной Европы, а задержалась на границе приднестровских и придунайских племен трипольской культуры и совершенно не затронула некоторые группы этих племен в бассейне среднего Днепра и Днестра, которые остались чужеродными островками на отмеченной территории. Однако трудно предположить, чтобы условия жизни этих островных племенных групп могли очень сильно отличаться от условий жизни окружающих областей, охваченных экспансией культуры «шнуровой керамики». Невольно напрашивается вывод, что решающую роль тут сыграли этнические различия: трипольские племена, отличающиеся от соседей в этническо-культурном отношении, или не допустили на свои земли переселения племен «шнуровой керамики», или, находясь на более высоком уровне развития, полностью ассимилировали пришельцев.

Для разрешения этого вопроса большое значение могут иметь данные языкознания, на которые П. Н. Третьяков совершенно не обратил внимания. Несомненным является тот факт, что племена, которые заселяли огромные пространства Средней и Восточной Европы, занятые культурой «шнуровой керамики» (ср. карту на стр. 31), издавна пользовались языками, принадлежащими в общем к единому комплексу, в основе которого, без сомнения, лежат диалекты, восходящие к балтийско-славянской языковой общности. Вне области распространения этого языкового комплекса и культуры «шнуровой керамики» находились лишь территории, где обитали некогда степные племена, которые П. Н. Третьяков правильно считает принадлежащими по языку к восточно-индоевропейской группе (связанной позднее с так называемыми арийскими — индо-иранскими — и переднеазиатскими языками), и относительно незначительные приднестровские и причерноморские пространства, заселенные племенами трипольской культуры. Диалекты этих последних племен, в которых появились индоевропейские языковые черты, послужили, как это можно с уверенностью предположить, основой для фракийских наречий (ср. стр. 30). Захват таких больших территорий, как занятые представителями балтийско-славянских диалектов пространства, по крайней мере от Одры до Оки и средней Волги, от Финского залива до Карпат и среднего течения Днепра, более или менее монолитным языковым комплексом не мог быть результатом только хозяйственных изменений на этих землях потому, что, как это совершенно правильно в другой связи подчеркивает П. Н. Третьяков, подобные изменения могли, самое большее, способствовать обогащению языка, но «не могли привести к возникновению качественно новых языков и этнических групп» (стр. 35). С другой стороны, небольшая плотность населения в эти давние времена и отсутствие общественно-организационных связей между племенами на обширных пространствах делали невозможными длительные языковые связи, которые могли бы стать основой возникновения среди племен языковой общности. Следует предположить существование какого-то иного связующего фактора, обусловившего распространение на всей этой территории в общем единой языковой системы.

Подобным фактором в таких условиях могли быть только пришедшие с меньших и, в языковом отношении, более замкнутых территорий группы людей, которые распространили среди населения захваченных ими областей параллельно с элементами своей материальной культуры особенности своего языка. Это привело к возникновению нового, в общем монолитного языкового комплекса, на основе которого со временем образовались балтийские и славянские языки. Таким образом, мы подходим к проблеме балтийско-славянской языковой общности и ее отношения к культурно-этнической основе, освещение которой дает нам археология.

П. Н. Третьяков, как мы уже отметили выше, первый из советских ученых обратил внимание на проблему славяно-балтийской общности, встав без оговорок на ту точку

[1] Ср. J. Kostrzewski, Od mezolitu do okresu wędrówek ludów, в кн. «Prehistoria ziem polskich» («Encyklopedia polska» [РАИ], t. IV, część 1, dział V), Kraków, 1939, стр. 168 и сл.

зрения, что раздельному развитию славянского и балтийского этническо-языковых комплексов предшествовал период их общего развития. Он связывает этот период не с общностью средне- и восточноевропейской культуры «шнуровой керамики», а с относительно более древним комплексом так называемой культуры глиняных сосудов шаровидной формы (шаровидных амфор). При этом состав указанного комплекса и территорию его распространения он рассматривает иначе, чем другие археологи. Он относит к последней не только непосредственно территорию культуры глиняных сосудов в бассейне Вислы вместе с родственной ей подольско-волынской группой культуры могил из каменных плит, но и центрально-приднепровский культурный массив, простирающийся на север к верхнему Днепру, Сожу и Десне — массив, который другие исследователи совсем не связывают с этой культурой[1]. Не останавливаясь более на этом противоречии между взглядами П. Н. Третьякова и других ученых, следует отметить, что подобная постановка вопроса натолкнулась на ряд серьезных трудностей. Принимаемая Третьяковым предположительная территория распространения балтийско-славянской общности почти совсем не включает в себя, кроме земель позднейшей Восточной Пруссии, областей оседлости балтийских племен: границы ее проходят к югу от Припяти и бассейна Немана. Исходя из вышесказанного, следовало бы признать, что предки балтов прибыли на места своих исторических поселений с юга не ранее как на протяжении I тысячелетия до н. э. Но ни данные археологии, ни данные каких-либо других наук не подтверждают этого. В такой связи нельзя не учитывать некоторых фактов языкознания, имеющих определенное значение при решении вопросов генезиса балтийско-славянского языкового комплекса.

Прежде уже обращалось внимание на тот факт, что в грамматическом строе балтийских и славянских языков имеются определенные черты, чуждые другим индоевропейским языкам и связывающие эти два вместе взятых языковых комплекса с угро-финскими языками. К ним относится, например, характерная для угро-финских языков балтийско-славянская тенденция к объединению в некоторых производных словах значительного количества суффиксов, служащих для обозначения различных смысловых отношений, которые в других индоевропейских языках выражаются при помощи синтаксических средств (ср., например, сербо-хорв. *dom*, *domaći* «домашний», *domaćin* «хозяин дома», *domaćinstvo* «функция хозяина дома», *domaćinstvovati* «быть хозяином дома» и т. п.), или также балтийско-славянское употребление творительного падежа в качестве сказуемого, употребление в функции дополнения родительного падежа вместо винительного при глаголах с отрицанием и т. п.[2].

Подобные факты можно объяснить исключительно наслоением древнейших индоевропейских диалектов предков балтов и славян на основу угро-финских диалектов, которые, подвергаясь постепенной индоевропеизации, передали некоторые грамматические особенности своим индоевропейским, точнее, балтийско-славянским преемникам. Этот процесс мог произойти только там, где индоевропейские этнические элементы распространились на территории, ранее занятые угро-финскими племенами. Следовательно, это не могло иметь места на территориях бассейна средней Вислы, Подолии, Волыни и среднего Приднепровья, которые никогда не были заселены угро-финскими племенами. Указанные условия имелись лишь в области более северной, от нижней Одры через бассейн нижней и средней Вислы до северной Волыни и Полесья, куда в конце неолитической эпохи доходили угро-финские поселения, представленные остатками культуры гребенчатой керамики, и где они были ассимилированы индоевропейской народностью культуры «шнуровой керамики». На данной территории следует поэтому искать зачатки балтийско-славянского языкового комплекса. Последний лишь через бассейн средней Вислы (где в формах керамики так называемой тшинецкой культуры ясно проявляются следы элементов праугрофинской культуры гребенчатой керамики, поглощенных культурой «шнуровой керамики») расширил свои границы к югу и юго-востоку, занимая пространства, на которых выступает культура «шнуровой керамики», вплоть до среднего течения Днепра и приднестровских поселений племен трипольской культуры. Указанные пространства уже раньше были заселены земледельческо-скотоводческими племенами с различными типами культуры, говорящими, как, видимо, правильно предполагает П. Н. Третьяков, на родственных им индоевропейских диалектах, что определенно облегчало явно немногочисленным пришлым группам культуры «шнуровой керамики» (по языку балтийско-славянским) языковую ассимиляцию этих огромных пространств. Существовавшие там ранее различия между индоевропейскими диалектами местных племенных групп, несомненно,

---

[1] Ср. последнюю работу А. Я. Брюсова «Очерки по истории племен Европейской части СССР в неолитическую эпоху» (М., 1952, стр. 216—224).

[2] Ср.: J. Pokorny, Substrattheorie und Urheimat der Indogermanen, II — Substratfrage im Balto-Slavischen, «Mitteil. der Anthropologischen Gesellschaft in Wien», t. LXVI, стр. 71; T. Lehr-Spławiński, O pochodzeniu i praojczyźnie słowian, Poznań, 1946, стр. 136—137.

должны были вызвать возникновение в отдельных частях подвергнувшегося экспансии балтийско-славянского языкового комплекса всякого рода диалектных различий, о которых мы, однако, из-за отсутствия сохранившихся материалов не можем сказать ничего более конкретного. Но несомненно, что такая значительная языковая общность, как балтийско-славянский языковой массив того времени, не могла быть свободна от подобных различий, возникших или в связи с различиями в субстрате, или в результате естественного языкового развития, которое на столь обширных пространствах, исключающих длительный общественно-языковой контакт, не могло быть совершенно однородным.

Ослаблению внутренних связей балтийско-славянского комплекса, несомненно, способствовали племенные и культурные различия, которые сохранились с давних времен, предшествующих довольно поверхностной культурной и языковой унификации в период экспансии носителей культуры «шнуровой керамики». В этой связи становится понятным углубление внутренних противоречий в балтийско-славянском комплексе, который в бронзовом веке, около середины II тысячелетия до н. э., распадается на ряд становящихся все более самостоятельными племенных и языковых групп. Одним из проявлений этого процесса было, по мнению П. Н. Третьякова, выделение на территории Балтийского побережья, где дольше, чем на юге, сохранились древние формы общественно-культурной жизни, группы племен, язык которых в дальнейшем лег в основу развития языков балтийских (лето-литовских), наиболее близких славянским языкам (стр. 38).

Параллельно с прибалтийской группой автор называет ряд других племенных и культурных групп, которые около середины II тысячелетия до н. э. можно выделить в волынско-приднепровских областях на основании не очень значительных отличий в материальной культуре. Все они относились к земледельческо-скотоводческим племенам, сочетавшим оседлый образ жизни с кочевым скотоводством, а в хозяйственном и материально-культурном отношениях были связаны (что автор особенно подчеркивает; см. стр. 39) со своими западными соседями, племенами Средней Европы, с которыми их объединяли главным образом формы изделий из бронзы. В то же время племенные союзы на левом берегу Днепра и в бассейне Дона определенно тяготели к востоку, поддерживая в области материальной культуры связи с народностями Урала, Кавказа и Казахстана.

На территории бассейна верхнего Днестра П. Н. Третьяков в это же время выделяет группу так называемых ночарских племен, из которых со временем выросла группа племен комаровской культуры, в общем близкой культуре приднепровских племен. К северу от них и в районе южных притоков Припяти жили племена так называемой высоцкой культуры, возникновение которой многие археологи, вопреки мнению автора, объясняют иммиграцией из областей бассейна Вислы. Именно на этих пространствах в первой половине II тысячелетия до н. э. многочисленные мелкие племенно-культурные группы — такие, как ивенская, томашевская и другие, уступают превосходству упоминаемой уже нами выше тшинецкой культуры (которую, кстати сказать, П. Н. Третьяков неизвестно почему называет «тшенецкой»). К этому также следует добавить влияние надвигавшихся с запада, из областей над Лабой и Одрой, культур унетицкой и предлужицкой, из которых на рубеже II и I тысячелетий до н. э. формируется могущественный союз племен. Яркая и высокоразвитая культура этого союза носит в археологии название лужицкой культуры (от древнейших находок на территории Лужиц).

Генетические связи между всеми культурными группами бронзового века, которые лежат в основе этногенеза славян («протославянские»), П. Н. Третьяков считает недостаточно выясненными до настоящего времени. Он лишь констатирует, что на основании археологических данных можно утверждать, что на протяжении II тысячелетия до н. э. на указанные территории не вторгалась ни одна чуждая народность (стр. 41). Это утверждение только в некоторой степени можно считать правильным, ибо никакими несомненными доказательствами подтвердить его нельзя, тем более, что в данной связи оно не играет большой роли. Решающим для вопроса этногенеза славян является, с точки зрения археологов, тот очевидный факт, что на протяжении двух-трех последних веков II тысячелетия до н. э. и в первой половине I тысячелетия до н.э. на территориях (если брать очень приблизительно) от Одры до бассейна Верхнего Днестра, Волыни и Подолии происходит далеко идущая культурная унификация, которая распространила свое влияние также и на восток в область среднего Днепра. Движущим началом этой унификации была так называемая лужицкая культура, которая оставила свой след на материальной культуре названных областей, хотя, конечно, и не в одинаковой степени на всем их протяжении. При этом характерно, что чем ближе к востоку, тем более это влияние ослабевает, пока окончательно не перестает ощущаться.

Около середины I тысячелетия до н. э. культурные связи между лужицким массивом и полужицкими племенами этой территории и племенами областей Волыни, Подолии и среднего течения Днепра умножаются и усиливаются, что приводит в по-

следние века до н. э. к образованию таких, без сомнения, близких культурных массивов, как так называемая культура ямных погребений в бассейне Одры, Вислы и верхнего Днестра и культуры так называемых полей погребений на территории бассейна среднего Днепра. Их культурная близость, несмотря на все различия между ними, должна быть и действительно признана теперь всюду археологическим эквивалентом этнически-языковой праславянской общности. Факт этот целиком признает также и П. Н. Третьяков (ср. стр. 44—51 и карта), но его понимание путей, которые привели к подобной унификации, должно вызывать очень много возражений — как со стороны языковедов, так и со стороны археологов.

С точки зрения языковедческой прежде всего необходимо непосредственное рассмотрение вопроса распада балтийско-славянской языковой общности, существование которой П. Н. Третьяков признает, хотя, как известно, связь ее с открытыми археологией культурными массивами он понимает иначе, чем это, по нашему мнению, вытекало бы из общего процесса складывания этнических отношений в конце неолитической эпохи. О выделении балтийского культурного массива автор, правда, говорит (стр. 39), что в связи с процессом образования и усиления различий между отдельными группами в протославянской (балтийско-славянской) общности происходило в течение бронзового века обособление племен Прибалтики. Эти племена сохранили на более долгий период, нежели южные, архаичные формы быта и культуры, с чем было также связано и языковое разделение. Но указанное не объясняет в достаточной степени материальных основ подобного разделения, так как ничего не говорится о факторах, которые удержали в относительно тесном единстве большую часть существовавшего до тех пор комплекса балтийско-славянских племен, оставив в стороне только прибалтийские племена. Этим фактором не могло быть воздействие массива придненровских и волынских племен, подверженных скифскому влиянию, так как их культурная экспансия никогда не простиралась так далеко на северо-запад, чтобы оказаться причиной отделения славянских племен от балтийских, граница которых на прибалтийских землях, как языковая, так и этническо-культурная, с давних времен проходила в общем по северной границе бассейнов Вислы и Буга.

Этому разделению в то же время вполне соответствует область распространения лужицкой культуры, которая почти абсолютно точно отделяет территорию оседлости славянских племен от балтийских. На этой же основе покоится выдвинутый мною в работе «О происхождении и прародине славян» тезис о решающей роли экспансии лужицкой культуры в распаде балтийско-славянской общности[1]. Моя точка зрения не нашла никакого отражения в книге П. Н. Третьякова, который оставил неразрешенными вопросы происхождения и экспансии лужицкой культуры, удовлетворившись лишь констатацией различий во взглядах польских археологов — И. Костшевского, выводящего лужицкую культуру из древней унетицкой и предлужицкой, родовые центры которых лежали в бассейнах верхней Лабы и Одры и на территории между Одрой и Вислой, и С. Носека, который видит основу лужицкой культуры в тшинецком культурном массиве и не дает объяснения, была ли она принесена извне или образовалась в результате автохтонных процессов.

Эта последняя проблема не имеет решающего значения для вопроса о роли лужицкой культуры в распадении балтийско-славянской общности, так как в этой связи можно считать несущественным, наступило ли отделение южной и западной части древней балтийско-славянской территории в результате вторжения новых этнических элементов, двигающихся с запада, или в результате внутренней кристаллизации местных племен, преобразующихся в новые объединения в силу тех или иных общественно-хозяйственных условий. При всем этом нам более правдоподобным кажется первое предположение, в равной степени как с археологической, так и с языковой точек зрения, ибо трудно объяснить общественно-хозяйственными переменами так далеко идущие изменения в формах керамики или погребальном обряде, которые принесла на соответствующие области лужицкая культура.

Пространство, охваченное экспансией лужицкой культуры, на котором в последующие века окончательно выкристаллизовалась праславянская языковая общность, дает по сравнению с архаическими формами быта, сохранившимися на балтийских землях, ряд новшеств не только грамматических, но и лексических. Среди последних особенно много слов с согласными *к*, *g* на месте исконных индоевропейских *к'*, *g'*, которые в эпоху балтийско-славянской общности систематически заменялись переднеязычными спирантами (*ś*, *ź*, откуда балт. *š*, *ž*, слав. *s*, *z*, как и в других так называемых языках satem), что указывает на примесь новых этническо-языковых элементов (типа ков centum), чуждых балтийско-славянской общности[2]. Эти чисто языковедческие сомнения, приходящие на ум слависту-языковеду в связи с ролью племенных объеди-

[1] Ср.: мои работы: «O pochodzeniu i praojczyźnie słowian», стр. 137 и «Powstnie, rozrost i rozpad wspólnoty prasłowiańskiej» («Przegląd zachodni», 1951, № 3/4, стр. 369).

[2] См. T. Lehr-Spławiński, O pochodzeniu i praojczyźnie słowian, стр. 137—138.

яений, представленных лужицкой культурой, в начальной фазе развития праславянской общности вполне естественно могли не привлечь внимания слависта-археолога, каковым является par excellence П. Н. Третьяков, и спорить с ним по этому поводу трудно.

Гораздо большие расхождения возникают между автором и рецензентом в оценке роли племенных комплексов с лужицкой культурой в следующий период языкового развития славянских племен. Культура эта оказала решающее влияние на внутренние процессы образования праславянской общности в эпоху перед распадением ее на отдельные части, получившие в дальнейшем самостоятельное развитие. Разделяя взгляды польских и чешских ученых, П. Н. Третьяков полностью признает решающую роль лужицкой культуры в формировании праславянской общности в бассейнах Одры и Вислы и в материальной культуре их потомков, племен, принадлежащих к объединению культуры ямных погребений. Бесспорное продолжение последней он видит в культуре древних славян на этой территории. Однако он не соглашается с бытующей ныне оценкой роли племен лужицкой культуры в образовании славянства вообще. Правда, он верно отбрасывает принятое некоторыми польскими (И. Костшевским и его школой) и чешскими (Я. Филип) учеными отождествление «лужицких» племен с праславянскими и мнение о том, что они являются непосредственными предками всего праславянства, но в то же время ошибочно отрицает объединяющую роль, которую сыграло в этногенезе славян объединение, охватывающее большую северо-восточную и центральную часть этих племен. Не подлежит сомнению, что как археологический материал, так и данные древней историографии указывают на то, что в состав позднейшего славянского объединения вошли, с одной стороны, племена, являющиеся культурно-этническими преемниками лужицкой культуры, и, с другой стороны, племена, обитающие в области бассейна среднего Днепра и Южного Буга, связанные с древней восточноевропейской степной культурой и, частично, с трипольской культурой, которые в период VII и V вв. до н. э. входили в область господства скифов. Все эти племена от Одры до среднего течения Днепра, хотя и имели разное происхождение и различные культурные особенности, в течение II тысячелетия до н. э. были связаны с общей культурой «шнуровой керамики», что позволяет предположить, что по крайней мере уже тогда они были близки по языку, входя в состав индоевропейского языкового массива. Однако названия рек, особенно больших, как правило, сохраняющиеся очень долго и являющиеся наиболее древними (их хронология может быть, во всяком случае, установлена еще до времени Геродота), различаются в области этих двух племенных объединений самым поразительным образом: на западе преобладают названия, этимологически, несомненно, связанные с языками иллирийскими, кельтскими и балтийско-славянскими (например, Одра, Висла, Буг, Нотець, Варта и т. п.), а на востоке— названия ирано-фракийского происхождения (например, Днепр, Днестр, Гипанис, Борисфен, Прут, Стырь, Дон и т. д.)[1].

Нам кажется, что население этих областей до середины II тысячелетия до н. э. не имело общего языка, несмотря на его несомненный индоевропейский характер. По той же самой причине нам кажется сомнительным, чтобы, как это предполагает автор, земли по среднему течению Днепра входили в то время в состав балтийско-славянской языковой общности, так как на их территории нет древних балтийско-славянских названий больших рек. Многочисленные названия рек этой области, являющиеся по происхождению славянскими и связанные с названиями бассейна Одры и Вислы, относятся исключительно к менее значительным рекам, которые, как правило, носят названия более позднего происхождения[2]. Из того факта, что в восточных областях наряду с древними названиями рек, указывающими на связь с ирано-фракийскими диалектами, имеются и названия славянского происхождения при полном отсутствии названий первого типа в бассейнах Одры и Вислы, само собой вытекает предположение, что языковая унификация всей области от Одры вплоть до среднего течения Днепра имела своим исходным пунктом западные территории, занятые племенами лужицкой культуры. Эти выводы, основанные на языковом материале, полностью совпадают и с археологическими данными. П. Н. Третьяков, правда, говорит (стр. 82), что археологическая наука не располагает никакими серьезными фактами, которые свидетельствовали бы о каком-либо массовом передвижении на восток лужицких племен, и на этом основании решительно отвергает предположение, что экспансия этих племен могла быть главным фактором этногенеза славян, подчеркивая тем самым преобладающую роль восточных племен, входящих в состав скифского объединения, военное, хозяйственное и культурное влияние которых распространялось очень широко не только в бассейне Одры, но и Лабы.

Вопрос этот, однако, не представляется простым: археологические исследования польских ученых (И. Костшевского, Л. Козловского, Т. Сулимирского) и, частично,

[1] Подробности см. в кн.: T. Lehr-Spławiński, O pochodzeniu i praojczyźnie słowian, стр. 60—80.

[2] Ср. там же, стр. 108, 209 и 210.

чешских (Я. Филипа) указывали уже с давних пор на распространение во второй четверти I тысячелетия до н. э. элементов лужицкой культуры далеко на восток, в области Волыни, Подолии и даже центральной Украины. При этом речь идет не только о свободном распространении, о котором упоминает П. Н. Третьяков (стр. 78), и о смешении лужицких форм и лужицких орнаментов в местной керамике, но прежде всего о распространении на Волыни, Подолии и в Поднепровье обряда трупосожжения, близкого к лужицкому, который с течением времени стал преобладающим в культуре полей погребения, благодаря чему они сблизились с культурой ямных погребений, господствующей в последних веках до н. э. в бассейне Одры, Вислы и верхнего Днестра. На фоне экспансии элементов лужицкого происхождения образовалась около VII в. до н. э. на территории Волыни и Подолии высоцкая культура, истоки которой кроются в древней, восходящей еще к эпохе бронзы, культуре местных племен так называемых комаровских, белопотоцких и др., но, несмотря на это, насыщенность ее элементами лужицкой культуры бросается в глаза. На недооценку этих фактов указывал еще раньше в рецензии на первое издание книги П. Н. Третьякова советский археолог М. И. Артамонов. Он достаточно ясно подчеркнул распространение на территориях, о которых идет речь, многочисленных элементов лужицкой культуры, которые в конце гальштатского периода привели к значительному культурному сближению среднего Поднепровья с областями нынешней Польши, причем немалую роль в этом сближении сыграла высоцкая культура как посредник между областями лужицкой культуры и средним Поднепровьем. При этом он особенно подчеркнул, что местные приднепровские формы могил с трупосожжением развились на основе скрещения с формами лужицко-высоцкими. Этого факта не может ослабить утверждение П. Н. Третьякова (в первом издании книги) о том, что «эти племена сжигали тела своих умерших так же, как и многочисленные скифские племена», так как здесь он прошел мимо факта, имеющего очень большое значение, что обряд трупосожжения был у лужицких племен господствующей формой задолго до распространения его на территории скифских племен[1]. Здесь мы имеем дело с явлениями значительно более серьезного характера, чем различные скифские находки на территории лужицких племен, которые свидетельствуют лишь о торговых сношениях и временных военных набегах на эти области со стороны скифских племен.

При таком положении вещей значительно более правдоподобным является предположение, что главным фактором постепенно возрастающего культурного выравнивания между областями бассейнов Одры, Вислы и Волыни, Подолии и среднего Поднепровья была экспансия населения из областей лужицкой культуры на восток, прежде всего в направлении Волыни и Подолии, а затем уже, более ослабленная, дальше к среднему течению Днепра. Эта экспансия, с которой некоторые ученые связывают упоминание Геродота о передвижении невров с северо-запада к новым поселениям на Волыни, не была очень сильной количественно, так как не вытеснила древнего населения комаровского типа с его волынских поселений, а закрепила среди него много важных, проявляющихся в высоцкой культуре элементов лужицкой культуры, указывающих на ее перевес над культурой местного населения. С этим, по всей вероятности, общественно-хозяйственным перевесом было связано и проникновение языка, которое в конце концов привело к тесной языковой связи этих областей со складывающейся уже в течение нескольких веков на территории лужицкой культуры в бассейне Одры, Вислы и Верхнего Днестра праславянской языковой общностью. Дальнейшее распространение к востоку на территорию среднего, а с течением времени и верхнего Поднепровья культурных и языковых элементов из области высоцкой культуры значительно расширило область этническо-языкового праславянского массива и привело к его окончательному сформированию. Ясно, что процессы унификации хотя и были одной из причин оформления праславянской языковой и культурной общности, но нимало не уничтожили старого населения этих земель и не стерли окончательно его культурных особенностей, связанных с прошлым этнической основы.

П. Н. Третьяков прав, когда он подчеркивает культурные связи населения среднего Поднепровья с древними скотоводческими племенами областей, лишь поверхностно захваченных скифами, и видит в них этническо-культурных предков восточных славян (стр. 45—67). Также верно он видит в славянском населении верхнего Поднепровья потомков одного из объединений скотоводческих племен I тысячелетия до н. э., а не позднейших иммигрантов, которые — как принято было считать в старой науке — пришли на эти земли почти непосредственно перед образованием древнерусской государственности (стр. 83—97). Но сохранение некоторых культурных особенностей, свидетельствующее о непрерывных генетических связях населения этих областей с древними скотоводческими племенами, которые населяли их еще перед I тысячелетием до н. э., не находится в противоречии с проявлением экспансии во многих основных чертах культуры (формы керамики, мотивы украшений, обряд погребения), проникаю-

[1] См. ВИ, 1948, № 9, стр. 102—103.

щих во второй и третьей четверти I тысячелетия до н. э. в эти земли из областей, связанных с лужицкой культурой. Параллельно с этими проявлениями культурной экспансии развивалась, по всей вероятности, *идущая из тех же самых мест* языковая экспансия, которая по своему значению была равноценна окончательной кристаллизации области распространения праславянского языка на последнем этапе развития языковой общности всех славянских племен.

Такое предположение находит, кроме того, свое обоснование и в явлениях, касающихся отношения праславянского языка к языкам соседних народов. Наблюдения, которые провела наука в последние годы, позволяют утверждать, что уже балтийско-славянский языковой комплекс, а в еще большей степени праславянский, имели много важных связей в лексике и грамматическом строе с языками германского комплекса[1]. Эти связи количественно и качественно превышали (в противоположность утверждениям старой науки, главным образом немецкой) связи с иранскими языками. Так как мы не имеем возможности вдаваться здесь в более подробное объяснение подобных явлений, достаточно сказать, что, кроме тенденции в развитии древних индоевропейских заднеязычных мягких согласных в переднеязычные спиранты (явления типа satəm) и тенденции оттяжки назад в глубь языковой полости древнего *s* в определенных позициях — черт, уходящих своим началом в эпоху праиндоевропейской языковой общности, нельзя указать никаких новых тенденций в развитии грамматического строя, которые связывали бы славянский языковой комплекс с иранскими языками. Связей же с германскими языками в области новых грамматических явлений обнаруживается так много, что само собой напрашивается вывод о том, что праславянский языковой комплекс в период своей кристаллизации должен был находиться в соседстве с германскими племенами и поддерживать с ними *достаточно близкие отношения*. Точно так же в области лексики значительно больше элементов, общих балтославянам и германцам, чем связей с иранскими диалектами, хотя, без сомнения, среди этих последних имеются очень характерные случаи (как, например, общие черты в лексике, связанной с религиозными поверьями; ср. *bogъ*, *srębъ*, название божества *Svarogъ*), свидетельствующие о живом влиянии иранских элементов на славян в определенный период — вероятно, в связи с политической и торговой экспансией скифов в середине последнего тысячелетия до н. э.

Другие лексические элементы восточноевропейского происхождения, на существование которых в праславянском языке указывают некоторые исследователи (в последнее время особенно проф. Казимеж Мошиньский[2]), связываются, по всей вероятности, с позднейшими процессами взаимовлияния племенных диалектов внутри праславянского языкового комплекса на фоне внутренних перемещений племен, вызванных натиском различных кочевых народностей (гуннов, аваров, болгар), нападавших с востока на славянские земли в первых веках нашей эры. Очевидно, что все это не изменяет сформулированной выше точки зрения, что кристаллизация праславянского языка в области его распространения произошла на фоне языковой экспансии, имеющей своим источником западные полужицкие области, параллельно с распространением на восток и других культурных элементов из тех же самых источников.

Несомненно, что языковая экспансия, основывающаяся на специфическом механизме перечинания языковых систем, отличающемся от механики распространения материальной культуры, приобрела, со многих точек зрения, другой облик, нежели культурная экспансия, и привела к далеко идущей языковой унификации на всей указанной территории, прежде чем это произошло в области материальной культуры, которая оставила значительно больше следов связи с древними культурными массивами, развивающимися на этих землях до образования славянского комплекса. Опираясь на материалы археологии, гораздо легче, чем опираясь на материал языковедческий, выделить на славянской территории ее древние составные части — места поселения народностей, которые были этническими предками славян. Но если археологические данные приводят к выводу, что главные этнические элементы славянского комплекса можно разделить на три основные группы: 1) полужицкую — в бассейне Одры, Вислы и верхнего Днестра; 2) высоцко-приднепровскую, охватывающую Волынь и среднее Приднепровье; 3) северо-приднепровскую, то с точки зрения языковой, несмотря на далеко распространившуюся языковую монолитность всех славян, можно выделить на основании различий в грамматическом строе несколько диалектных групп, не совпадающих, однако, полностью с культурным делением. Эти группы подвергались постепенно некоторым количественным изменениям и территориальной перегруппировке.

---

[1] См. T. Lehr-Spławiński, O pochodzeniu i praojczyźnie słowian. стр. 32—34, 42—43, а также работу Е. Георгиева «Балтославянско-германского езиково родство» (София, 1941, стр. 44).

[2] Ср. изложение его работы «Z zagadnień pochodzenia języka słowiańskiego» и «Sprawozdaniach z czynności i posiedzeń Pol. Akad. Um.», t. XLVIII, № 1 (Kraków, 1947).

что можно заметить в полной мере на основании наблюдений над относительной хронологией грамматических явлений.

Поскольку мы не имеем возможности вдаваться здесь в более подробные рассуждения на эту тему, неоднократно нами разбиравшуюся[1], ограничимся лишь подтверждением того, что наиболее древняя фаза диалектных различий праславянской общности, которую мы в состоянии увидеть, указывает на разделение на две группы: бо́льшую — восточную и ме́ньшую — западную, которые могут быть сравниваемы с известным еще у древних авторов делением славянских племен на две большие группы: антов и склавинов, имеющим, как много раз подчеркивает П. Н. Третьяков, археологическое обоснование в выделении на славянской территории в начале нашей эры двух больших культурных массивов: культуры полей погребения и культуры ямных погребений (а особенно выделяющейся внутри ее так называемой пшеворской культуры). Следующая фаза диалектного разделения праславянской территории на 3 группы — западную, восточную и южную—вводит нас уже в период ослабления внутренних связей в праславянском массиве и приближает к его распаду, механизм которого и последующая история выходят уже за рамки вопросов этногенеза славян, подвергнутых нами рассмотрению в связи с книгой П. Н. Третьякова. Работа П. Н. Третьякова — новая, высшая ступень на пути разрешения этой трудной проблемы. Последняя потребует еще долгого и кропотливого исследования как в области языкознания и археологии, так и в области других наук, располагающих материалами, которые дают возможность заглянуть в столь отдаленные от нас времена и условия общественно-хозяйственной и культурной жизни. При этом необходима координация исследований представителей всех этих отраслей науки во всех славянских странах.

Т. Лер-Сплавинский

Перевела с польского *Г. В. Синицына*

---

[1] Ср. мой реферат «O dialektach prasłowiańskich» в изд. «Sborník prácí I Sjezdu slovanských filologů v Praze, 1929 г.» (Praha, 1931) и соответствующие разделы в моих работах: «Prasłowianie (Z cyklu: Początki słowian)» (Kraków, 1946) и «Przegląd i charakterystyka języków słowiańskich» (Warszawa, 1954).

№ 1 1955

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ДИСКУССИЯ О ЧАСТЯХ РЕЧИ

28—30 июня 1954 г. на открытом расширенном заседании Ученого совета Института языкознания АН СССР состоялась дискуссия о частях речи в языках разных типов. На дискуссии, кроме языковедов Москвы, присутствовало более 100 представителей языковедческих институтов и высших учебных заведений других городов страны.

Открывая заседание, директор Института языкознания АН СССР доктор филол. наук В. И. Борковский подчеркнул важность и своевременность широкого обсуждения проблемы частей речи. В выяснении вопросов теоретического и практического характера, связанных с этой проблемой, заинтересованы, в частности, составители нормативных и описательных грамматик.

По целому ряду вопросов, сказал В. И. Борковский, относящихся к учению о частях речи, не существует общих, согласованных точек зрения. К таким вопросам, в частности, относятся: принципы классификации частей речи и в связи с этим количество частей речи в том или ином языке; возможность определения общих, существенных признаков, служащих основой для выделения частей речи; правомерность выделения частей речи на основании синтаксической функции слов в предложении; допустимость учета переходных явлений в области частей речи и установления новых для данного языка частей речи.

С докладом на тему «Части речи как проблема структуры языка» выступил доктор филол. наук Н. С. Поспелов. Исходным положением его доклада явился тезис о том, что деление слов на части речи заложено в самой природе слова как основной единицы языка. В общей структуре языка, полагает докладчик, слово представляет собой основную и единственную реально воспроизводимую в своей цельности и законченности единицу языка. Части речи представляют собой не семантические группы слов, различающиеся только лексическими значениями, и не грамматические лишь классы слов, разграничиваемые только по способам формообразования, а основные лексико-грамматические разряды слов, в которых осуществляется преобразование наиболее обобщенных лексических значений в абстрагированные грамматические значения предметности, действия как процесса, состояния, качественного, количественного, обстоятельственного признака, обобщающего указания и т. п. Грамматическая оформленность частей речи выражается в определенном характере парадигматического изменения слов (или соотносительной такому изменению неизменяемости) и в определенном «лимите» сочетаемости их со словами других разрядов, а также в определенных морфологических типах словообразования.

Обобщая сказанное, Н. С. Поспелов признал основными критериями при разграничении частей речи абстрагированное от конкретного содержания слов в русском языке, сказал докладчик, уже около столетия является одним из неразрешенных вопросов русской грамматики. Должны быть прежде всего установлены предмет и границы каждого из основных разделов грамматики — морфологии и синтаксиса. «Восстановление в правах» морфологии, в свою очередь, означает, применительно к русскому языку, также необходимость со всей полнотой осветить то, что составляет своеобразие строения слова в русском языке. Охарактеризовав морфологический принцип классификации частей речи, наиболее последовательно примененный Ф. Ф. Фортунатовым и по-

своему интерпретированный М. Н. Петерсоном, А. Б. Шапиро подверг далее критическому анализу концепции частей речи, принадлежащие А. А. Шахматову, А. М. Пешковскому и Л. В. Щербе. Основной недостаток этих концепций А. Б. Шапиро видит в том, что в них при установлении принадлежности слова к той или иной части речи принимаются во внимание не только морфологические, но и синтаксические признаки слов.

Докладчик рассмотрел также классификацию слов современного русского языка, принадлежащую акад. В. В. Виноградову. Эта классификация, сказал А. Б. Шапиро, построена на всестороннем учете типов слов русского языка и наиболее полно отражает общую картину соотношения существующих в современном языке широких грамматических группировок слов. Содержащаяся в книге В. В. Виноградова классификация частей речи на слова, имеющие «систему форм», и слова, такой «системы» не имеющие, легко сближается с выдвинутым Ф. Ф. Фортунатовым делением слов на «форменные» и «бесформенные». Именно такое деление частей речи, по мнению А. Б. Шапиро, наиболее объективно отражает специфику структуры слов в русском языке, как и во многих других языках. Части речи, по определению А. Б. Шапиро,— это разряды слов, рассматриваемых как носители наиболее обобщенных выражаемых ими лексическо-грамматических значений. Морфологическое строение слов, принадлежащих к частям речи, генетически и функционально связано с их категориальными лексическими значениями и с их основной синтаксической ролью в предложении. «Морфологические формы — это отстоявшиеся синтаксические формы. Нет ничего в морфологии, чего нет или прежде не было в синтаксисе и лексике»[1]. Но все те структурные элементы, в которых находят отражение лексическое значение и синтаксические связи, в словах русского языка настолько прочно закрепились как морфологические их признаки, что уже сами по себе непосредственно выступают в подавляющем большинстве случаев как показатели определенных частей речи.

Лексико-морфологическая структура слова, сказал А. Б. Шапиро, с ее многообразной системой аффиксов, звуковых чередований, ударения настолько глубоко вошла в основу дифференциации слов по частям речи, что встречающиеся в русском языке немногие случаи отсутствия в словах этих формальных показателей ни в какой мере не в состоянии поколебать грамматическую систему русского языка в целом, с древнейших времен его существования и до сих пор остающегося языком ярко выраженного морфологического строя. Поэтому, полагает А. Б. Шапиро, отнюдь не является правомерным введение в число признаков, на основе которых должна устанавливаться принадлежность слова к той или иной части речи, таких, как выполнение этим словом определенной синтаксической функции в предложении — подобные признаки являются для частей речи не основными, а вторичными. В частности, о сформировании новой части речи в применении к русскому языку, можно говорить только в том случае, если новая группа слов, как обладающая своими особыми морфологическими чертами, может быть поставлена в один грамматический ряд с уже существующими частями речи. Как раз результатом неразличения признаков морфологического строения слова и его синтаксических свойств является, по мнению А. Б. Шапиро, признание некоторыми учеными существования в русском языке особой части речи — так называемой категории состояния.

Основным содержанием доклада доктора филол. наук М. И. Стеблина-Каменского «Об основаниях, по которым выделяются традиционные части речи» явилось доказательство той мысли, что существующие распределения слов по частям речи не могут считаться результатом строго научной классификации[2].

С докладом на тему «К проблеме частей речи в тюркских языках» выступил канд. филол. наук Э. В. Севортян. Докладчик подчеркнул, что разработка проблемы частей речи в тюркских языках представляет значительные трудности, основной из которых является неравномерность морфологического развития именных частей речи как в рамках одного языка, так и в пределах всей группы тюркских языков. Если при таком положении вещей нельзя предложить общую схему частей речи для всех тюркских языков, то можно разработать общую теорию частей речи и дать критерии их различения.

Докладчик убедительно показал, что формы словообразования именных частей речи составляют важнейшую характеристику частей речи в тюркских языках. Отмечая, что наиболее излюбленным критерием классификации частей речи среди тюркологов был и остается семантический критерий, под которым чаще всего подразумевается не грамматическое, а словарное значение, Э. В. Севортян подчеркнул, что семантическая трактовка частей речи в тюркских языках не охватывает частей речи в целом и не отражает ее специфики. Для учения о частях речи важна грамматическая семантика слова, благодаря которой только и оказывается возможным объ-

---

[1] В. В. Виноградов, Русский язык, М.— Л., 1947, стр. 29.

[2] См. его статью «Об основных признаках грамматического значения» («Вестник Ленингр. ун-та», 1954, № 6).

единение в одной части речи названия предмета, названия качества, названия действия. Э. В. Севортян сказал, что нельзя совсем отказываться от синтаксического критерия, так как в определенных случаях он остается решающим, например при анализе природы определителя, обозначающего материал, профессию, т. е. в сочетаниях типа *асфалт-шоссе* (азерб.) «асфальтированное шоссе». Для характеристики части речи важны все три критерия — морфологический, семантический (общее грамматическое значение слова) и синтаксический. Критерии классификации частей речи, указал докладчик, взятые в отдельности, недостаточны для распределения слов по частям речи. Каждая часть речи должна иметь свой состав ведущих признаков, по отношению к которым остальные являются дополнительными. Важнейшими условиями правильной классификации частей речи, заключил докладчик, являются соблюдение принципа историзма и учет национального своеобразия исследуемого языка.

Доклад на тему «Морфологическая структура слова и части речи в тюркских языках (На материале каракалпакского языка)» прочитал доктор филол. наук Н. А. Баскаков. Разрешение вопроса о составе и классификации частей речи в тюркских языках Н. А. Баскаков ставит в связь с анализом слова с точки зрения лексического и грамматического значения, с одной стороны, и с изучением материальной структуры слова, определением его конструктивных компонентов и их функций — с другой. Проблема частей речи может быть решена только при условии точной дифференциации структурных элементов слова и изучения всех лексико-грамматических и функционально-грамматических категорий, возникающих в слове в процессе словообразования и словоизменения. Морфологический анализ слова в тюркских языках показывает, что в структуре слова, выступающего в контексте в качестве члена словосочетания или члена предложения, выделяются, во-первых, аффиксы словоизменения, наименее связанные с вещественным значением слова и наиболее обобщенные и абстрактные. Эти аффиксы выражают отношения слов в словосочетании или предложении; во-вторых, за аффиксами словоизменения, ближе к корню слов, следуют аффиксы функционально-грамматического словообразования, формирующие вторую основу слов; в-третьих, еще ближе к корню, непосредственно примыкая к нему, располагаются аффиксы лексико-грамматического словообразования, формирующие первую основу слова. Первая основа слова образует части речи — особые лексико-грамматические разряды слов, различающиеся между собой и вещественным, и грамматическим значениями.

С докладом на тему «Проблема классификации частей речи (На материале монгольских языков)» выступил доктор филол. наук. Т. А. Бертагаев. По мнению докладчика, основными критериями при классификации частей речи должны быть грамматический и лексический. Грамматический критерий включает в себя морфологические и синтаксические признаки. Т. А. Бертагаев подробно остановился на ведущем критерии — морфологическом, под которым он понимает все правила и категории, связанные с обобщенным изменением слова. Под синтаксическим же критерием понимаются изменения, образующие правила для составления предложения и имеющие отношение к составу предложения. Говоря о лексико-семантическом критерии, Т. А. Бертагаев имеет в виду наиболее общее, отвлеченное значение в словах, объединяющее группу слов по предметности, признаку, действию и т. п. Докладчик подчеркнул, что лучшим способом при классификации частей речи является перекрестное, комплексное, одновременное использование всех критериев. В соответствии с этим Т. А. Бертагаев наметил признаки именных частей речи. Так, существительными предлагается называть слова, имеющие предметное значение, свои формы словоизменения, формы словообразования и притяжательные частицы, определяющиеся другими именами, за исключением наречий, и выступающие в функции любого члена предложения. Докладчик отметил, что в монголоведении совершенно не учитываются направление и тенденция развития грамматических категорий и роль переходных категорий в монгольских языках.

Выступивший с докладом на тему «О частях речи в тунгусо-маньчжурских языках в свете общей теории частей речи» канд. филол. наук О. И. Суник указал на необходимость установления в научной грамматике единого общего принципа классификации частей речи. Вместе с тем в конкретном анализе возможно выявление и значительных различий в системе частей речи тех или иных языков, а также в одном языке на разных этапах его истории. В основе понятия частей речи, отметил О. И. Суник, лежит обобщенно-грамматическое значение слова; оно составляет сущность каждой части речи и всех различаемых в данном языке частей речи. Свойственное любому языку расчленение словарного состава и объединение совершенно различных по смысловому, вещественному значению слов в небольшое количество обобщенных групп — на основе сходства и различия их грамматических значений и форм — является реальной предпосылкой для научной, а также учебной классификации слов по частям речи.

Таким образом, О. И. Суник предложил рассматривать части речи как категории грамматические. В связи с этим докладчик специально остановился на общих вопросах научной грамматики — таких, как вопросы грамматической абстракции, грамматической категории, грамматических значений и форм их выражения. Значительное

место в докладе было уделено вопросу об основных особенностях частей речи в тунгусо-маньчжурских языках.

Доклад доктора филол. наук В. И. Лыткина был посвящен характеристике частей речи в финно-угорских языках. Докладчик особо подчеркнул то положение, что выделение частей речи в каком-либо языке может производиться только на основе реально существующей системы этого языка. Части речи характеризуются определенными языковыми (а не только семантическими) признаками, причем в разных языках различными.

Основным содержанием доклада В. И. Лыткина явилась общая характеристика системы частей речи финно-угорских языков — преимущественно на материале коми и удмуртского языков.

В дискуссии, кроме основных докладчиков, приняло участие 12 человек — языковеды Москвы, Ленинграда и ряда других городов. Основные вопросы, подвергшиеся обсуждению, были вопрос о природе частей речи и связанный с ним вопрос о критериях выделения частей речи в отдельных языках.

Канд. филол. наук Т. С. Шарадзенидзе выразила свое несогласие с пониманием частей речи как лексико-грамматических категорий, поскольку в таком понимании частей речи имеет место смешение разных принципов рассмотрения слов — с точки зрения лексикологии, морфологии и синтаксиса. Если семасиологическая классификация слов является универсальной, одинаково пригодной для всех языков, то грамматическая их классификация дает возможность выявить структуру слов отдельных конкретных языков и установить как особенности, так и общие черты в строении разнообразных языков. Части речи, полагает Т. С. Шарадзенидзе, следует считать не лексико-грамматическими, а чисто грамматическими и при этом морфологическими, а не синтаксическими категориями.

Доктор филол. наук Е. М. Галкина-Федорук в своем выступлении также отметила, что морфологический критерий является важнейшим критерием разграничения частей речи, и подчеркнула, что морфологические признаки частей речи, являясь языковыми средствами отражения действительности, представляют собой результат абстрагирующей работы человеческого мышления. Вместе с тем средством разграничения частей речи в ряде случаев служит также синтаксическая функция слова.

О том, что части речи являются чисто грамматическими, а не лексико-грамматическими категориями, заявил в своем выступлении канд. педагог. наук А. Г. Спиркин.

Основным критерием при выделении частей речи (применительно к русскому языку) проф. А. И. Зарецкий признал роль слова в построении речи, понимая под этим двоякую функцию слова — как подчиняющего себе другие слова и как подчиненного другим словам.

Член-корр. АН СССР В. М. Жирмунский специально остановился на вопросе о роли морфологии и синтаксиса в грамматическом оформлении частей речи. Полагая, что должен быть применен историко-генетический подход к рассмотрению частей речи, он признал неправильным мнение о первичности слова по отношению к предложению. Части речи — это морфологизованные члены предложения. Однако из этого никак не следует, что части речи в таких, например, морфологизованных языках, как латинский и русский, должны определяться синтаксически. Части речи, полагает В. М. Жирмунский, можно определить как лексико-грамматические разряды слов. Эту точку зрения поддерживал в своем выступлении и канд. филол. наук В. А. Аврорин. По его мнению, при классификации частей речи должны учитываться как морфологические, так и синтаксические признаки слов. На недостаточность чисто морфологического принципа выделения частей речи указал в своем выступлении член-корр. АН СССР Б. А. Серебренников.

Подводя некоторые итоги обсуждения вопроса о существе понятия «части речи» и о принципах выделения частей речи, член-корр. АН СССР С. Г. Бархударов отметил, что выдвигавшиеся в докладах и выступлениях две разные точки зрения на части речи — как на категории лексико-грамматические и как на категории собственно грамматические — не были, по существу, строго обоснованы и аргументированы, поскольку осталось неясным, какое содержание каждый из выступавших вкладывает в понятия «лексическая категория», «грамматическая категория», а также, как понимается грамматика вообще (в частности, включает ли грамматика в себя словообразование или не включает). С. Г. Бархударов сказал, что если под грамматическими категориями понимать категории, выражающие отношения, то части речи вообще нельзя признать грамматическими категориями: это — категории номинативные, поскольку они называют предметы, качества и т. п. Скорее все же их можно квалифицировать как категории лексико-грамматические, чем как категории чисто грамматические. Обязательным признаком слов как частей речи должно быть наличие у них внешних, материальных показателей. Большинство выступавших, отметил С. Г. Бархударов, склоняется к тому, чтобы не признавать функцию слова в предложении основным критерием для

выделения частей речи. Вместе с тем очевидно, что в число признаков, характеризующих части речи, необходимо включать их способность сочетаться с другими словами— об этом убедительно говорил в своем докладе Н. С. Поспелов.

Предметом обсуждения на дискуссии был также вопрос о том, являются ли части речи общей категорией для языков разных типов. Член-корр. АН СССР С. Г. Бархударов высказался за поддержку положения О. П. Суника о том, что части речи являются одной из категорий, которые свойственны языкам разных типов и сочетают в себе черты,общие различным языкам, и черты, присущие только данному конкретному языку.

Канд. филол. наук М. М. Гухман также отметила, что части речи — такая категория, которая связана с самой сущностью языка как средства общения и которая является поэтому до известной степени общей всем языкам категорией, по-разному реализующейся в языках разного строя. С другой стороны, в выступлениях канд. филол. наук В. А. Аврорина, канд. филол. наук Н. А. Сыромятникова и проф. А. Б. Шапиро особо подчеркивалась мысль о необходимости связывать вопрос о частях речи со спецификой структуры конкретных языков.

В ряде выступлений были затронуты вопросы, относящиеся к трактовке отдельных частей речи. Так, канд. филол. наук В. А. Аврорин отметил, что не следует при классификации частей речи стремиться к выделению слишком крупных рубрик: дробная классификация, по его мнению, лучше отражает структурные особенности каждого языка. Член-корр. АН СССР В. М. Жирмунский подверг критике взгляд, согласно которому в тюркских языках не выделяются в качестве особых частей речи прилагательные и глаголы. В. М. Жирмунский высказал также мнение о том, что местоимения относятся к полузнаменательным частям речи. Доц. П. А. Вовчок полагает, что неправомерно выделять местоимения в особую часть речи, как это делается в традиционной грамматике, поскольку в разряд местоимений попадают слова неоднородные по своим грамматическим признакам. Местоимения не составляют особой части речи с точки зрения той роли, которую они играют в построении речи,— принципа, выдвинутого А. И. Зарецким. Применение этого принципа к анализу междометий и звукоподражаний обнаруживает характерную для этих разрядов слов «грамматическую неактивность», т. е. затрудненную сочетаемость с другими словами. Е. М. Галкина-Федорук выразила сожаление, что вопрос о служебных частях речи до сих пор остается недостаточно разработанным. О служебных частях речи нельзя, по ее мнению, сказать, что они не выполняют номинативной функции, хотя некоторые ученые придерживаются того взгляда, что служебные части речи не называют явлений действительности, а выражают разного рода отношения.

Е. М. Галкина-Федорук, возражая против одного из положений доклада А. Б. Шапиро, высказалась в пользу целесообразности выделения категории состояния как особой части речи в русском языке. Противоположную позицию занял в своем выступлении В. М. Жирмунский. С точки зрения историко-генетической, сказал он, нет никаких оснований для выделения этой части речи. Слова, относимые обычно к категории состояния на основании их синтаксической функции, представляют собой весьма пеструю в морфологическом отношении группировку слов, подвергшихся процессу вербализации. К этой мысли В. М. Жирмунского полностью присоединился проф. А. В. Миртов.

В ряде выступлений был затронут также вопрос о переходных явлениях в области частей речи. Так, А. И. Зарецкий выделил три категории такого рода «пограничных» явлений: слова, обладающие признаками разных частей речи (например причастия); слова, совмещающие в себе функции разных частей речи (например союзы-местоимения); слова, перешедшие из одной части речи в другую (например, существительные, перешедшие из прилагательных, предлоги, перешедшие из наречий).

*

Большинство выступавших выразило свое удовлетворение результатами проведенной дискуссии. Вместе с тем были отмечены отдельные ее недостатки. Так, к числу серьезных упущений организационного характера П. А. Вовчок отнес то обстоятельство, что дискуссии не предшествовала предварительная работа по уточнению и согласованию лингвистической терминологии, которой оперировали докладчики и выступавшие в прениях. Между тем такая работа, безусловно, способствовала бы тому, чтобы во время обсуждения поднятых на дискуссии вопросов была достигнута большая согласованность точек зрения по существу целого ряда лингвистических понятий.

Было отмечено, что проблема частей речи является одной из тех сложных проблем науки о языке, правильная постановка и разработка которых весьма существенна как в общетеоретическом, так и в практическом отношении. Дискуссия, несомненно, будет способствовать дальнейшей плодотворной научно-исследовательской работе советских языковедов по развитию учения о частях речи применительно к языкам разных типов.

Н. З. Гаджиева, Е. А. Иванчикова

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

русских периодических и продолжающихся изданий, принятых в журнале «Вопросы языкознания», начиная с № 1 1955 г.

ВЯ — Вопросы языкознания
ВИ — Вопросы истории
ВФ — Вопросы философии
ВДИ — Вестник древней истории
ИАН ОЛЯ — Известия АН СССР. Отделение литературы и языка
«Р. яз. в шк.» — Русский язык в школе
«Ин. яз. в шк.» — Иностранные языки в школе
ФЗ — Филологические записки
РФВ — Русский филологический вестник
ЖМНП — Журнал Министерства народного просвещения
ИОРЯС — Известия Отделения русского языка и словесности Имп. Акад. наук

СОДЕРЖАНИЕ

Н. А. Кондрашов и В. М. Филиппова (Москва). В. И. Ленин и вопросы языкознания 3
Б. А. Серебренников (Москва). О взаимодействии языков (Проблема субстрата) 7
Г. А. Меновщиков (Ленинград). Указательные местоимения в эскимосском языке. 26
П. Г. Стрелков (Йошкар-Ола). Работа Чехова над языком своих произведений 42

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

В. В. Виноградов (Москва). Итоги обсуждения вопросов стилистики 60

ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ШКОЛА

От редакции (К обсуждению курса «Современный русский литературный язык» в высшей школе) 88
Т. А. Дегтерева и Н. А. Слюсарева (Москва). Курс «История языкознания» в педагогических институтах иностранных языков 93
Э. А. Макаев (Москва). Несколько замечаний о курсе «История языкознания» 97

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

В. В. Решетов (Ташкент). О диалектной основе узбекского литературного языка 100
Г. С. Кнабе (Курск). Еще раз о двух путях развития сложного предложения 108
Б. Н. Головин (Вологда). К вопросу о сущности грамматической категории (На материале русского языка) 117
Е. И. Кедайтене (Вильнюс). Из наблюдений над категорией лица в памятниках русского языка старшей поры 124

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

В. В. Пассек, Е. И. Мурашева, Р. М. Уроева, В. П. Старинин (Москва). «Труды Военного ин-та иностр. языков», №№ 1—5, М., 1952—1954 129
К. А. Левковская (Москва). *М. Д. Степанова.* Словообразование современного немецкого языка 145
Г. Лер-Сплавинский (Варшава). Новая попытка освещения проблемы происхождения славян 152

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Н. З. Гаджиева и Е. А. Иванчикова (Москва). Дискуссия о частях речи 162

Редколлегия:

С. Г. Бархударов, Н. А. Баскаков, Е. А. Бокарев (отв. секретарь редакции), *В. В. Виноградов* (главный редактор), *А. И. Ефимов, Н. А. Кондрашов, Н. И. Конрад, В. Г. Орлова, Г. Д. Санжеев* (зам. главного редактора), *Б. А. Серебренников, В. М. Филиппова, А. С. Чикобава, Н. Ю. Шведова*

Адрес редакции: Москва, ул. Куйбышева, 8. Тел. Б 1-75-42

Т-01421 Подписано к печати 20. I 1955 г. Тираж экз. 13450 Зак. 824
Формат бумаги 70×108 1/16. Бум. л. 5 1/4 Печ. л. 14,38 Уч.-изд. л. 17,7

2-я тип. Издательства Академии наук СССР. Москва, Шубинский пер., 10